

ПОСЛЕДНИЙ
СОЛДАТ
ИМПЕРИИ

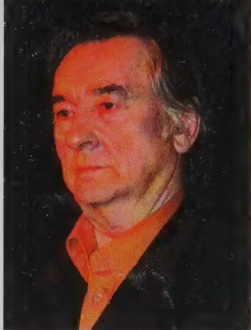


Александр

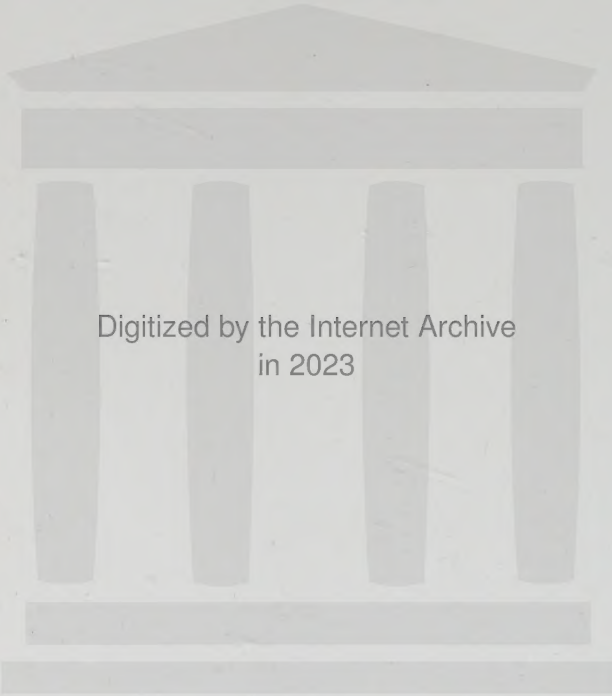
ПРОХАНОВ

МАТРИЦА ВОЙНЫ





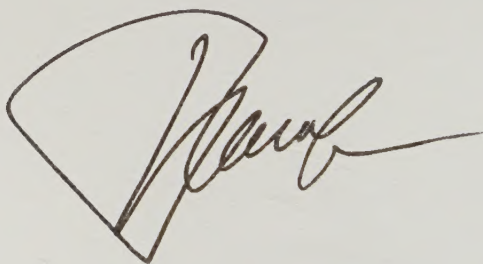
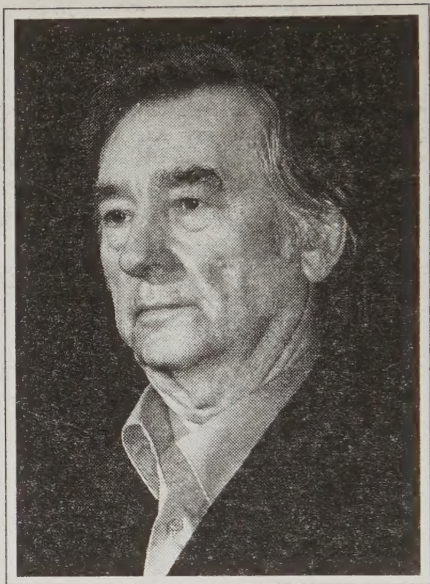
Жизнь Александра ПРОХАНОВА — сгусток противоречий, смена политических пристрастий, разнообразие литературных стилей и общественных ролей. Целый период жизни он провел на войнах, что вел СССР в последние десятилетия своего существования. Стиль его романов напоминает крыло экзотической бабочки, на котором тончайшими прожилками изображена карта военных действий на азиатских, африканских, латиноамериканских фронтах. Тончайший стилист, одаренный писатель, Александр ПРОХАНОВ пишет статьи, издает газету, не сходит с телевизионных экранов. Направляет в мир одно за другим послания, в которых возглашает явление нового Государства Российского, “Пятой Империи”, в которой “русская идея” найдет свое светonosное воплощение.



Digitized by the Internet Archive
in 2023

**ПОСЛЕДНИЙ
СОЛДАТ
ИМПЕРИИ**





Кампучийская хроника. Страна только-только начинает оживать после ухода кровавого правителя Пол Пота. Но еще сохраняется риск перерастания локального конфликта в большую бойню, пламя войны еще может перекинуться на соседние государства. Майор внешней разведки Белосельцев отправляется в Кампучию, чтобы предотвратить сползание страны в хаос. Он видит перед собой огромный подлунный мир человеческих мистерий, переживаний, мечтаний, побед и поражений. Кхмеры, вьетнамцы — Белосельцев не видит между ними разницы, его сердце преисполнено состраданием к простым людям, он выступает как воин-миротворец, посланник могущественной державы, призванный сеять лишь доброе и вечное...

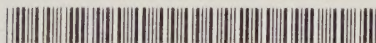
АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

МАТРИЦА ВОЙНЫ

Prokhanov, A 9785699205936

Matritsa voiny

FICT EKSMO 05/09 07 #11.95



МОСКВА



2007

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
П 78

Оформление С. Курбатова

Проханов А.А.

П 78 Матрица войны: Роман / А.А. Проханов. — М.: Эксмо, 2007. — 416 с. — (Последний солдат империи).

ISBN 978-5-699-20593-6

Кампучийская хроника. Страна только-только начинает оживать после ухода кровавого правителя Пол Пота. Но еще сохраняется риск перерастания локального конфликта в большую бойню, пламя войны еще может перекинуться на соседние государства. Майор внешней разведки Белосельцев отправляется в Кампучию, чтобы предотвратить сползание страны в хаос. Он видит перед собой огромный подлунный мир человеческих мистерий, переживаний, мечтаний, побед и поражений. Кхмеры, вьетнамцы — Белосельцев не видит между ними разницы, его сердце преисполнено состраданием к простым людям, он выступает как воин-мироходец, посланник могущественной державы, призванный сеять лишь доброе и вечное...

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-20593-6

© ООО «Издательство «Эксмо», 2007



Глава первая

Праздность — медленная, тягучая продолжительность московского летнего дня с белесым утренним солнцем, зажигающим болезненно-бледное пятно на старых обоях, где висит обломок иконы, обугленной в давнишнем пожаре. Больше шума, колючего сверкания, литого блеска машин. Скопились у светофора, теснятся, давят, мигают зло желтыми боковыми огнями. И словно открыли перед ними запруду — льются, торопятся, трутся боками, глянцевиные, скользко-упругие, как жуки-плавунцы. И в воздухе после них повисает прозрачная фиолетовая гарь, сквозь которую бежит сосредоточенная московская толпа, из подземелья в подземелье, из одних стеклянных дверей в другие, из одного времени года в другое, из века в век. Весь день на огромном перекрестке что-то сталкивается, вспыхивает, плавится, окутывается светящимся газом, блестит, сжигает кислород бледного высокого неба, в котором слепо горит реклама. От этих бесчисленных столкновений, слепящих вспышек, монотонных миганий рекламы возникает ощущение слепоты, огромной выжженной пустоты, в кото-

рую превращаются чувства и мысли. После смерти, после стоцветной, ярко прожитой жизни останется выгоревшее пятно бесцветного небытия. Вечер похож на окалину, медленно остывающую на красных от вечернего солнца домах. По этим красным асфальтам, из красных в красные двери, из красных в красные автобусы бежит толпа, множество мелькающих, красных, как у косцов, лиц, на которых не разглядеть выражения, а только особое московское утомление после душного дня, улетающего, как видение туманных мостов, церквей, небоскребов. Вечер, смуглый, бриллиантовый, непрерывное скольжение нарядных автомобилей, брызгающих на фиолетовый асфальт прозрачными пучками огней, словно несут перед собой стеклянные кувшины света. Тверская в золотых витринах, в голубых планетах и лунах реклам, в драгоценных гирляндах, опутывающих ветви деревьев. Женщины похожи на птиц в райском саду. Возле них останавливаются лимузины. Птицы, колыхая разноцветными перьями, бегут на манки ловцов, впархивают в дверцы машин, и их увозят, легкомысленных и счастливых. Долго за полночь шелестит и мягко рокочет город, брызжет огромное ночное солнце казино, плещет многоцветным водяным букетом фонтан, и где-то в нагретых гранитных теснинах, невидимый, сладкозвучный, играет саксофон, словно течет медленная и горячая струя смолы. Праздник день завершен, сквозь шторы бесшумная, в два цвета, мигает реклама, посылая в мироздание беззвучный, безответный сигнал тревоги. И странная мысль: «Это я... Живой... После долгой прожитой жизни прожил еще один, необъяснимый, наполненный тончайшей болью день...»

Отставной генерал разведки Виктор Андреевич Белосельцев не находил в себе сил оставить душную Москву и уехать на дачу, где ждал его заросший, запущенный сад, тихие труды в цветнике среди серьезных оранжево-черных шмелей, сладких табаков и засахаренных бутонов роз, когда на жестяном совке чернеет сочный ком и в нем извива-

ется скользкий розовый червь. Он не мог уехать, пораженный необъяснимым бессилием, нежеланием менять свое положение в пространстве, будто ждал, что сверху, из горячего неба, прольется на него прозрачная струя канифоли и он застынет в ней на веки вечные, раскинув свои высокие руки, склонив к плечу седую голову. Это ожидание напоминало паралич, отнимавший способность двигаться, шевелить пальцами, вращать глазами, сжимать и расширять легкие. Жизнь была неинтересна, состояла из мельчайшей пудры, в которую превратились его жизненные впечатления, усвоенные науки, прочитанные книги, человеческие отношения и дружбы, сама страна, которой он, профессиональный разведчик, служил до последних минут ее существования, пока она, огромная, как красный леденец, не растаяла, не потекла липким соком, сжатая чьим-то огромным, потным, омерзительным кулаком.

Иногда, чтобы разнообразить безделье, развеять сонную одурь, он включал телевизор. Но оттуда, из голубоватого студня, из дрожащего желе, как из заливного, начинали выпрыгивать уродливые рыбины, губастые и носастые чудища, пучеглазые щетинистые твари. Морочили, пугали, тянули клешни, тыкали в глаза обрубками конечностей, норовили схватить волосатой лапой или пнуть мозолистой голый стопой. Белосельцев, послушав и посмотрев минуту, выключал телевизор, загонял обратно в пластмассовый застекленный короб несметное сонмище, которое из ящика через огромную шахту скатывалось обратно в преисподнюю, в жилище тьмы.

Среди мелких бессмысленных дел: приготовления пищи, стирания белья, принятия пилюль, подметания комнаты — было одно занятие, к которому он прибегал, спасаясь от изнурительного пустоцветного бытия, где любое событие, любой звук или знак являли собой глупую мелочь, бессмыслицу, оскорбительную незначительность, за которую не цеплялся ум, которую отторгала душа.

Три стены в его длинном, как пенал, кабинете занимала коллекция бабочек. Стекланные кристаллы, в которые, как в бруски драгоценного льда, были заморожены разноцветные дива, вычерпанные легким сачком из воздушных потоков Африки, океанских ветров Америки, лесных дуновений Азии. Привезенные в Москву с театров военных действий, среди московских снегов, ночных черных наледей они повествовали о иной земле, молодой, сотворенной Богом планете, которую Господь облек в наряд из цветов и бабочек. Это позже сквозь нарядное облачение стали взлетать ракеты, пикировали самолеты, протыкали драгоценный наряд небоскребы и башни. В Никарагуа он толкал с сандинистами залипшее в грязь орудие, проволакивал его по скользкой дороге, на которой сидели мириады розовых бабочек. В Атлантике на их боевой корабль, доставлявший в Анголу морскую пехоту, сели белые бабочки, и вся палуба, бортовые орудия, глубинные бомбометы, штыри и чаши антенн были покрыты белыми хлопьями, словно корабль, приближаясь к экватору, заиндевел, укутался шубой голубоватого инея.

Теперь, когда его окружала бессмысленная, ненужная жизнь, мучила каждым звуком, каждой злой и никчемной мелочью, когда он сам, отравленный тончайшим ядом, выводил себя изнурительной мыслью о никчемной судьбе, в которой все его победы и подвиги, блистательные чины и награды кончились общим поражением, испепелившим смысл бытия, — теперь он спасался созерцанием бабочек.

Он ложился на диван, подкладывая под голову любимую пакистанскую подушку, шитую серебром, как ложатся курильщики опиума. Обращался лицом к стене, на которой висели бабочки. Медленно, ровно дышал, устремляя глаза на недвижимое разноцветье. Не мигал, останавливая дрожание зрачков, охватывая ими один из фрагментов коробки, в которой рядами, насаженные на синеватую сталь булавок, застыли бабочки. Постепенно в его воспаленный, измучен-

ный мозг начинали просачиваться разноцветные струйки дыма, пьянящие сладкие капли, дурманные цветные туманы. Заволакивали его разум восхитительной дымкой, в которой не было мыслей, очертаний предметов, а один размытый цветной туман с завитками голубого и алого, с проблеском белизны и лазури.

Его утомленная плоть оставалась на диване, а нечто — быть может, душа или бесплотная сущность разума — отделялось от брэнного вместилища, утончалось, свивалось в разноцветную нить, которая проникала сквозь тонкий зазор, проскальзывала сквозь угольное ушко и оказывалась по другую сторону бытия, в восхитительном пространстве, где не было предметного мира, а одни спектральные вспышки, летящие лучи, многоцветные нимбы. Это пространство струилось, видоизменялось, принимало его в себя, он переливался из алого в изумрудно-зеленое, из серебряного и лучистого в стеклянно-лиловое. Его душа путешествовала среди чистых энергий, среди волнистого света, из которого брызгали светоносные пучки, исходили сияния. Эти зори, малиновые и желтые восходы и закаты, жемчужно-лунные тени, бело-красные сполохи вызывали ощущение счастья. Не было времени, не было материального мира, а одни волнистые переливы цветов. Возможно, это и был рай, а счастье, которое он испытывал, было райским счастьем, которое уготовано ему после смерти, сразу же после того, как остановятся и остекленеют зрачки, повернутся в глубь многоцветной бездны.

Он лежал на диване в наркотических галлюцинациях света, и бабочки, как балерины, кружились, насаженные на отточенную голубую ось, маршировали, как бесчисленное воинство, проходящее парадом через его кабинет.

Коробка, которую он созерцал, была собрана в Кампучии. Он знал в ней каждую бабочку, связывая с ней тот или иной эпизод своей опасной кампучийской поездки. Золо-

тые будды, волнистые пагоды, синие туманные джунгли, колонны военной техники, горящий шар вертолета. Он помнил просеки, по которым бежал, размахивая белым сачком. Помнил блестящие горячие лужи после короткого ливня, на которые из леса слетались бабочки. Помнил поляну, где в сачок залетела огромная черно-золотая бабочка, шевелила кисею сильными, упругими крыльями. В коробке не было бабочки, перламутрово-лиловой, с таинственными ночными переливами, той, которую поймал в прозрачном лесу, а потом отпустил. Вдруг померещилось, что в бабочку вселилась душа женщины, которую потерял. Теперь он смотрел на кампучийских бабочек, стараясь вспомнить ту, которой здесь не было, чье место оставалось пустым. «Алтарь неизвестному богу», — думал он, всматриваясь в переливы коробки.

Надо было действовать, жить. Надо было спуститься за хлебом, купить себе чай и сахар. Раздражаясь на себя за эту сохраненную потребность есть и пить, за необходимость питать свое праздное, бездельное тело, он собрался и вышел из дома.

Был жаркий московский полдень. Тверская казалась раскаленным черным противнем, на котором, как рыбы, подскакивали и бились машины. Зажаренные, в глянцеви-той коросте, будут лежать рядами, как караси, с выпученными фарами, обугленными губами радиаторов. Пушкин стоял над площадью, словно политый маслом. Фонтан тяжело выталкивал мутно-стеклянные глыбы воды, без брызг и без блеска, сваливал их в гранитное корыто. Цветы на клумбах, жирные, красные, напоминали разделанное мясо.

Белосельцев, сторонясь всего этого, словно боясь испачкаться и обжечься, прошел к магазинчикам, построенным вдоль тротуара, чтобы поскорее кинуть в целлофановый пакет пачку чая, батон, упаковку молока и снова вернуться домой, укрыться под костяной черепаший панцирь.

Торговец-азербайджанец, с вишневыми глазами, коричнево-лысиной и золотыми зубами, на несколько секунд развлек его. Белосельцев поместил его в деревянную раму на холст, где тот был нарисован художником-примитивистом жирными цветными мазками среди бутылок и банок пива, флаконов с вином и водкой, сочных ломтей красной и белой рыбы, розовых, пересыпанных льдом креветок. Торговец смотрел на мир лиловыми солнечными глазами, окруженный той частью Вселенной, за которую люди, прежде чем ею овладеть, платили деньги. Белосельцев именно так и поступил — кинул снедь в пакет, дождался, когда электронный автомат выбросит на прилавок чек, отсчитал деньги.

Он хотел покинуть стеклянный теремок магазина, когда в двери, мешая ему пройти, втиснулись два парня и девушка. Парни — длинноволосые, потные, с мокрыми, улыбающимися губами и размытым слюнявым выражением возбужденных, громко говорящих ртов. Девуца — с русалочьи-ми распущенными волосами, перламутровая от помады, в коротком платье, столь легком и вольном, что под ним уже не было ничего, кроме влажного тела, мелькнувшего сквозь прозрачную ткань. Все трое смеялись, парни старались по очереди обнять свою спутницу, коснуться ее голого локтя, плеча и шеи. Они были пьяны, устремились к прилавку, на котором, как нарядные боеприпасы, теснились банки и бутылки с наклейками.

— Командир, три джина с тоником!.. И не надо сдачи!.. — громко, по-дурацки захохотал парень, высыпая деньги, как загулявший ковбой.

— Мальчики, а лед будет? — жеманно и противно сказала девушка.

Продавец благосклонно оглядел ее вишневыми веселыми глазами, всю насквозь, до влажных подмышек и выпуклых молодых бедер. Ловко, короткими волосатыми руками, поставил на прилавок цилиндрическую банку с кольцом,

напоминавшую пехотную гранату с чекой. Следом еще две. Оскалился золотыми зубами, словно во рту у него загорелась лампочка.

Белосельцев испытал мимолетную гадливость — деньги, похоть, перламутровое пятно помады, как радужная пленка гниения. Распад поразил эти жизни сразу же, как только они появились на свет. Все были заражены одной болезнью, которой наградили друг друга, которую передадут следующим за ними поколениям.

Он протиснулся между ними и вышел наружу. Пошел не домой, а на близкий бульвар, в его тусклую горячую тень, сваявшийся тополиный пух, белесую, с редкими прохожими аллею. Устало опустился на лавку, чувствуя изнеможение, словно совершил дневной армейский марш с оружием и полной выкладкой. Пакет с батоном и чаем лежал на скамье. Худая, с острым локтем рука бессильно покоилась на крашенных рейках.

Он смотрел на Тверской бульвар, на знакомые, как часть его кабинета, ампирные особняки, на их желтые и зеленые фасады, чугунные решетки балконов, на корявые стволы деревьев и литые тумбы фонарей, на слепящее скольжение машин и торопливый проход москвичей, с особой московской походкой, выражением лиц, манерой носить одежду, мужские портфели или дамские сумочки.

Бульвар был обыденно знакомый, родной, продолжение его дома, рабочего стола, примелькавшегося обломка иконы, книжной полки с запыленными корешками.

Он вдруг вспомнил, как в детстве бабушка вела его по бульвару в промозглый февральский день. Было холодно, блестела под ногами солнечно-черная наледь, в голых деревьях ярко синело небо, и он не поспевал за бабушкой, торопливо вдыхал сквозь колющий шарф острый, обжигающий воздух. И еще один миг, через много лет, когда уезжал в Анголу. Вышел на вечерний бульвар, полный неясных пред-

чувствий, и мысль его — быть может, в последний раз он видит этот желтый особняк, и чугунную ограду бульвара, и зеленую скамейку, на которой сидит молодая женщина, курит, смотрит на него долгим, невидящим взглядом.

На этом бульваре он бывал бесчисленное количество раз, помнил его в снегу, с драгоценно сверкающей елкой, в зелени свежей изумрудной листвы под холодным шумящим ливнем, желтым и пряным, с кучами осенней листвы, из которых сочился сладкий сизый дымок. И ни разу на этом бульваре с ним ничего не случилось — ни встречи, ни события, ни яркого происшествия. Бульвар был коридором, ведущим в комнаты, где проходили события и встречи.

Белосельцев смотрел отрешенно на желтый особняк с полукруглым ампирным окном. В остекленном, как крыло стрекозы, пространстве замерло еще одно мгновение его исчезающей жизни.

На бульвар вышли трое — уже знакомые парни и девушка с распущенными по спине волосами. Все трое, обнявшись, держали жестяные банки с джином, качались, нестройно ступая, громко разговаривая, хохоча. Девушка пыталась на ходу танцевать, что-то запевала. Кавалеры хватали ее за шею, оглаживали ее волосы вдоль спины и ниже, шлепали по ягодицам. Запрокидывали лица и лили в открытые рты содержимое банок. Они обогнули лавку, где сидел Белосельцев, плюхнулись напротив, и одна опорожненная банка покатилась, гремя, по аллее.

Белосельцев раздраженно, желчно смотрел на них. Они разрушили хрупкую, стеклянную перепонку стрекозино крыла. Их избыточная дурная энергия наполнила блеклый бульвар, растолкала жидкую белесую тень, серый пух. Они принесли с собой болезнь. Перламутровая струйка гниения лилась от них по газону, мимо ствола старой липы, чугунного литья решетки. Белосельцев собирался уйти, нащупывал на лавке целлофановый пакет.

Один из парней плотно обхватил девицу, сжал ей шею и поцеловал, хватая ее фиолетовые губы, запрокидывая ее голову и тяжелые волосы на спинку скамьи. Другой полез ей за вырез платья, погружая свою пятерню в горячую глубину. Девица отбивалась, мычала закрытым, стиснутым ртом, дергала голыми ногами. Вырвалась, жалобно закричав, расталкивая ухажеров руками. И первый, распаленный, рассерженный, ударил ее наотмашь в лицо, оглушил, а второй, пытаясь обнять, рванул ей платье, легкая ткань распалась, и под ней сверкнуло голое тело.

— Помогите! — кричала девица, а двое хватали ее за руки, валили на лавку, задирали ей на голову платье.

Белосельцев испытал страх, гадливость, желание поскорее уйти, не видеть омерзительной, посреди бела дня, сцены, осквернявшей бульвар, ампирный особняк, морщинистые, старые липы, под которыми два века прогуливались почтенные горожане, а теперь шлепнулся комок живой слизи — размазанная вокруг женских губ, раскисшая от слюны помада, разодранное платье, пьяные похотливые лица парней, мучающих свою жертву.

— Помогите! — кричала девица, путаясь в своих русалочьих волосах, отбиваясь от сильных, жадных, ощупывающих ее рук. Мимо, шарахаясь, торопливо прошел какой-то мужчина, неся аккуратный деловой саквояж.

— Эй вы, оставьте ее!.. — крикнул Белосельцев, подымаясь со скамейки. Но голос его был слаб, тонул среди визгов и хохота. — Оставьте!.. Ступайте отсюда!.. — Он переходил аллею, приближаясь к верещащему клубку, стараясь придать голосу властную крепость и силу.

Теперь он был услышан. Один из парней изумленно посмотрел на него, словно разглядывал сквозь горячий потный туман. Сердито, без особой злобы, сказал:

— Отец, давай проходи!.. Левое плечо кругом!.. А то башку оторву!..

— Помогите, умоляю!.. — взывала к нему девушка, и он увидел близко ее поднятые брови, дрожащие, полные слез глаза, разорванное платье, сквозь которое виднелась округлая грудь.

— Оставьте девушку и идите отсюда!.. — повторил Белосельцев, понимая, что этим окриком ввергает себя в неизбежную, опасную, сулившую ему поражение схватку, и надо поскорее уйти, и оставить здесь, на скамейке, ком слизи, и об этом забыть, спрятаться в свое неприступное, не подверженное распаду жилище, где коробка с кампучийскими бабочками, и среди них незримо присутствует темно-лиловая, словно тропическая ночь, с незабытым именем «Мария Луиза».

Второй парень поднялся с лавки и молча пошел на него. Глаза его были в красных ободках ненависти. Тупо, прямо, выбрасывая вперед сильную, перевитую мышцами руку, направляя ему в лицо стиснутый грязный кулак, он хотел смести его, разбить ему череп прямым попаданием, вогнать в седую голову оглушающий, разящий удар. Белосельцев отстранился, пропустил кулак вдоль скулы, больно, костяшками, саданувший кожу, и коротким кривым ударом, посылая вдогон кулаку и локтю не утратившее силу плечо, свалил противника на усыпанную кирпичной крошкой тропинку. Не оглушил, а лишь ошеломил неожиданным отпором.

Первый, с веселым, бурлящим матом, кинулся на него, выставил вперед две красные, обгорелые на солнце кисти, растопыренными пальцами целил в горло, чтобы сжать, стиснуть, ломануть сухой кадык, придушить назойливого, не ко времени возникшего старикана. Перехватывая запястья, подкидывая их вверх незабытым приемом, Белосельцев крутанул противника, желая его свалить, но не хватило массы и резкости. Парень не упал, а лишь ударил коленом землю, снизу вверх изумленно и весело поглядывая на соперника.

Второй, хлюпая жарко, невидимый, сзади нанес ему в затылок толчок, под свод черепной коробки, от чего помутилось в глазах, и секунду все текло в расплавленном воздухе. Скамейка с кричащей девушкой, чей крик прорывался сквозь густые спутанные волосы. Белый ампирный особняк с черным чугунным балконом. Припавший на одно колено парень, глядящий ему за спину, туда, где второй, невидимый, готовил завершающий разящий удар.

Белосельцев, не волей, а последним инстинктом жизни, собрал из распавшихся, разлетающихся корпускул единственную отпущенную для жизни секунду. Качнулся в сторону, пропуская мимо, из-за спины, горячий ком мускулов, хрипа и ненависти. Рука нащупала в кармане газовый пистолет, точную копию семизарядного портативного маузера. Кулак вытянул вперед вороненое тельце оружия. Передернул затвор, прицеливаясь попеременно в два близких, похожих лица, покрытых скользкой пленкой жира, — в их дышащие розоватые ноздри, выпуклые, в алых прожилках, белки, в свистящие, приоткрытые зубы. Был готов вогнать тонкий, как шприц, аэрозоль в ошпаренные глаза и губы. Но парни, отрезвев, пятились, руками ощупывали за собой пространство, отступали, удалялись. Повернулись и побежали по аллее, мимо особняков, песочниц, двухсотлетнего дуба, к далекому круглому зеркальцу света, где, похожий на ружейную мушку, стоял памятник Тимирязеву. Белосельцев чувствовал слабость. Стоял, опустив пистолет, с гудящей головой, в которой разливалась боль от полученного удара, от затылка ко лбу, сквозь глазные яблоки. На скамейке сидела пьяная девица, всхлипывала, отбрасывала с лица повлажневшие от страха волосы, прижимала на боку клочок разодранного платья. Он хотел уйти, добраться до дома и лечь. Пережить эту боль от удара, отвращение и брезгливость. Он повернулся, направляясь к скамье, где лежал пакет с купленной снедью.

— Не уходите!.. — сказала девушка. — Они вернутся!.. Они меня избыбуют, изнасилуют!.. Умоляю, не уходите!

В ней было нечто жалобное и убогое — в ее размалеванной помаде, в растрепанных волосах, в синеватых, текущих с ресниц слезах. Нечто отталкивающее и одновременно беззащитно-детское, беспомощное. Так в саду, проходя мимо полной бочки, он видел попавшего в воду жука, его шевелящиеся лапки, яркое глянцевиное тельце, от которого расходились крохотные волны. И всегда, повинувшись странному состраданию, он вычерпывал жука, кидал его вместе с брызгами в тенистые лопухи.

— Не уходите! — плакала девушка.

— Возьмите!.. — Он протянул ей платок. — Идемте к фонтану... Там ополоснете лицо...

У фонтана он наклонил ее голову к воде. Слыша, как глухо булькает тяжелый бурун, видя, как блестят и дwoятся на дне фонтана монетки, он черпал пригоршней воду, омывал ей лицо. Она фыркала, всхлипывала, волосы ее упали через гранитный край фонтана и намокли. И в том, как он ее мыл и как она терпела это омовение, было нечто трогательное и смешное. Так моют чумазых, извозившихся детей, чтобы чистыми и умытыми уложить в постель.

Он отобрал у нее платок, отер ей глаза, розовые, очищенные от помады губы, тонкие, под белым лбом брови. Не удержался, схватил ее маленький нос, сжал, заставляя высморкаться. Ополоснул платок и сунул в карман. С соседних скамеек на них смотрели. Пожилая женщина в соломенной шляпе показывала на них пальцем, что-то возмущенно говорила серьезному, внимательному соседу.

— Ступайте в метро, — сказал он. — Их уже нет... Вы в безопасности... — Он указал ей на вход в метро, куда, как ртуть, скатывалась горячая московская толпа. Хотел оставить ее, вернуться к себе, в свой огромный камен-

ный дом, таивший в толстых стенах и гранитных плитах неизрасходованную прохладу.

Он увидел, как затряслись ее плечи, как по белой молодой шее прокатилась конвульсия и глаза стали круглые, как у птицы, без зрачков, в слезном солнечном блеске.

— Не хочу!.. Мне страшно!.. Выслеживают!.. Убьют меня!.. Обещали!.. Сказали, что меня продадут!.. Чеченцам!.. Посадят в яму!.. Сделают укол и похитят!.. Вырежут сердце и печень!.. Продадут за границу!.. Не оставляйте меня, умоляю!..

Все это она шептала страстно, жарко, хватала его за руки, не пускала. Эта была истерика. Он снова подумал, что должен уйти, немедленно, пока еще оставалась минута и эта истерика не перейдет в долгий истошный крик. Она забьется на земле у фонтана, и все сидящие на лавках вскочат, как один, и пожилая дама в шляпе станет размахивать перед его лицом своей толстой, в красной экземе, рукой.

Он сделал шаг в сторону, но она повисла на его локте, и, глядя в ее беззвучно кричащий рот, в птичьи, округлившиеся глаза, он сказал:

— Поднимемся ко мне... Приведете себя в порядок... Потом я вас провожу... — Чувствуя, как бесшумная сила, проявившаяся вдруг над толпой, над скользящими машинами, над кубической рекламой с часами, похожая на толчок горячего ветра, повлекла его к огромной каменной арке, в которую протискивались автомобили и пешеходы, он взял ее под руку. Через минуту они поднимались в тесном лифте, он старался на нее не смотреть, повторял машинально: «Алтарь неизвестному богу...»

Он впустил ее в дом, в тесную сумрачную прихожую. Раздражение не оставляло его. Его уклад, его жилище, склеенное из кусочков старого, отслужившего свой век вещества, как ласточкино гнездо из комочков глины, были потревожены. Он сам запустил в дом это чужое, беспокоящее

и ненужное существо. Девушка стояла в прихожей, всхлипывала. Белосельцев прошел на кухню, достал из шкафчика пузырек валерьянки. Близоруко щурясь, отмерил в стакан падающие светлые капли. Долил из графина воды.

— Что это? — спросила девушка.

— Чтобы руки не дрожали... Чтобы наемные убийцы не мережились, — ворчливо и недовольно произнес Белосельцев.

Она послушно приняла стакан, пила, слегка захлебываясь, по-детски морщила нос. И он раскаялся за свой недобрый, ворчливый тон.

— Ступайте в ванную... Контрастный душ... Успокоит нервы... Там мохнатое полотенце...

Она послушно пошла в ванную. Он слышал, как зашуршала, зашелестела вода. Накапал в тот же стакан валерьянки и выпил. Затылок ломило, на скуле горела ссадина. В ванной ровно рокотала вода. В его доме появилось живое существо, мешавшее ему быть свободным в совершении множества мелочей и причуд, о которых знал только он, к которым привык за долгие годы одинокой жизни. Это существо не воспринималось им как личность, а скорее как забежавшая на дачный участок молодая собака, доверчивая, глупая, гонимая, которая по неведению мяла цветы, давила грядки, не понимая, чем вызывает раздражение и окрик хозяина. Сравнение с собакой показалось ему забавным. Он прошел в кабинет, стал смотреть на бабочек, вспоминая, как утром рассматривал кампучийскую коробку с несуществующей, отпущенной им на свободу темно-фиолетовой бабочкой, и это она, несуществующая, ввергла его в приключение, в дурацкую стычку на бульваре, в это нелепое сидение в кабинете, вслушивание в водяные шелесты и звуки.

Вода перестала идти. Несколько минут было тихо. На пороге кабинета появилась она, босая, укутанная в его махровый халат. Волосы ее были мокрые, темные, схвачены сза-

ди непрочным узлом. Глаза были странно прозрачны на солнце, водянисто-голубого, стеклянного цвета, пропускали лучи в глубину, где темнели, вздрагивали, боялись и о чем-то просили. За босыми стопами из коридора тянулись влажные маленькие следы, и вид этих влажных отпечатков тронул его больно и нежно, о чем-то мимолетно напомнил, и это воспоминание также касалось кампучийской коробки.

— Я без спроса надела ваш халат... Платье порвано... Можно, я немного полежу?.. Кружится голова... Приду в себя и пойду...

Он отвел ее в гостиную, где стояли шкаф, обеденный стол, книжные полки и просторное жесткое ложе, накрытое черно-алым иранским покрывалом. Сам он спал в кабинете, и ложе пустовало, годами ожидало несуществующих заезжих гостей.

— Вот здесь, если хотите... — Он ткнул на ложе. Достал из шкафа разноцветную простыню. Задернул гардину, отчего воздух в комнате стал золотой и черные африканские маски на стенах приобрели чернильно-фиолетовый, металлический оттенок. Вышел из гостиной, затворив дверь, с изумлением понимая, что эта нелепая история не кончается, возвращает в себе все новые и новые обстоятельства. Как черенок, пускается в рост. И его надо обрезать и осторожно унести с гряды, иначе в его саду, среди фиалок и роз, может вырасти огромный колючий чертополох, о который он больно уколется.

Он походил по дому, с удивлением замечая, что одна его главная половина, просторная гостиная, теперь для него недоступна. Смотрел на закрытую дверь, за которой что-то таилось, неожиданное, вытеснившее его, беззащитное и одновременно властное и настойчивое.

Он вошел в ванную. Эмалированный овальный объем был пуст, но на стенках еще держались капли. Хромированный душ был влажен, и он представил, как под блестя-

щей, брызгающей насадкой стоит она, закрывает глаза, фыркает розовыми губами и струйки воды разбиваются о ее плечи, текут по груди и ногам. Эта картина не была греховой, но больно, сладко напомнила о давнишнем видении, связанном с другой женщиной, другой водой, другой восхитительной наготой, которые необъяснимо, через много лет, напомнили о себе в этой влажной ванной, где на кафельном полу стояли маленькие босоножки, а на фарфоровом крюке было небрежно повешено разорванное цветастое платье.

Он хотел выйти, но медлил. Снял платье и, держа его на весу, словно боясь неосторожно прижать к себе, вынес цветастый наряд в кабинет. Посмотрел сквозь него на солнце. Платье прозрачно светилось цветами и листьями, в нем еще сквозила теплая живая телесность. Ткань была порвана не по шву, клочок бесформенно свисал, и он, положив на диван платье, вставил на место оторванный лоскут. Бережно провел рукой по материи. Удивился — в кабинете, среди истрепанных книг, незавершенных записок, запыленных фетишей его военных походов лежало девичье платье, и он бережно, робко разглаживал лучистые цветы и узоры.

Встал, достал из ящика стола катушку черных ниток с торчащей иглой. Нацепив очки, долго вдевал нитку в угольное ушко. Неловкими пальцами завязывал узелок. Сел на диван, положив на колени платье, и, придерживая вырванный лоскут, зацепил его тонкой блестящей сталью. Вытягивал нитку долго и осторожно, видя, как трепещет цветастый шелк.

Посмотрел на себя со стороны — пожилой седоголовый мужчина сидит на диване, нацепив очки, и вонзает иглку в женское платье. Это зрелище смутило, изумило его. Игла с нитью в его неумелых пальцах пришивает не зеленую пуговицу к военной тужурке, не кожаную лямку к походному вещевому мешку, а легко, не встречая сопротивления, пронизывает прозрачную ткань женского одеяния, и очки сосредоточенно блестят на сухом носу. Но изумление тут

же сменилось умилением — он, отец, оберегая сон нашалившего, утомленного ребенка, чинит его поврежденную одежду, отмывает его испачканную обувь, испытывая при этом не гнев, не раздражение, а нежность, благодарность за эту нежность.

Цветной лоскуток трепетал у него под руками, пронизываемый тончайшим металлическим лучом, и это напоминало колдовство над расправилкой, когда бабочка, пронзенная острием, раздвигает драгоценные крылья, и он легчайшим уколом булаки прищипливает к липовым розоватым дощечкам хрупкие перепонки, на которых — прожилки металла, капли бирюзы, алая лента орнамента. Это сходство заставило его взглянуть на кампучийскую коробку, где среди золотых и черных нимфалид и сатиров отсутствовал лилово-золотистый лоскут, тот, что трепетал теперь у него на коленях.

Чувство благодарности к ней, спящей в соседней комнате, не покидало его. Она, беззащитная, доверилась ему, попросила о помощи, и он добровольно ей служит, безропотно принял это сладкое иго. Стелит ей постель, отдал ей свой халат, чинит ее наряд, смывает грязь с ее босоножек.

Он вдруг испытал волнение, испугавшее его. Он держал в руках платье, только что облакавшее ее молодое горячее тело, скользившее по ее плечам и груди, трепетавшее у ее выпуклых круглых колен.

Приблизил лицо к прозрачным цветам и узорам, улавливая легчайший, исходящий от них запах солнца, теплой пыли и едва уловимое дуновение духов. Молодая женственность коснулась его, сладко опьянила, и он погладил платье от выреза на груди до сборок на поясе, наклонился и поцеловал его.

Устыдился греховности своих побуждений. Оглянулся, не видит ли кто. Бородатый Никола в кольцах седины, воздев персты, строго смотрел на него с обугленного обломка иконы, свидетель его греха, судья его тайных побуждений. Чувство

совершенного греха лишь спугнуло его нежность, и она, превратившись в тихую сладкую боль, ушла в глубину, под сердце, и там жила, как мягкий птенец в гнезде.

Он работал иглой, обшивая лоскут, приторачивая его аккуратными маленькими стежками, при этом что-то бессловесно приговаривал, о чем-то невнятно думал, и его бормотания и помышления были о ней, спящей в гостиной. Это напоминало волхвование, ворожбу. Нитка и иголка были в его руках древним инструментом колдовства, а сам он, как престарелый колдун в своем потаенном убежище, привораживал спящую деву, вонзая иголку в ее одеяние.

Он заштопал платье, разгладил вшитый лоскут, вглаживая, встраивая купу цветов и листьев в луговое разнотравье шелка. Приподнял платье. Солнце пролетело сквозь ткань, бросив на стену размытое красно-золотое пятно. Он вынес платье и вывесил его на распялке перед дверью, за которой она спала. Тут же поставил вымытые босоножки.

Вернулся в кабинет, слабо улыбаясь, недоумевая тому, что произошло в нем и вокруг. За окном пульсировал, блестел перекресток, словно площадь поочередно полосовали два ярких острых ножа. Висело в сумерках коридора девичье платье, а его хозяйка спала в гостиной на жестком одре. Под сердцем, как в мягком темном дупле, дышал и шевелился птенец. И он сам, как старое дерево, чувствовал в себе это дупло и поселившегося в нем птенца, боялся его потревожить.

Он вдруг почувствовал страшную усталость. Ломило в затылке. Горела ссадина на скуле. Болел уколотый палец. Совершившиеся в нем и вокруг изменения потребовали от него огромных затрат и лишили сил. Он занавесил окна и лег на диван. Под веками было пестро и радостно, словно он долго смотрел на солнечный луг. Он заснул и сквозь сон слышал какие-то негромкие звуки, шаги, слабое звяканье дверного замка. Не было сил проснуться. А когда проснулся, гости не было. В ванной висел мохнатый халат. Акку-

ратно сложенная, лежала на одре простыня. И не было на распялке платья, не было маленьких босоножек. Он не огорчился. Не искал случившемуся продолжения. Дупло в старом дереве пустовало, хранило тепло птенца.

Белосельцев, не отдергивая штор, в красноватом вечернем солнце, сидел на диване. Смотрел на коллекцию бабочек, пойманных на континентах земли, среди мировых конфликтов. И среди тысяч расправленных, драгоценных не доставало одной, выпущенной им на свободу.

«Алтарь неизвестному богу», — в который раз произносил он слова. Вспоминал странствие, в которое его направляла разведка. Пускался в новое, в которое его посылала судьба.

Глава вторая

Майор внешней разведки Белосельцев стоял на балконе обшарпанного, неухоженного отеля, единственного в Пномпене, пригодного для расселения иностранцев. Вдыхал влажный, как ингаляция, воздух, в котором вместе с горячим паром содержалась мельчайшая, обжигающая горло пыльца, принесенная ветром с побережья Меконга. Смотрел на разрушенное, похожее на Колизей здание торгового центра, на комариное мелькание легких велосипедистов. Казалось странным его появление здесь, в раскаленном тропическом воздухе, в разгромленном, медленно оживавшем городе, где он оказался не по приказу начальства, нагрузившего его очередным заданием разведчика, а по чьей-то таинственной неолицетворенной воле, втолкнувшей его в эту жизнь, как живую корпускулу, обремененную полученным свыше заданием — видеть, мыслить и чувствовать, внедряться в народы и страны, чтобы потом, обретя неполный, в муках добытый опыт, исчезнуть. Исчезая, передать

этот опыт в чьи-то бережные, терпеливые руки, сотворившие его для краткого пребывания в мире.

Как крохотный реактивный снаряд, с собственной программой и целью, с просветленной длиннофокусной оптикой, с запоминающим устройством, он был запущен в автономный полет. Его траектория — от подмосковных весенних разливов, прозрачных, в стеклянной синеве березняков, от кристаллического аэропорта Шереметьево, где выпить последнюю, прощальную, чашечку кофе, золотистую рюмку коньяка и, усевшись в самолетное кресло, задремать на взлете, погружаясь в клубящиеся сновидения, порожденные звоном турбины, алюминиевым дребезжанием обшивки, случайным прикосновением прошедшей в темноте стюардессы. Над землей, под туманными звездами сонный разум сливается с бестелесными образами, витающими в небесах, клубящимися за хвостом самолета. Словно ноосфера обступает его своими видениями, мыслями исчезнувших поколений. В своей чуткой дремоте он пьет таинственный, сладкий настой, пьянея от невнятных картин и звучаний, созданных до него иными неизвестными странниками, чьи кости лежат в глубоких истлевших могилах, а мысли и разноцветные образы нетленно витают под звездами.

Пробуждение в Ташкенте, утренний сочный свет, цветущие сады под крылом. Машина на мгновение касается стальной полосы, чтобы снова взмыть и повиснуть в розовом недвижимом пространстве, где медленно, в накаленной глубине, текут бестравные горы, туманные горячие осыпи, рыжие потоки камней. Афганистан, красный, как Марс, с кратерами древних упавших метеоров, с трещинами иссохших каналов. Острый тоскующий взгляд ищет с высоты слабую вспышку взрыва, малую пулеметную искру. Там, в афганских горах, он сам идет, отекая горячим потом, навьючив боекомплект и продукты, и нога в запыленном ботинке ступает на камень, где лежит белый скелет мертвой пти-

цы. И пока они висят над красноватой мгlistой землей, кажется, что самолет летит сквозь ржавчину сгоревшей брони, окалину разорванных машин, прах истребленных кишлаков и к стеклу иллюминатора прилипают зеленые частицы расколотых изразцовых мечетей, бледный пепел опаленных садов.

Остановка в Карачи, пассажиров держат в салоне. Вокруг самолета ходит наряд автоматчиков. Подкатывает под крыло сияющая, из нержавеющей стали цистерна. Пакистанец-заправщик с черным маслянистым лицом, словно умытый нефтью, давит рычаги и кнопки, смотрит на манометры. Вокруг туманное серебристое пространство порта, рыбье, переполненное икрой брюхо DC-10, синяя надпись «Панамерикен». И острое любопытство, влечение к автоматчикам с М-16, к их расовому типу, к антропологии их смуглых лиц, горбатых носов, фиолетовых губ. Он — в недрах другого континента, другой культуры, и если невидимо сойти с самолета, просочиться, как тень, сквозь охрану, шагнуть на горячую, омытую ливнем траву, то окажешься среди иного народа, его мистической музыки, таинственной красоты, витающей над горячими рынками, белыми минаретами, ленивыми потоками огромных медлительных рек.

Полет над Гималаями — голубое, алое, белое. В ледниках загораются огромные разноцветные фонари. Глаз не может утолить чудную жажду, созерцая густую лазурь, в которой расселись по вершинам белобородые старцы, недвижные мудрецы, стерегущие врата в заповедное царство, куда нет входа земными путями и тропами, и только самолет пролетает над едва различимыми пагодами, золочеными сонными Буддами.

Бомбей — худощавые, с огромными глазами индусы, белые тюрбаны, алое пятнышко между женских черно-синих бровей. И сидеть, дожидаясь посадки, наслаждаясь счастливым одиночеством, своей неопознанностью, наблю-

дая из-под шапки-невидимки торопливые толпища, не ведающие, что он, Белосельцев, оказался на миг среди них.

Курчавые тенистые джунгли, испарения горячих болот, оловянная струя Меконга. Вьетнам, драгоценный, нарисованный на земле густым изумрудом, синим кобальтом, красным суриком. Хочется коснуться мягкой теплой земли, поднести к губам белый лотос, узреть в ветвях золотистую горбоносую птицу, клюющую сочный плод. Краткая посадка в Сайгоне с разгромленными коробами ангаров, где в бетонных пазухах догнивают взорванные бомбардировщики, алюминиевым сором блестят расщепленные «дугласы», завалились на бок пятнистые, без винтов, «сикорские». И кажется, что в мятых кабинах еще истлевают пилоты, костлявые руки в браслетах давят рычаги и гашетки. Война, неостывшая, сочится зловонием, мерцает ядовитыми угольками, источает голубые дымки тлеющих комбинезонов.

И вот он стоит на балконе старого отеля в Пномпене, рассматривает затуманенный город, над которым клубится желтая грозовая туча, несущая пыльцу ядовитых растений, ртутные вспышки ливня. И быстролетная мысль: «Это я, Белосельцев, пролетел полземли, брошен в чужую страну, где меня ожидает туманное, еще не осуществленное будущее, в котором, как семечко в яблоке, спрятана пуля».

Еще одно пробуждение в Пномпене, когда на черных фасадах в пять утра, перед отменой комендантского часа, загораются желтые, лампадно-маслянистые окна. Шлепают, шелестит падающая из кранов вода. Стучат по камням голые пятки. Позванивают звоночки выводимых велосипедов, прислоняемых к стенам у дверей. Мостовая еще пуста, под запретом, как пустое русло, по которому вот-вот хлынет бурный поток. Поднимаются на окнах циновки. Видно, как женщины, неприбранные, медлительные после сна, отвязывают москитные пологи, скатывают на полу постели, расчесывают длинные черно-блестящие волосы. Мужчины,

полуголые и худые, с переброшенными через плечо полотенцами, пьют чай за низкими столиками, поглядывают на безлюдную улицу, на звездное небо, прислушиваются к шелестам, звякам. И вдруг на углу визгливо и яростно, с мембранным металлическим эхом ударит в громкоговорителе музыка. И сразу метнутся на дорогу тени велосипедистов, полосуюя тьму, легкие, острые, как стрижи. Гуще, чаще, и вот, мигая и вспыхивая, сплетаются в колючий подвижный ворох, мешаются с треском моторов, с лучами автомобильных огней, окутываются бензиновой вонью, растревоженным тлеющим запахом нечистот, сладостью гниющих фруктов, дымом жаровен. Над крышами, гася молниеносно звезды, налетает латунный рассвет. Разгромленное здание рынка проступает горчичной громадой. И в доме напротив, где разбрызганы метины артиллерийских осколков, начинается розоветь сохнувший женский платок.

Он стоит на балконе, держится за влажный поручень, думает: «Это — я. Мое утро в Пномпене».

Он увидел, как рядом, на соседний балкон, вышла женщина. Сонно и сладко тянулась после сна, не замечая его. Щурилась на яркую улицу, отбрасывала на затылок черные тяжелые волосы, которые медленно, шелковисто осыпались обратно на полуголое смуглое плечо. Запахнула просторный халат, и он, следя, как захлестывает она на бедрах длинный пояс, видел ее босую ногу, гибко наступившую на решетку балкона.

Она заметила его, не смутилась своего утреннего неубранного вида, полуоткрытой груди. Улыбнулась белозубо.

— Доброе утро, — сказала она по-французски. — На воздухе так же душно, как и внутри.

— Доброе утро, — ответил Белосельцев. — Похоже, сейчас будет ливень. Ждешь прохлады, а с неба льет кипяток.

— Сегодня ночью несколько раз останавливался вентилятор. Отключали электричество. Под пологом было не-

возможно дышать. Я выходила на балкон, и сразу же налетали москиты. По-моему, на ночь они все переселяются в город с Меконга. А с рассветом улетают обратно.

— Мои не хотят со мной расставаться и днем. Им нравится мой номер. Нравится, что в нем нет кондиционера, что вентилятор плохо работает и вода идет с перебоями.

— Спасибо, хоть этот отель сохранился. Я боялась, что придется жить в кемпинге, в походной палатке.

— Виктор Белосельцев, журналист из Москвы, — представился он, полагая, что сказано достаточно, чтобы установить первый, самый легкий эскиз отношений, необязательных, хрупких, готовых рассыпаться, как паутинка.

— Вы русский? — удивилась она. — А я итальянка. Мария Луиза Боргезе, инспектор ООН. Инспектирую поступление гуманитарной помощи.

Она смотрела на него пристально, с веселым интересом. В ее темных длинных глазах, как в темных ягодах, дрожали фиолетовые искры. Смуглое молодое лицо, крепкие сочные губы, брови, прямые и резкие, — все было красиво, свежо. Отделенный от нее решеткой балкона, он вдруг почувствовал ее прелесть, силу и гибкость тела под неплотной розовой тканью. Смотрел на ее полуоткрытую грудь, загорелую, с темной ложбинкой, на то место, где начиналась белизна, мягко исчезала в просторном вырезе.

— День-другой я пробуду в Пномпене. Напишу в мою газету, как восстанавливается разрушенный город, как в нем пробуждается жизнь. А потом, если мне дадут разрешение, хочу поехать на север, увидеть Ангкор. Я так много читал об Ангкоре, столько раз видел снимки с его барельефами. Будет нелепо оказаться в Кампучии и не увидеть Ангкора. Но там, говорят, идут бои. Вьетнамцы вытесняют к границе красных кхмеров. Буду просить разрешение на поездку в Ангкор.

— Здесь всем управляют вьетнамцы, — сказала

итальянка. — Кампучийцы ничего не решают. По линии ООН мне нужно побывать в Сиенреапе и Баттанбанге. Там находятся наши пункты, склады с гуманитарной помощью. Вьетнамцы с большой неохотой дали мне пропуск. Ссылаются на то, что на дороге опасно. Повсюду засады и мины.

— Для женщины это не слишком подходящее занятие — ездить по заминированным дорогам, — сказал Белосельцев. — Там в самом деле стреляют.

— Это моя работа, моя профессия. До этого я была в Анголе, была в Мозамбике. Там, где воюют, люди нуждаются в помощи. Особенно дети. Мы направляем сюда детские медикаменты, детское питание. Но говорят, оно не все доходит до места.

И опять он почувствовал к ней влечение, к ее гибкой босой стопе, худой смуглой щиколотке. Ощутил таинственное совпадение их судеб, мимолетно столкнувшихся на балконах старого дома, под желтой клубящейся тучей, в которой, как люминесцентная лампа, вспыхивала и пульсировала молния. Две одинокие жизни, каждая со своей задачей и смыслом, своим кратким пребыванием в мире, оказались вдруг рядом. В ее глазах, как в ягодах черной смородины, искрятся золотисто-лиловые точки, густые темные брови слегка шевелятся, и она улыбается, смотрит на него через перила балкона, и можно подойти, коснуться ее рукой.

— Я была в Москве, — сказала она. — Очень много снега, холодно. Друзья поили меня водкой, угощали красной икрой.

— К сожалению, у меня нет с собой снега и красной икры. Но бутылку водки я захватил. Можно положить ее в ресторане в холодильник и вечером, если вы еще будете здесь, я вас приглашаю на ужин.

— Посмотрим. Впереди еще целый день. До вечера надо дожить.

— Наши балконы рядом. Назначаю вам свидание

здесь, на этом же месте. Я вам спою серенаду. Вы услышите, и мы повидаемся.

— Посмотрим, — засмеялась она и исчезла. И, словно занимая оставшуюся после нее пустоту, ударило из пепельно-желтой тучи трескучим клокочущим громом, дернулось в небе плазменное слепое бельмо. Сплошная, серая, грохочущая вода ударила в горячий асфальт. Вскипая и пузырясь, смыла, как сор, невесомых велосипедистов. Рушилась, затмевала город, била в него толстыми твердыми палками, ревела в водостоках, мяла кровли, будто близкая огромная река подпрыгнула в небо и упала, разбивая об асфальт твердые струи. И там, где она касалась земли, плескались тусклые шумные рыбины, шмякали липкие сочные водоросли. Брызги залетали в двери балкона, орошали кровать, марлевый полог. Белосельцев, оглушенный ливнем, задыхаясь, с восторгом и ужасом смотрел на обилие падающей с неба воды.

Ливень кончился мгновенно, словно в небе перекрыли вентиль. Туча с желтой бахромой, озаряемая вспышками, унеслась за крыши. По асфальту мчались ручьи. Их разрезали велосипедисты, склеивая спицы сверкающей пленкой. Плескались голые крикливые дети. И над всем, как в бане, поднимался горячий пар, рубаха стала волглой, мятой, было невозможно дышать от душных испарений.

Он вышел из отеля и стоял перед своим серо-стальным «Мицубиси», жмурясь от солнечного туманного жара, привывая к маслянистому ожогу улицы. Велосипедист в синей повязке упругими сандалиями давил педали, нес на багажнике деревянную поперечину, на которой вниз головами висели связки живых кур. Растопырили крылья, мерцали кровяными налитыми глазками, проносили полураскрытые клювы над горячим асфальтом. Другой велосипедист вез на рынок корзины. Окруженный их белым дырчатым ворохом, он ловко лавировал, пронося в потоке свой легкий пле-

тенный товар. Продавец соков толкал тележку со стопкой нарезанного сахарного тростника. На тележке стояла давилка, похожая на швейную машинку «зингер». Следом тянулась тонкая стручка воды от тающего, укутанного в тряпицу льда. Тонконогий, бритый, в белом шелковом облачении, прошел послушник. Долго сквозил в толпе своей белизной, черно-синей голой макушкой. Две молоденькие женщины в брюках, в одинаковых сиреневых блузках остановили свои велосипеды, запрудили поток и, не замечая этого, оживленно болтали, показывая друг другу пучки редисок.

Белосельцев смотрел на шелестящее, вспыхивающее спицами многолюдье, на истошно гудящие, мигающие поворотными сигналами мотоциклы, на автомобили, с гудками пробирающиеся по осевой, увязающие среди велосипедных рулей, соломенных шляп и повязок. Пномпень, еще недавно безгласный и вымерший, с обугленной чернотой переплетов, трупным ветерком из подвалов, медленно собирал в себя распуганную жизнь, смелеющую, стекавшуюся в него ручейками. Крестьяне из соседних провинций, редкие уцелевшие старожилы заселяли разгромленный город, возвращали ему голоса и лица. Город, раненный, с перебоями дыхания и пульса, оживал, торговал, работал.

Подкатил автобус, остановился у ржавого, с пустыми глазницами светофора. Из автобуса вышли пионеры, тонконогие, хрупкие, в белых рубашках, шелковых красных галстуках, синих пилотках. Заскользили уверенно сквозь толпу, рассекли перекресток, запрудили его. Худой, длиннорукий юноша в белых толстопалых перчатках вскочил на тумбу, легкими точными взмахами, верещаньем свистка стал управлять перекрестком. Погнал велосипедистов в узкие ворота, образованные пионерами, давая простор тяжелому армейскому грузовику с тюками риса, «Мерседесу», стремительно скользнувшему на открытый асфальт. Белосельцев, глядя на пионеров, испытал мучительную к ним неж-

ность и умиление. Дети по наущению взрослых пытались исцелить раненный страдающий город, были ранены вместе с ним. Сел в машину, в ее душное накаленное чрево. Запустил мотор, включил кондиционер, зная, что через минуту прохладная свежесть выдавит из машины пропахшую пластиком духоту. Поехал в посольство.

В посольстве он беседовал с первым секретарем, который уточнял разведздание. Разговор протекал в затененной, занавешенной комнате, украшенной резными деревянными копиями барельефов Ангкора, на которых царь, окруженный воинами, отправлялся в поход. Комната была экранирована, недоступна прослушиванию, и все равно секретарь, сухощавый, белесый, видимо дозирующий употребление пищи и влаги, говорил негромко, так что некоторые слова угадывались Белосельцевым по движению губ.

— Вы знаете, что наше политическое руководство очень встревожено возможностью крупного военного вьетнамотаиландского конфликта. План Хо Ши Мина по созданию объединенной Юго-Восточной Азии под протекторатом Вьетнама успешно реализуется. Объединился Северный и Южный Вьетнам. Установлен контроль над Лаосом. Практически контролируется вся Кампучия, за исключением северных районов, где вьетнамцы завершают разгром красных кхмеров. Участились переходы вьетнамских подразделений через таиландскую границу, куда они устремляются, преследуя отступающих «кхмер руж». Базы «кхмер руж» на таиландской территории служат поводом для концентрации вьетнамских войск вдоль границы. Если случится крупная война с Таиландом, американцы не останутся в стороне. Ониотреагируют на нее не только здесь, в Кампучии, но и в Европе, в Африке, в Латинской Америке. Везде, где сталкиваются наши и их интересы. Мы не хотим быть вовлеченными в новый виток мировой конфронтации и делаем все, чтобы вьетнамцы умилили свои аппетиты. Нам это дается

непросто. В американской печати появились статьи, в которых говорится, что в случае войны с Таиландом Америка сбросит на Ханой атомную бомбу. Здесь, в Кампучии, разворачивается сценарий глобальной ядерной войны...

Белосельцев внимательно слушал. Все это было ему известно, служило политической базой задания, которое он получил в Москве. Он слушал и одновременно рассматривал драгоценную резьбу на смугло-коричневом дереве, где древний кхмерский царь собирался в военный поход.

Властелин в доспехах и шлеме, на боевой колеснице, опоясанный острым мечом. Следом могучее войско. Кавалерия с грозными всадниками. Боевые слоны. Катапульты, огромные луки, заостренные орудия войны. Следом обоз, котлы для походного варева, кашевары, врачи и наложницы. Обнаженные девы гарема. Народ провожает войско, машет вслед колеснице. Желает царю победы, обильной и щедрой добычи. Над кровлей древнего храма летит тонкокрылая птица.

— Признак подготовки к войне — состояние железной дороги, — продолжал секретарь, выпукло шевеля губами, позволяя Белосельцеву по их форме и выпуклости угадывать неслышанные слова. — Дорога проходит от океанского порта Кампонгсома, через Пномпень, сквозь джунгли Баттанбанга и Сиемреапа, до тайландской границы. И дальше, через границу, в Таиланд. Во время правления «кхмер руж» дорога была разрушена, локомотивный парк поврежден. Есть сведения, что вьетнамцы начали восстановление дороги. Завезли паровозы, приступили к ремонту мостов. По степени готовности трассы, по ее пропускной способности можно судить о степени подготовки к войне. Ибо состояние шоссейных дорог удручающее. Крупные перемещения войск, поставки продовольствия и боеприпасов возможны лишь по железной дороге. Поэтому крайне важно исследовать все участки дороги и составить прогноз...

Войско царя разбило походный бивак. Царь отдыхает на ложе. Нагие плясуньи на узорных коврах танцуют любовный танец. Воины скачут в лесах, бьют из луков оленей. Горят костровища, жарится на вертелах мясо, пекутся огромные рыбы. Отдыхают кони в лугах, дремлют боевые слоны, воины сбросили шлемы, пьют из кубков вино. И над воинским станом, над стягами, трубачами летит острокрылая птица.

— Мы несколько раз посылали дипломатов под разными предлогами в Сиенреап. Однако вьетнамцы вежливо их не пускали, ссылаясь на боевые действия, на угрозу их безопасности. Мы снова настаивали, посылали, и тогда наш товарищ взорвался на дороге, его машина наскочила на мину. Вьетнамцы принесли соболезнования, на проводах тела в аэропорту выставили почетный караул. Но у нас есть все основания полагать, что это их рук дело. Они не хотят, чтобы посторонние глаза видели их приготовления. Наши попытки проникнуть в северные районы ни к чему не приводят. Поэтому мы прибегли к вашим услугам...

Войско царя вышло на поле битвы. Трубачи сзывают полки, выстраивается грозная рать. Лучники на слонах усеяли боевые площадки. Колесницы готовы к броску. Пехота нацелила копья. Царь на вершине холма в пышном шатре отдает приказания военачальникам. Вьются на шлемах волны конских хвостов. Навстречу из леса выходит враждебная рать — кони, слоны, колесницы. Взметенные копья, мечи. И над полем брани, как чей-то небесный гонец, летит быстрокрылая птица.

— Ваша легенда — журналист столичной газеты — прекрасно оправдала себя в Афганистане. Мы получили копии ваших афганских статей и показали их вьетнамцам. Мы убедили их в том, что ваши публикации имеют важное политическое значение, должны снять подозрения общественности по поводу ситуации в Кампучии. Мы гарантировали им полную лояльность по отношению к вьетнамской

армии, воюющей в джунглях. Гарантировали полную согласованность в интерпретации внутреннего положения Кампучии. Неохотно, но они согласились вас пропустить. В качестве репортера, вооруженный фотокамерой, вы сможете многое увидеть. Проникнуть на север вплоть до границы. Произвести исследование дороги, привезти необходимые снимки. У нас нет другого пути...

Страшная сеча. Столкнулись два грозных войска. Небо затмили стрелы. Скрестились мечи и копья. Сталь рассекает доспех, погружается в богатырскую грудь. Копье пронзает живот. Стрела пробивает глаз. Грызутся кони. Бьются слоны. Гора обезглавленных тел. Подброшенная хоботом, потерявшая шлем голова. Поединок царя и соперника. Воздели мечи, уперлись в землю ногами, готовы сразиться. И над сечей, над кровавым побоищем летит тонкоперая птица.

— Вас будет сопровождать сотрудник кампучийского МИДа Сом Кыт. Очень корректный и сдержанный, лоялен к советским людям. Однако пусть это не вводит вас в заблуждение. Он находится под контролем вьетнамцев. Он станет докладывать вьетнамским властям о любом вашем шаге. Он представляет главную опасность для вас. Нам мало о нем известно. Только то, что он пострадал при Пол Поте и брат его в эмиграции, проживает в Париже. Вы поедете двумя машинами по шоссе номер пять. Вас сопровождает охрана. Мы оплатили бензин и питание...

Царь сокрушил соперника. Поставил стопу на его поверженный лоб. Войско громит врага. Упавший раненый слон, исколотый множеством копий. Арканами ловят пленных, сбрасывают с седел на землю. Ловят трофейных коней. Боевая колесница мчится по полю, давит тела врагов. Горны трубят победу. Над шатром триумфальный стяг. По небу, как вестник победы, несется острокрылая птица, издавая истошный крик.

— Вас проинструктировали в Центре, какие параметры

характеризуют готовность дороги к эксплуатации. Качество колеи, ширина зазоров на стыках, прочность насыпи, крепость шпал. Вам следует осмотреть мосты, узнать, укрупняются ли разъезды для встречных эшелонов, готовятся ли водокачки, дровяные и угольные склады. Вьетнамцы отправили на север несколько дрезин с дорожно-строительным оборудованием, и нам известно, что они срочно восстанавливают в Баттамбанге вокзал. Здесь, в Пномпене, они отстроили депо и обкатывают локомотивы, работающие на дровах. Депо рядом, мы видим их паровозы...

Победное войско возвращается в родные пределы. Царь в окружении стражи. Наложницы услаждают царя. Гонят согбенных пленных. Хлещут по спинам бичи. Обоз с огромной добычей. Утварь, монеты, дары. Дымятся заздравные чаши. Везут убитых героев. И над войском, над победными стягами, летит, изгибая тончайшие крылья, вещая птица.

— Строительством дороги озабочены не только мы. Дорога интересует американцев. Нам стало известно, что в Пномпень прибыла с миссией ООН итальянка. Под видом эксперта по вопросам гуманитарной помощи она направляется на север, в Сиенреап. На самом деле она — агент американской военной разведки. Мы сообщили об этом вьетнамцам, и они нам выразили благодарность...

Под стенами города казнь и мучения пленных. Царь наблюдает пытки. Выкалывают ножами глаза. Отрезают языки, вспарывают животы. Подвешивают на крюк и разводят под ногами костер. Сажают на кол. Отсекают руки и ноги. Заливают глотки свинцом. Горы оскотпленных, изрубленных тел. Народ взирает со стен. Радуетса мукам врагов. И над местом свирепой казни с тоскливым криком летит тонкокрылая птица.

— Вьетнамцы извещены о вашей поездке. Шифрограмма поступила в военные комендатуры по всему маршруту. Вашего французского вам, я думаю, будет хватать для об-

щения с Сом Кытом, он будет вашим переводчиком. Кстати, нам известно о вашем пристрастии коллекционировать бабочек. Бабочки Юго-Восточной Азии славятся своей красотой. Быть может, ваше увлечение поможет вам при выполнении разведздания. Желаю удачи! — Секретарь впервые за время разговора улыбнулся и произнес эти слова громко, в полный голос. Поднимаясь, пожал Белосельцеву руку.

Царь торжествует победу. Пир, вино, танцовщицы. Акробаты, наездники. Гуляет счастливый, опоенный вином народ. Над башнями города с таинственным криком несется острокрылая птица.

Белосельцев покидал посольство. Выходил из прохладного сумрака на раскаленное душное пекло.

Перед тем как направиться в МИД, Белосельцев сделал несколько кругов по городу. Проехал мимо Ватпнома, спрятанного в тенистые кущи парка. Одетый в деревянные леса реставрации, украшенный бумажными фонариками и шелковыми полотнищами, храм готовился к празднованию буддийского Нового года, когда площадь перед святилищем наполнится нарядной толпой, вверх полетят цветные шары и змеи, ударят хлопушки салюта, в вечерних дымах жаровен заскользят, замелькают лучи прожектора, храм, позлащенный, с парусной стройной кровлей, поплывет над толпой, как корабль, и измученный войной народ на минуту забудет о горе.

Осторожно обгоняя велорикшу, везущего в своей трехколесной повозке женщину в шляпе, он сделал шелестящий вираж вокруг памятника Независимости, воздвигнутого Сиануком. Успел разглядеть в золотистом воздухе каменные резные скульптуры, смуглые лица караульных с красными ярлыками петлиц.

Королевский дворец в островерхих золоченых шпицах заструился головами драконов. Там, в глубине, за резными створками, в бархатно-алом сумраке таился нефритовый

полупрозрачный Будда, выгибающий стан на высоком серебряном алтаре.

Он испытывал необъяснимое беспокойство, беспричинную тревогу. Его ум и воля, вместо того чтобы сконцентрироваться на сложном, только что подтвержденном задании, пребывали в смятении. Источником беспокойства не было известие о поджидавших его опасностях, о коварстве вьетнамцев, об итальянке-разведчице, с которой недавно говорил на балконе, исподволь взглядывая на ее гибкую босую стопу. Город, в золотистом горячем тумане, в душных испарениях, разгромленный, с остовами домов, с проломами в стенах, был источником тревоги. Словно сюда упал огромный метеорит, спалил дома и храмы, уничтожил множество жизней и, сгорев, превратившись в пар, оставил после себя таинственную радиацию, химию иных пространств, идею другой галактики. Этот струящийся свет был не от солнца. Этот пар и колеблемый воздух был наполнен мерцающими газами иного небесного тела.

Опять над городом встала желтая ядовитая туча, переполненная горячей кислотой, в которой перекатывались синеватые вспышки. Казалось, здесь, в Пномпене, была неземная атмосфера, другая, лишенная хлорофилла растительность, другие, без красных кровавых телец, человекоподобные существа, среди которых ему, Белосельцеву, предстояло действовать. Выбирая улицы побезлюднее, он проехал мимо бывшего концлагеря Туолсленг, угрюмого грязного здания, опутанного колючей проволокой. Теперь тут размещался музей полпотовских зверств, выставлялись орудия пыток, экспонировалась выложенная черепами карта Кампучии, предсмертные фотографии узников, мужчин и женщин, пропущенных через истязания. В глазах у всех было одинаковое выражение остекленелого ужаса, будто перед смертью им показали нечто неземное, не имеющее объяснения, ужаснувшее своей потусторонностью.

Он миновал концлагерь, с облегчением оставляя за собой бремя накопленных здесь мучений. Чтобы снять с себя этот гнет, вернулся на многолюдную трассу, медленно катил среди звонов, визгов и выкриков. Тревога не оставляла его. Машина шла по узкому, свободному пространству вдоль осевой, сдувая гудками легких, блистающих спицами наездников, которые казались почти бестелесными, охваченными чуть заметным свечением. Эта тревога, проносимая им сквозь горячий Пномпень, с клубящейся тучей, наполненной горячим ливнем, была связана с непониманием жизни, в которую он был заброшен. Снова, в который уж раз, кто-то незримый, зорко за ним наблюдающий, управляющий его судьбой, легким нажатием кнопки послал команду. Направил его в таинственный край, где случилось необъяснимое, полное загадок явление — истребление народа. Возник загадочный большой завиток истории, и в этом завитке сгорело пространство и время, уничтожились города и селения, погибла цветущая цивилизация кхмеров. Ему надлежит понять природу случившегося. Взять пробы грунта, оплавленные кусочки породы. Подвергнуть анализу остатки костной муки, бледные отпечатки на камне. Выяснить, чем являлся предмет, упавший из неба на землю, — слепым обломком Вселенной или изоощренным созданием разума.

Застрелая в клубках перекрестков, тормозя, он слышал, как шуршат по машине одежды, прикасаются чьи-то руки, замечал, как быстрые блестящие глаза глядят на него сквозь стекло с велосипедных сидений, из повозок, из-за маленьких столиков под навесами, где китайцы, держатели крохотных харчевен, ставили перед едоками чашки с дымящимся супом, с красно-проперченной горячей лапшой и бутылочки с соевым соусом. Он свернул на пустырь, на красную липкую землю, где огромно, достигая пальмовых лохматых вершин, громоздилось скопище истребленных машин. Кладбище механизмов, собранных в громадный курган, знаменующий,

как было задумано, окончание эры моторов. Возвращение в иную, домоторную эру, связанную с кетменем и мотыгой, добыванием клубеньков и корней, высечением огня.

Он остановился, опустил стекло, пропуская в салон струю горячего влажного воздуха. Пахло цветущими деревьями, кислотой разлагающегося железа, истлевающего в едких испарениях тропиков, и едва ощутимой гарью. Это пахло испепеленное время, исчезнувшие молекулы мироздания. Деревья цвели, источали едкие ароматы, испускали обильные природные яды, словно хотели быстрее растворить отданный им на истребление металл. Железо испарялось, утончалось. Над пирамидой исковерканных машин стоял дрожащий, уходящий в небо столб воздуха, словно небо выпивало остатки уничтоженной цивилизации.

Он смотрел на измятые, взметенные вверх скелеты «Мерседесов», «Пежо», «Кадилаков», на их выдранные пустые глазницы, ржавые диски, ошметки проводов и пружин. Будто автомобили встретились здесь на сверхскорости в страшном одновременном ударе. Спикировали в одну точку с разных высот, направлений, сминаясь в металлический ком. Белосельцев не мог понять, какими гидравлическими прессами были сжаты автомобили, с помощью каких орудий и механизмов были водружены друг на друга в огромную пирамиду. Как на острове Пасхи, здесь действовали загадочные строители, создавая статую из раздавленных машин. Воздвигали памятник неведомому богу, алтарь загадочной религии.

Над нагретым металлом ввысь поднимался едва заметный светящийся столб. Казалось, в этом месте земля сквозь невидимую пуповину, через прозрачный световод соединяется с Космосом. В обе стороны несутся энергии, происходит обмен. Сюда, из других галактик, по световоду, был направлен удар, вонзилась сокрушающая идея, направленная на изменение истории, на коррекцию исторических за-

блуждений. Оттуда, откуда когда-то явилась на землю жизнь и были сотворены растения и рыбы, созданы звери и птицы, возник человек, населил города и земли, построил корабли, самолеты, увеличивая земное могущество, вышел в Космос, — оттуда, из потревоженного человечеством Космоса, грянул удар. Творец замыслил выправить изгиб истории, устранить накопленную за тысячелетия ошибку. Пол Пот и «кхмер руж», Сорбонна и Сартр, экзистенция и «мировое ничто» были выбраны инструментом божественной воли. Стальное кайло пробивало черепа интеллигентов, сгорали дворцы и храмы, и летела в туманном небе Пномпеня вещая острокрылая птица.

Белосельцев смотрел на прозрачный струящийся столб, чувствуя бестелесные, пролетающие энергии. От них, как от реактора, веяло страшной опасностью. Они затягивали в себя, словно смерч, были готовы закрутить, засосать, унести в беспредельность.

Вначале, когда он подъехал, было тихо, но потом вся железная гора стала наполняться едва различимым звуком, тихим шелестом, звяком. Так цикады, умолкнувшие в кроне дерева от приближения человека, осмелев, вновь начинают свои пересвисты и звоны. Огромная жестяная гора тихо дребезжала, звенела, охваченная негромкими неторопливыми постукиваниями. Он заметил, как из-под бампера выглянула черная осторожная голова. В пустой глазнице от фары появилось и скрылось лицо. Вся гора, как огромный термитник, была населена людьми, проникшими в щели и скважины сплюснутых машин. Жители Пномпеня пришли сюда, принесли молотки и зубила, вырезали и выколачивали из мертвых машин куски металла. Обглаживали машины, выдирая из крыльев, капотов и крыш лоскуты. Собранные металлические стопки уносили на окраины, где на дамбах, вдоль сырых, с цветущими ирисами болот теснились утлые хижины, построенные наспех беженцами и погорельцами.

Он тронул машину, направляясь в МИД, и опять, повинуясь необъяснимому влечению, сделал петлю по городу, подъехал к телевизионному центру. Телевизионная мачта напоминала скелет обглоданной рыбы. Построенная у ее основания студия была разгромлена. Сквозь сорванные двери и разбитые окна виднелись взломанные шкафы с электроникой, хрупкие приборы и механизмы со следами остервенелых ударов. Через порог с мокрой земли устремились в помещение цепкие зеленые стебли. Было ощущение, что растения из разных мест окружавшего студию сквера направили к дверям зеленые стрелы, торопятся ворваться в помещение, захватить оставленную людьми территорию. Передовые отряды уже проникли в глубь студии, оплели металл, просунули свои почки и листья в полости разбитых приборов, вслед за погромщиками продолжают истребление студии. Карабкаются на пультах компьютеров, застилают дисплеи, тянутся к дырявому сквозящему потолку, штурмуя этаж за этажом. Норовят добраться до железных конструкций мачты, оплести до вершины, нависнуть на ней сочными зелеными тоннами, источить едким соком и обрушить.

Было жутко смотреть на это осознанное, агрессивное торжество природы, торопящейся стереть следы ненавистной ей техники. На столь быстрое и простое исчезновение с лица земли плодов человеческой деятельности, казавшихся незыблемыми. Растения наносили удар. Насекомые и бактерии довершали работу, превращая стальные сплавы в рыжую пыль.

Радио, телеграф, электронные средства связи, сочетавшие человечество в огромное сообщество, управляемое из единого центра с помощью телевизионной картинки, упрощенного знака, общей для всех программы, были объектами этой бесшумной атаки цветущих стеблей и листьев. Тот, кто натравил агрессивные деревья и травы на компьютеры, хотел разорвать электронную сеть, брошенную на чело-

вечество, стереть из памяти азбуку, цифры, бесконечных говорливых витий, взявших на себя роль учителей и пророков, уводящих человечество все дальше от природы, от тайного безмолвного языка, соединяющего души и сердца, сочетающего людей, растения, звезды в нераздельный дышащий Космос.

Неподалеку, под могучим дуплистым деревом, оранжевый бонза расставил поминальный алтарь, курящиеся благовонные палочки, нищенскую дароносицу. Сидел, скорчившись, подхватив грязно-оранжевые полы хламиды. К нему подходили какие-то медлительные печальные женщины, затянутые в длинные юбки, и худые тихие дети с коричневыми огромными глазами. Приближался буддийский Новый год, повсюду обильно курились алтари, поминали убитых.

Белосельцев в который раз хотел уяснить мотивы убийства цветущего полнокровного города, которым еще недавно любовалась вся Азия. Убийства не постепенного, не частями, а разом, в одночасье, как были убиты Дрезден и Хиросима.

Одержимые фанатической «крестьянской» идеей, реликтовой «крестьянской» мечтой, ненавидя религиозной ненавистью цивилизацию, машины, всех, кто стоял у станков, сидел в аудиториях, держал перо или кисть, колонны «кхмер руж» входили в покоренный Пномпень. Их атака на город из лесных лагерей, из партизанских баз напоминала наступление растений, штурм деревьев, бросок диких птиц и зверей, поднявших восстание против заводов, университетов, железных дорог. Политическая верхушка полпотовцев была мистической сектой, возвращавшей на землю религию древних богов, обитавших в джунглях, в таинственных водах рек, в звездах и тучах небесных. Эта секта, получившая знания в лучших университетах Франции, создавшая партизанскую армию землепашцев, соединила Маркузе и Маркса с древними восточными культами. Спланировала истребление госаппарата, военных, университетских

и банковских служащих, инженеров, врачей и бонз — все, что составляло опору культуры. По улицам покоренного города носились военные джипы, и люди в черных одеждах, с мегафонами возвещали: «Всем покинуть город! Начинаем бомбардировку Пномпеня!»

Жители покидали дома, строились в длинные, стенающие колонны. Их угоняли в поля, на дороги, на жидкие проселки и болотные тропы. Обезлюдивший город, где не осталось ни одного человека, остывал, как тело, из которого выпили кровь. Струились золотые пагоды, стояли у тротуаров автомобили, мигали на углах светофоры, но уже лианы протянули к домам свои цепкие стебли, семена цветов упали на домашнюю скатерть, рыжий клочок лишайника зацепился за концертный рояль.

Вьетнамские танкисты, без боя вошедшие в город, увидели пустые квартиры с нетронутой на столах посудой, которая простояла три года, окруженная гнездами летучих мышей и термитов.

Готовясь к поездке в Пномпень, изучая конструкцию железнодорожной колеи, параметры, описывающие пропускную способность дороги, Белосельцев перечитал массу политических и военных статей о трагедии Кампучии. Исповеди пленных палачей и чудом уцелевших жертв. Жутко однообразные рассказы об убийствах и казнях. Сквозь стенания и слезы пострадавших, гул пропаганды, геополитическую и военную аналитику ему все чудилось тайное учение Востока — об иной Земле, иных божествах и людях, мимо которых промахнулась история. Станные люди, именуемые в политике «красными кхмерами», а в народе «черными воронами», прошедшие Сорбонну и джунгли, неудачно, ударом кайла по черепу, попытались исправить ошибку истории.

В Министерстве иностранных дел, в приемной, секретарша с тихой улыбкой пригласила его в гостиную, обитую темным шелком. Усадила за низкий столик. Поставила пе-

ред ним высокий стакан с напитком, с плавающими кубиками льда. Белосельцев жадно пригубил, останавливая себя, зная, что влага ненадолго остудит тело, тут же выступит под рубашкой горячей росой. Еще в Афганистане он научился управлять своей плотью в изнуряющей жаре Регистана, когда от прикосновения к броне на коже загорался ожог.

В гостиную бесшумно вошел Сом Кыт, маленький, сухой, невесомый, за счет своей легкости почти не касался пола. Нес в руках тонкую папочку. Его желтоватое широкоскулое лицо, без морщин и складок, с неподвижными, словно выточенными чертами, не имело возраста. Черные жесткие волосы без седины, спокойные, внимательные глаза под темными бровями, коричневые сжатые губы. Это лицо своими очевидными чертами выражало сдержанность, ненавязчивость, протокольную корректность и почти равнодушие к собеседнику. Но при этом каким-то невидимым, помещенным на лице органом, быть может третьим, затянутым кожей глазом, расположенным на лбу между синеватых бровей, он исследовал Белосельцева. Пытался его угадать, читал его мысли и чувства. Делал с Белосельцева моментальные, скрытой камерой, фотографии.

— Дорогой Сом Кыт, — Белосельцев говорил по-французски, придавая своим первым фразам любезный тон, — я пришел представиться и поблагодарить министерство за чуткое отношение к моей просьбе. Надеюсь отблагодарить вас и в вашем лице кампучийцев правдивым и сочувственным рассказом на страницах моей газеты о страданиях вашего народа, об усилиях новой власти, направленных на возрождение родины.

— Я рад нашему знакомству. — Голос Сом Кыта был тихий и ровный, а французский язык безукоризненный. — Мы готовы пойти вам навстречу и первому из журналистов организовать поездку на север. Хотя, не скрою, есть немалая доля риска. В районах Баттамбанга и Сиемреапа идут

бои. Таиландская артиллерия наносит удары по позициям нашей армии. Но мы очень уважаем советских друзей, с пониманием относимся к просьбе вашего посольства. Поэтому хоть и с небольшой задержкой, но программа поездки составлена, машина и охрана приготовлены, и мы сможем выехать завтра.

— Я очень много жду от нашей поездки, — любезно произнес Белосельцев. — После Афганистана это вторая воюющая страна, где мне приходится работать. Если не возражаете, дорогой Сом Кыт, я готов познакомиться с программой.

Сом Кыт раскрыл свою аккуратную папку, извлек и разложил на столе старую, склеенную на сгибах скотчем туристическую карту Кампучии. Стал пояснять маршрут.

Поездка была рассчитана на неделю. Совершалась машиной по шоссе номер пять, вдоль юго-западной кромки озера Тонлесап, до Баттанбанга и Сиенреапа, с заездом в крестьянские кооперативы, на фабрики, пагоды. Предусматривала встречи с интеллигенцией и духовенством и, если позволят обстоятельства, контакты с кампучийскими и вьетнамскими военными. План поездки был согласован на самом высоком уровне, о нем знало вьетнамское командование. Сом Кыту оставалось подписать несколько пропусков, открывающих доступ в военные части, а также разослать радиogramмы в местные комитеты, извещая о прибытии советского журналиста.

Белосельцев рассматривал красную линию шоссеиной трассы и бегущую рядом серую пульсирующую черту железной дороги, отмечая места их совпадения и сближения. Фиксировал точки на шоссе, где под разными предложениями возможны остановки, выходы на насыпь. Тут же начинал придумывать эти предлоги и поводы, которые должны убедить зоркого, чуткого провожатого. Посмотрел на Сом Кыта, на его близкое, замкнутое лицо, и ему показалось, что

тот читает его мысли. Третье око, затянутое смуглой кожей, смотрит сквозь лобную кость, прозревает тайные планы Белосельцева. И чтобы скрыть эти планы, стать незримым для ясновидца, он начал вбрасывать в сознание случайные образы придорожных пагод под покатыми кровлями с деревянными буддами, покрашенными в красный сурик, танцующих в коротких, как набедренные повязки, юбках, с колокольчиками на щиколотках и гибких запястьях, солнечные поляны в горячих джунглях с летающими желтыми бабочками. И этот ворох хрестоматийных образов закрывал собой тусклую стальную колею, ржавые, нагретые солнцем двутавры, разболтанные костыли, вбитые в измочаленные, полустлевшие шпалы.

— Еще раз, дорогой Сом Кыт, хочу поблагодарить министерство за эту поездку. — Белосельцев старался быть приветливым, искренне душевным и дружелюбным, открывая всевидящему оку кампучийца свою наивную, благодарную, жаждущую впечатлений душу, которая доверялась благосклонному поводырю. — Хотелось бы узнать, как мы станем решать в дороге проблему ночлегов и продовольствия. Стоит ли брать с собой москитную сетку, запас продуктов.

— Ночевать мы будем в отелях. Обедать и ужинать — в ресторанах. В Баттанбанге и Сиенреапе вы можете рассчитывать на европейскую кухню. Единственно, что, может быть, вам следует с собой захватить, — это медикаменты.

— Какие?

— Профилактические, от лихорадки. Нам придется ехать сквозь джунгли. И желудочные. Местная вода не всегда по нутру европейцам. Хотя, повторяю, мы будем есть в ресторанах, где соблюдается гигиена.

— Благодарю за совет. От лихорадки и желудочных заболеваний нас убережет русская водка. А от тайландского снаряда или фугаса мы закроемся москитной сеткой.

Белосельцев рискнул пошутить, надеясь этой мягкой

шуткой вызвать улыбку на замкнутом лице кампучийца. Но оно оставалось непроницаемым, как лик маленького изваяния. И Белосельцев понял, что главной опасностью для него является не вьетнамская контрразведка, не кампучийские спецслужбы, а этот интеллигентный дипломат, поставленный подле него соглядатаем, читающий его мысли и чувства, закрытый и невидимый.

— От возможных случайностей нас защитит охрана, — сказал Сом Кыт.

— На какой машине мы поедем?

— На «Тойоте». Дорога очень плохая. Не ремонтировалась пять лет. Ее разбили войска, танки. Нам нужен вездеход. Кроме нас и шофера поедут два солдата охраны. На похожих «Тойотах» передвигаются представители ООН. Это в какой-то мере обезопасит нас от нападения из засады. Полпотовцы не стреляют по этим джипам. ООН доставляет продовольствие в их лагерь в Таиланде.

Белосельцев видел разъезжающие по Пномпеню белые машины с голубой, видимой издали эмблемой. Такие машины в сознании людей связывались с западными поставками риса в недавние голодные месяцы. Советские поставки хлеба и топлива не были связаны с рекламой. Мало говорилось о советских портовиках, ожививших пирсы и краны Кампонгсому. О советских врачах, остановивших эпидемии в Пномпене.

— Завтра в пять утра машина придет за вами в отель, — сказал Сом Кыт, аккуратно складывая карту.

— Если можно, к посольству, — попросил Белосельцев. — Утром я отгоню машину в посольство и буду вас ждать у въезда.

— Хорошо, — сказал Сом Кыт. — Я живу недалеко от посольства.

Они расстались. Сом Кыт с восточным поклоном покинул гостиную, маленький, изящный, похожий на статуэтку.

Вьетнамский пресс-атташе Нгуен Фам принял его в прохладной гостиной с лаковыми миниатюрами на стенах. Разливал кофе в крохотные чашечки. Умными веселыми глазами, маленьким улыбающимся ртом выражал радушие.

— На улице нечем дышать, наверное, будет ливень, — сказал Белосельцев, используя эти первые необязательные минуты общения для того, чтобы исследовать своего собеседника. Его облик, манеры, исходящие от него эмоции. Обнаружить среди них особенности, которые несли в себе возможную опасность, скрытые точки, в которых таились угрозы. Видел, что и вьетнамец, наклоня фарфоровый кофейник, зорко, чутко его осматривает. — По-моему, в этом году раньше обычного начался сезон дождей. Я тяжело переношу эти ливни. — Шагая от машины к посольству по бесцветному пеклу, он снова успел перегреться, откинулся в тень шторы, сторонясь полосы солнца.

— За местных крестьян можно порадоваться, — сказал Нгуен Фам, сочувствуя Белосельцеву, но одновременно тонкой, едва уловимой интонацией противопоставляя его страдания случайного, временно оказавшегося здесь европейца насущным заботам извечных обитателей этих раскаленных земель. — Ранние дожди — к урожаю. В деревнях уже начали сеять рис.

— Интересно, как вы, северяне-вьетнамцы, переносите климат Кампучии? — спросил Белосельцев. Это был ответный, едва ощутимый укол. Атташе, крупный чиновник посольства, по всей видимости, был из Ханоя. Его пребывание в Пномпене являлось не обычной дипломатической миссией, а частью военной программы, согласно которой вьетнамская армия с боями вошла в Кампучию. Разгромила режим Пол Пота, выдавливая его из страны, устанавливая по всей территории новую, подконтрольную власть. Эта поднадзорная власть, робко вернувшаяся в города и селения, действовала под присмотром вьетнамских военных.

— В Ханое под бомбежками даже самый хороший климат не приносил утешения. Конечно, здесь жарко. Но не бомбят. Пусть лучше грохочет гром и льется дождь, чем режут американские самолеты и льется напалм.

Это был ответ человека, который осознал себя частью системы, победившей Америку. Заплатившего за эту победу неисчислимыми жертвами, готового сполна воспользоваться плодами этой победы, имеющего право здесь, в Кампучии, действовать в интересах своей безопасности, своей национальной стратегии.

— Конечно, ранние дожди — благодать для крестьян, — согласился Белосельцев не с этим очевидным утверждением, а с правом победителя, принимая его сторону, отдавая ему должное. — Слава богу, изголодавшаяся Кампучия может надеяться на хороший урожай. — Он с наслаждением отпил горько-сладкий, живительный глоток кофе, возвращая себе бодрость, этим длящимся секунду глотком отделяя предварительную часть разговора от главной и основной. — Но, как я полагаю, ранние дожди — одновременно и помеха для армии. Мешают боевой активности.

— Я читал ваши репортажи из Афганистана, — ответил атташе. — Знаю ваш особый интерес к армии. Насколько мне известно, войска стремятся сейчас разгромить в горах последние базы Пол Пота. Не допустить проникновения из Таиланда новых банд до начала обильных ливней. Противнику будет трудно в сезон дождей пробраться через болота и джунгли с продовольствием и оружием в Кампучию.

— Таиланд ведет себя дерзко. Артиллерия бьет через границу. Происходит концентрация войск. Неужели Таиланд может решиться на серьезный конфликт? — Это было опасным приближением к запретной теме, которая одна по-настоящему волновала Белосельцева. Служила истинным поводом его появления здесь. Риск, на который он пошел, задавая вопрос, был продиктован интеллектуальным

азартом и инстинктом, подсказывающим ему, что не следовало создавать фигуру умолчания вокруг темы возможной войны. Это умолчание указывало на истинный его интерес, могло насторожить собеседника.

— Вряд ли, — ответил Нгуен Фам. — Мы не допустим конфликта. Мы хотим, чтобы в Юго-Восточной Азии после стольких лет войны воцарился мир.

Этот краткий ответ напоминал узорное жалюзи, которое опускают перед носом человека, пожелавшего заглянуть в чужое окно. В ответе была запрещающая твердость, адресованная другу, который не должен злоупотреблять дружбой и стараться проникнуть в святая святых другого. Гостю отводилось определенное, ограниченное пространство, где он мог беспрепятственно действовать, пользуясь гостеприимством хозяев.

— Вы знаете, дорогой Нгуен Фам, кампучийцы позволили мне побывать в районе границы. Завтра я выезжаю. Считаю необходимым проконсультироваться с вами. Рассчитываю на вашу поддержку. — Это высказывание выражало готовность к соблюдению всех явных и неявных правил, установленных вьетнамцами в контролируемой ими стране. Оповещало атташе о лояльности Белосельцева ко всему, что он увидит в дороге.

— Мы всегда готовы помочь друзьям, — ответил Нгуен Фам, принимая от Белосельцева эти неявно выраженные заверения. — Друзья должны помогать друг другу. Это очень хорошо, что вы едете. Советские читатели должны узнать о процессах, происходящих в новой, свободной Кампучии. Уверен, кампучийцы покажут вам все, что вас интересует. И мы, разумеется, в свою очередь пойдем вам навстречу. О чем бы вы хотели просить?

Белосельцев мягко, ненастойчиво перечислил ряд продуманных просьб, связанных с посещением действующих

вьетнамских частей, с предоставлением военного транспорта, быть может, и вертолетного.

— Хорошо, — сказал атташе. — Я обо всем доложу послу.

Белосельцев знал, что ответ был формален. Послу давно было доложено о прибытии Белосельцева, о его маршрутах и планах. Разведка вьетнамских частей была извещена о его продвижении. Его путешествие будет проходить под присмотром сдержанного кампучийца Сом Кыта, под бдительным оком вьетнамских военных комендатур.

— Хочу на прощанье, как другу, дать вам совет, — любезно сказал атташе. — Не пренебрегайте правилами безопасности. Там идут боевые действия, развернута минная война. В прошлом месяце произошел трагический случай. Советский дипломат, помощник советника, подрывался на mine. Он направился к разрушенному железнодорожному мосту и подрывался. Должно быть, это был старый полотовский фугас. Нам было жаль жизни молодого советского дипломата.

Это было самое важное, что услышал Белосельцев за десять минут разговора. Эта была угроза ему, разведчику, в том случае, если его легенда журналиста разгадана и выяснена истинная цель появления. Если же цель не разгадана и он в глазах вьетнамцев остается журналистом, это был косвенный знак того, что вьетнамцы окружили секретностью информацию о железной дороге и эта дорога восстанавливается и станет служить военным, тщательно засекреченным целям.

Они пожали друг другу руки, политические единомышленники и друзья, нуждающиеся друг в друге, доверяющие друг другу настолько, насколько позволяла огромность земного шара, на котором во все века каждый народ вел жестокую войну за свое выживание.

На обратном пути в отель Белосельцев свернул к Ме-

конгу, громадно и тускло ослепившему его своим тяжелым разливом. Он въехал на разрушенный мост, подкатил к распавшейся пустоте, где внизу, в бурунах, ржавели разодранные взрывом конструкции, слепо катился шоколадный разлив реки. Гнили на отмелях поврежденные теплоходы, пятнистые, киями вверх, военные самоходки. Тут же на берегу сгрудилась полуголая ребятня. Те, что повзрослей, ныряли в реку, оставляя расходящиеся круги. Пребывали под водой, а потом шумно выныривали, выволакивали на берег шматки тины и ила. Весь берег был в засохших водорослях, в обломках ракушек, в кучках черного спекшегося ила.

Белосельцев знал: в этом месте, на спуске к реке, полпотовцы расстреляли захваченных военных, министров, их жен и детей. В первое время ныряльщики доставали со дна золотые кольца, браслеты, украшения из серебра. Он смотрел на глазированно-блестящие детские тела, остро уходящие в воду. На голубоватую грязь, стекавшую с их ладоней, которые они подставляли под солнце, надеясь углеть желтую золотую искру. За рекой, в голубовато-волнистых туманах, лежала разоренная больная страна, населенная сиротами, вдовами. Тлела в могилах плоть миллионов убитых. В джунглях длилась борьба. Накапливались ударные армии для новой жестокой войны. Он, Белосельцев, оказался на огромном волчке, запущенном на оконечности Азии. Вращались в дымах и пожарах растревоженные земли и страны. Тлели разоренные города и селения. Где-то среди этих вращений таился нагретый ствол автомата, и в рожке, среди желтых патронов, покоился один, с отточенной пулей, предназначенный для него.

Он вернулся в отель, стоял под душем, не освежавшим, теплым, смывающим пот с его изнуренного тела. Сквозь открытую дверь, из-под брызжущей струи, он видел свою кровать с марлевым балдахином, защищавшим от москитов. В потолке мерно вращался вентилятор, разгоняя по углам

теплый спрессованный воздух. Лежал его походный баул, смена белья, черный, похожий на притаившегося зверька фотоаппарат. Тут же белел сачок, его чистая кисея еще не была испачкана соком тропических трав, каплями нектара и лимфы, в него не вцепились колючие семена бурьяна. Его нехитрый дорожный скарб не включал в себя оружия, переносной радиостанции, кодирующих устройств. Только маленький ящичек транзистора, который позволял ему слушать музыку тех пространств, куда его заносила судьба. То афганские революционные марши, то пакистанские, похожие на молитвы муэдзинов, мелодии, то кампучийские и вьетнамские напевы, в которых было нечто от желтизны рассветов, от туманной пылицы раскаленных джунглей, завитков и орнаментов пагод и что-то еще, таинственное и мучительное, напоминавшее золотую, из тончайших волокон сережку.

Он вышел из-под душа и стоял, растираясь полотенцем, чувствуя, как широкие лопасти вентилятора охлаждаются влажные плечи.

Вышел на балкон. День клонился к вечеру, жар слегка спал. Этого было достаточно, чтобы дышалось легче. Он смотрел на мелькание велосипедистов, похожих на крылатых термитов. Казалось, за спиной у каждого сложены прозрачные крылья. Сейчас взлетят, подымутся выше крыш легким ворохом, и тогда из вечернего неба вынырнут шуршащие зеленоголовые стрекозы, нападут на них.

Он услышал звук на соседнем балконе, и итальянка, черноволосая, смуглая, с влажной свежей кожей, только что из-под душа, в сиреневой яркой блузке, появилась на балконе, словно услышала его появление, ждала его.

— Добрый вечер, — приветствовал он ее, наклонившись к ней через поручни. — Как прошел день? Какие успехи?

— По-моему, все готово к завтрашнему отъезду. Такая волокита повсюду. Можно подумать, им не нужна гумани-

тарная помощь. Они делают любезность, принимая продовольствие и медикаменты. — Она говорила громко, но не сердито, улыбалась белозубым ртом. На ее смуглой шее висела серебряная цепочка, и он хотел угадать, что прячется под сиреневой тканью — крестик или ладанка. — Дозволилась в Рим. Вчера весь день не было телефонной связи.

— Какая погода в Риме? — с легкой насмешкой спросил Белосельцев. Перед ним стояла разведчица, которую противник послал в те же самые джунгли, куда направлялся он сам. Встревоженный возможностью новой большой войны на Востоке, противник послал эту молодую прелестную женщину в зону боев и засад, в край малярии и лихорадки, предложив ей исследовать состояние железной дороги. Оба они, из разных враждующих станов, маскируясь под разными личинами, пробирались к железной дороге. Обоих подстерегали опасности. Оба были похожи. И эта схожесть странно возбуждала Белосельцева. Он не испытывал к ней враждебности, а одно любопытство, род солидарности, понимая, сколь сложно будет ей находиться в странствии, где никто не придет на помощь, не защитит, не спасет. — В Риме холодно или жарко?

— По сравнению с Пномпенем там русский мороз.

— Вот бы сейчас из этой тучи пошел небольшой снег. Я бы слепил снежок и кинул его через улицу в противоположный дом.

— В Москве я играла в снежки. Друзья привели меня к Кремлю, я сделала снежок и кинула в красную кирпичную стену, но попала в случайного прохожего. Мне было очень неловко.

— Этим случайным прохожим был я. Вы не узнаете меня? Снежок попал мне за шиворот, было очень приятно. Я приехал в Пномпень, узнав, что вы здесь, специально, чтобы поблагодарить за доставленное удовольствие.

Она смотрела на него пристально и серьезно, словно

пыталась признать в нем того проходящего в снегопаде москвича. В глазах ее заблестели яркие точки, она громко, белозубо рассмеялась.

— Нет, тот был другой. Он был старый, и его не занесло бы в такое замечательное место, как это. Он был нелюбопытен, был не журналист, не ездил на «Мицубиси» так, что люди шарахаются от него врассыпную. Он побаивался женщин, опирался на палку, не имел обыкновения разговаривать через балкон с малознакомыми дамами. Нет, то были не вы.

— Все не в мою пользу, — огорчился Белосельцев. — По сравнению с тем счастливец я выгляжу неудачником. Вы должны снизойти ко мне. Должны протянуть мне руку помощи. Должны оказать мне гуманитарную помощь.

— В каком размере и в виде чего?

— Вы должны поужинать со мной. Этого требует справедливость. Требуется устав ООН.

— Мне вам трудно отказать. Не могу вас сделать несчастным.

— Тогда спускайтесь. Жду вас внизу. Тут, через два дома, есть китайский ресторанчик, который держит один хуацяо. Мы немного поедим лягушек, и тогда вы все-таки вспомните, что счастливцев, в которого вы запустили снежком, был я.

Они дошли до ресторана с открытой верандой под полосатым натянутым тентом. Миновали стойку, где хозяин-китаец, откупоривая толстобокую бутылку, им поклонился. Пересекли большой зал, пустой в этот час, с рекламными плакатами польской и чехословацкой авиакомпаний на стенах и негромкой, для услаждения слуха, музыкой. Очутились в заднем, с прогалом на улицу помещении, продуваемом ветром, с маленькими, не слишком опрятными столиками, за которыми сидели кампучийцы, поглядывали на перламутровую пивную пену в своих стаканах, кидали в пенные пузыри кубики льда.

Едва они устроились за столиком так, чтобы видна была улица, металлически потемневшая от тучи, с чьей-то сорванной соломенной шляпкой, мчащейся среди велосипедных спиц и педалей, к ним подошла жена хозяина, широколицая увядшая китайка. Устало улыбаясь, расставила перед ними приборы, блюдечки с белыми хлебцами, свежими, теплыми, испеченными из душистой пшеничной муки.

— Итак, что мы выберем, — сказал Белосельцев, заглядывая в тяжелую, с облупленным золотом карту. — Что-нибудь из средиземноморской кухни? Я вижу суп из креветок. Пусть он вам напомнит о родине. И жареные лягушки. Пусть они вам напомнят о лягушке-путешественнице, которая не соблюдала правил дорожной безопасности и не пристегнулась во время полета ремнями.

— Я прилежно соблюдаю все правила дорожной безопасности и все правила дорожной гигиены. Боюсь, не повредит ли нам эта ваша средиземноморская кухня.

— Чтобы до конца быть уверенным, закажем по рюмке коньяку. Должны же мы выпить за знакомство.

Он передал заказ китайке. Смотрел, как она вдалеке за стойкой снимает черную пузатую бутылку, оттирает пыль, наполняет рюмки. Рядом, в проеме, шелестела, мерцала улица. Два служителя-китайца мускулистыми руками перевортывали прозрачную глыбу льда. Несли ее, отекающую водой, в ледник, где хранилась свежая, привезенная из Кампонгсома рыба, моллюски, омары, доставленные с океанского побережья.

На крохотном подносе китайка принесла коньяк. Он снял рюмки. Итальянка смотрела на него, щурясь, собрав у глаз тончайшую кисею морщинок, напоминавших крылья бабочки.

— Я предлагаю выпить за случай, который нас познакомил в Пномпене, — сказал Белосельцев, рассматривая эту нежную у глаз кисею. — Что должно было случиться в

мире, какое совпадение звезд и планет, чтобы мы, из двух половин земли, вдруг оказались на соседних балконах и я, набравшись смелости, заговорил с вами, Мария Луиза?

— Первой заговорила я. И это не стоило мне труда. Но я с вами согласна, в жизни много случайного. В конце концов убеждаешься, что только то оказывается по-настоящему ценным, что вызвано случаем, а не замыслом. Выпьем за случай!

Он выпил свою рюмку быстрее, чем она. Смотрел, как она закрыла веки и они слабо вздрагивают с каждым ее глотком. Вдруг подумал, что «случаем», за который они только что выпили, была пришедшая в негодность железная дорога, составлявшая заботу вьетнамского генерального штаба, правительства Таиланда, руководства «кхмер руж», скрывавшегося в лесных блиндажах, американской и советской разведок. Этот «случай» был будущим военно-стратегическим конфликтом, в котором итальянка и он, глядящий на ее дрожащие веки, были крохотными песчинками, готовыми сторечь и исчезнуть. Их малость и обреченность, невозможность уклониться от управлявших ими непреклонных и жестоких сил сближали их. Он пережил болезненное мгновение, успел прогнать с лица его тень, прежде чем она открыла глаза.

— О чем вы думали? Я сквозь веки чувствовала, что вы смотрите и думаете о чем-то печальном.

— Ни о чем особенном. Должно быть, о том, что мы не сможем поехать с вами в одной машине. Болтать по дороге, останавливаться в одних тех же харчевнях, выпивать по рюмочке душистого коньяка.

— Но, быть может, в Баттамбанге и Сиамреапе мы остановимся в одних и тех же отелях. Вечерами у нас будет возможность встретиться и обменяться впечатлениями. Кстати, верно ли, что шоссе-ная трасса ужасно разбита? Если бы функционировала железная дорога, мы добрались бы с большими удобствами.

Упоминание о дороге было похоже на соринку, ударившую в зрачок. Либо итальянка думала о дороге постоянно, как и он сам, и эта сокровенная мысль случайно, словно корень размытого дерева, выступила на поверхность. Либо итальянка знала, что он разведчик, получила о нем информацию от своего резидента, и это был едва уловимый намек, исподволь поданный знак, упрощающий их отношения.

— Я подумал... — Белосельцев слышал над крышами близкий гром. Двое прохожих вбежали под тент, спасаясь от пыльного ветра. Смеялись, указывая пальцами на сорванные с голов, колесом катящиеся шляпы. — Я подумал, неужели нет такого человека в Риме, который не хотел бы вас отпустить. Запретил бы вам сюда ехать. Встал в дверях и сказал бы вам: «Не пущу!» Неужели в Риме нет такого мужчины?

— Увы! — засмеялась она. — Ни в Риме, ни в Гамбурге, ни в Москве. Я вольная птица!

— Вы летаете там, где идет охота на птиц. — Это был ответный знак и намек. Если она видит в нем журналиста, она не заметит знака. Если она в нем видит разведчика, то этот намек установит между ними негласное соглашение, сблизит их, людей одной профессии, заставит соблюдать неписанные правила опасной игры, которую им предложили.

Им принесли суп из розовых, бледных креветок, остро-сладкий, пахучий, с плавающими ломтиками ананаса. Они черпали ложечками-совочками ароматную гущу, откладывали на блюде колющие панцири вываренных креветок. Китайка подала две тарелки обжаренных, нежно-золотистых лягушек. Они брали руками хрупкие конечности с нежными белыми мускулами и вкусом молодого цыпленка, очищали до блестящих косточек.

— Вообще-то я родом с Сицилии, из Сиракуз, — сказала она. — Вам такой городок, должно быть, неведом.

— Почему же неведом? Я был в Сиракузах. Был в Палермо. Был в вашем местечке Манделла. Теперь я понимаю,

где мог вас видеть. Ну конечно, в Сиракузах, на набережной. Стоял и думал, как Архимед своими зеркалами сжег неприятельский флот. Вы прошли, задели меня рукавом своей зеленой шелковой блузки.

Она недоверчиво на него посмотрела, в ее черных блестящих глазах появилось беспокойство, словно она и впрямь старалась вспомнить приморскую, одетую в гранит набережную, солнечный блеск моря, стариков с длинными удочками, в выгоревших шляпах, и один рыбак выхватил из моря розового маленького осьминога, сдернул с крючка и, ухватив за щупальца, бил чмокающей клювастой головой о камень. Звук умирающего маленького морского чудовища, запах моря, белый блеск на воде, в котором растворялся, словно плавился, черный корабль, — все это он вспомнил сейчас, глядя в ее встревоженные глаза.

— Как же вы там оказались? — выпрашивала она недоверчиво, словно он и впрямь угадал и у нее была зеленая шелковая блузка с широкими, раздувавшимися на ветру рукавами.

— Куда не попадет журналист!

Тогда его послали на Сицилию, в курортный городок Манделла, где проходило вручение международной литературной премии, собирались мировые именитости, лауреаты и кинозвезды, развлекались богатые бездельники, отдыхающие дельцы и разведчики. Он, примерявший на себя легенду журналиста, фигурировал в списках прессы, а значит, вошел в компьютер данных как журналист, освещавший церемонию наград. Эти несколько дней на Сицилии запомнились ему постоянным хмелем, вкусом легкого золотого вина, маленькими гостиницами в горах, голубыми бассейнами, представлениями марионеток, сахарно-белыми развалинами амфитеатров и рыбными рынками, где на тающем льду лежали розовые, голубые, серебряные рыбыны, только что выхваченные из средиземноморских глубин.

— Как знать, — сказала она. — Я и впрямь могла пройти мимо и задеть вас рукавом моей блузки. Все в руках Божьих. Теперь Богу для чего-то оказалось угодно, чтобы мы повстречались в Пномпене. Сидим, разговариваем, шутим. А что Бог задумал, не знаем.

Она легонько коснулась своей шеи, нащупав цепочку, на которой, невидимый, висел медальон или крестик. Этим прикосновением попросила у Бога помощи, милосердия. В ее быстром машинальном жесте была беспомощность, тайное ожидание опасности, молитва, чтобы напасти ее избежали. И это тронуло его.

— Я люблю итальянцев, — сказал он. — Они страстные, вероломные, религиозные, грешные, падкие на деньги, чудесно поют, великолепно рисуют и ради эстетического наслаждения сожгли Рим.

— А я люблю русских, — в тон ему ответила она. — Они наивны, упрямые, щедры, безрассудны, много пьют, пьют хорошие книги и из любви к отечеству сожгли Москву.

— Я не люблю американцев. Они богаты, вместо книг читают аннотации, думают, что им все можно, истребили бизонов, хотят застроить мир Диснейлендами, не сожгли Вашингтон, зато сожгли Хиросиму.

— Я тоже их не люблю. Народ, который ни разу не сжег свою столицу, не вправе рассчитывать на симпатию.

Они засмеялись, и, пока она смеялась, ему захотелось накрыть ладонью ее длинные смуглые пальцы. Он остановил в себе это желание, почувствовал его остановку как слабый перебой сердца.

К ним подошел хозяин, один из немногих хуацяо, кому новые власти позволили открыть ресторан. Он умело воспользовался дозволением, в его заведении была свежая рыба, отменные мясо и птица. Он с поклоном осведомился, всем ли довольны гости. Отошел в сумерки бара, и оттуда зазвучала негромкая, сладостно-тягучая музыка, которую

он включил специально для них, каким-то чудом угадав в спутнице Белосельцева итальянку. Саксофон играл медленный, как густой застывающий сок винограда, блюз Папетти. Под тент залетел, пробежав по стеклянным рюмкам, отблеск молнии. Треснуло, ударило в крыши, и на камни, на асфальт, превращаясь у земли в белую пыль и пар, рухнул ливень, тяжелый, сплошной, горячий, расплющивая прохожих, расшвыривая к стенам велосипедистов.

Играл саксофон, сверкали молнии, шумел ливень.

— Идемте танцевать, — сказал он.

Под тентом было пусто и сумеречно. Танцуя, он чувствовал рукой ее сильную гибкую спину, а грудью — ее выпуклые твердые соски. Черная душистая прядь щекотала его губы, и когда они приближались к шумящему бурному ливню, горячие обильные капли сыпались ему на лицо, а когда удалялись, саксофон сладостно, певуче звучал и она теснее прижималась к нему.

Там, в ливне, в горячем, непроглядном водопаде, среди вскипавших болот и дремучих ядовитых лесов, пролежала железнодорожная насыпь, тянулась ржавая колея, по которой покатают платформы с танками, вагоны с пехотой — к границе, где копились войска и зрела, набухала, как опухоль, большая война. Мировые разведки ловили радиоперехваты воюющих в джунглях частей, засылали агентуру в штабы и военные центры. Они, танцующие под мокрым тентом, были разведчиками, нацеленными на липкую насыпь, на ржавую колею. Завтра двинутся к ней, каждый своим путем, преодолевая опасности, выполняя волю пославших их генералов. И быть может, им суждено погибнуть. Желтая пуля вложена в ствол автомата. Клеммы взрывателя в тончайшей масляной пленке дремлют в фугасе. Их фотографии лежат на столе вьетнамской контрразведки. Хозяин ресторана из сумерек снимает их танец на чувствительный «кодак». Но они, беззащитные, окруженные со-

глядатаями, под прицелом оружия, танцуют медленный, сладостный танец, и ее черная душистая прядь щекочет его вдыхающие губы.

Ему вдруг показалось возможным бросить все, отказаться от задания, выпасть из поля зрения стерегущих наблюдателей, увести эту женщину прочь от ружейных стволов, от прицелов и минных полей, на какой-нибудь коралловый риф с лазурной лагуной, где они, без имени, без прошлого, как первые сотворенные люди, без греха и познания, окажутся на теплой благодатной земле, и она, сотворенная из его ребра, с распущенными, блестящими, как черное стекло, волосами, тянется вверх на гибких носках, достает на ветке золотистый солнечный плод, и он, не подымаясь лениво с земли, видит черный завиток на ее подмышке.

Музыка кончилась. Взявшись за руки, они возвращались к столику, на котором, словно принесенная неведомым ангелом, горела восковая плошка.

— Хорошо, — сказал он, всматриваясь в ее темные глаза, в которых отражались два золотых огонька.

— Хорошо, — повторила она и долго, не мигая, смотрела в его глаза.

Ливень кончился, на улицах текло и блестело. Они возвращались во тьме в отель. Она сняла туфли, и он видел, как бурлит вода вокруг ее босых белых ступней. Под желтым фонарем они остановились.

— Спасибо за вечер, — сказала она. — Было очень хорошо.

— Встретимся в Сиракузах?

— Почему? В Баттамбанге. Думаю, там не много отелей, вы найдете меня. Завтра вечером мы продолжим наше «дольче фар ниенте».

— Если утром мы не увидимся и моя машина уйдет первой, знайте, что ночью мне снился чудный сон и мы продолжали танцевать.

— Мне было хорошо с вами танцевать. — Она сделала шаг босыми ногами, вышла из желтого отражения.

И он понял, что их вечер окончен. Заботы о завтрашнем путешествии разлучили их. Они были еще рядом, вместе, но железная дорога поджидала их каждого порознь, и завтра поутру на разных машинах они станут к ней приближаться.

— Спокойной ночи, — попрощалась она, когда на медленном лифте они поднялись на этаж. Скрылась в дверях, и он смотрел на влажные, высыхающие отпечатки ее босых ног, обрывающиеся у закрытых дверей.

Он вошел в номер, не зажигая огня. В потолке чуть слышно лепетал вентилятор. Сквозь открытую балконную дверь виднелась улица с затихающим, перед комендантским часом, движением. Торговец соками устало толкал по мокрому асфальту тележку с затепленной лампадкой, похожую на алтарь. Напротив, в доме без электричества, зажглись масляные светильники, озаряя внутренность комнат. Мужчина, полуголый, пронес на худой руке светильник, поставил его куда-то ввысь. Женщина кормила грудью ребенка. Другая, в соседнем окне, стелила на пол циновку, подвязывала москитную сетку. И уже катил по улице джип, и солдат, высовываясь с мегафоном, возвещал начало комендантского часа, сдувал последних прохожих, последних возниц с лампадами, гасил на фасадах окна, будто кто-то невидимый летел над городом, тушил огни.

Ему было печально, тревожно. Предстоящее путешествие сулило опасности. Дурные предчувствия вернулись к нему. Он разделся и голый лег под полог, стараясь не думать, давая своей плоти жить согласно внутренним, наполнявшим ее биениям и ритмам, надеясь, что эти не управляемые разумом ритмы сами приведут к гармонии его внутреннего мира. Но гармонии не было. Биение сердца, кружение крови, слабые мерцания чувств порождали сумеречную пе-

чаль, напоминавшую туман, в котором просвечивала безымянная, враждебная ему сущность. Захотелось прикоснуться к чему-то знакомому, родному, спасительному, отогнать туман, увидеть сквозь него какой-нибудь русский пригорок, знакомую колоколенку, неровную, убегавшую в гору тропку. Хотелось услышать родную речь, знакомый романс или стих.

Он положил на грудь маленький прохладный транзистор. Включил, пробежал диапазоны, надеясь уловить сквозь хрусты и скрежеты эфира далекий родной напев, подобный тому, что когда-то звучал в деревенской избе. Блестел самовар, пестрели на клеенке рассыпанные тузы и валеты, краснела недопитая рюмочка с ягодкой горькой смородины. И стареющая вдовица, восхищенная, умиленная, среди фикусов, занавесок, иконок, истовым, с каждым куплетом молодееющим голосом запевала: «В островах охотник цельный день гуляет...»

Он крутил транзистор, но на грудь ему сыпались колючие вспышки, ударялись чужие голоса и звучания. Повсюду, куда бы он ни кидался, желая пробиться на Родину, встречали его заслоны. Бурливый Китай и Таиланд. Кипящий Гонконг. Клокочущие Сингапур и Малайя. Били в бубны, свистели на флейте, оглушали торопливой, щебечущей речью. Он чувствовал себя в ловушке. Испытал мгновенный душный обморок, словно в потолке выключили вентилятор. Весь эфир был наполнен жалящими пламенеющими язычками, маленькими летающими драконами с красными ртами, цепкими колкими лапками, кольчатыми перепончатыми хвостами.

Душная ночь, словно наложили на лицо потный горячий целлофан. Он лежит под марлевым пологом, как в саркофаге из прозрачной кисеи. В потолке с тихим рокотом вращается вентилятор, будто лопасти несут его полог сквозь душную ночь, над крышами спящего города. На улице ни зву-

ка, ни огонька, всех слизнул комендантский час. Собран дорожный баул. Играет чуть слышно транзистор. Азиатская музыка напоминает завитки и спирали, непрерывные выющиеся орнаменты, в которые вписывается его душа, похожая на восточную танцовщицу. И его бессловесная молитва к Кому-то, Кто видит его сейчас в этом темном разгромленном городе, Кто ведает о его судьбе, о стерегущих его опасностях, о затаившихся врагах. В этой молитве — упование на то, что он уцелеет в пути, вернется живым домой. Этот Неведомый, на чьей огромной, белой, как снежное поле, ладони начертана его линия жизни, — мудрей, чем Будда в красных одеждах, сидящий на троне в пагоде, могущественней, чем Пантократор, выложенный византийской мозаикой в куполе гулкого храма. Он не имеет лица и названия. От него доносится в его, Белосельцева, жизнь только дыхание. Ровный выдох, колеблющий крохотное пламя его судьбы. Он молился, чтобы дыхание это длилось дольше, чтобы пламя его судьбы не погасло. И ему казалось, что за стеной, под таким же пологом, не спит молодая женщина, молит о том же самом.

Глава третья

Генерал-отставник Белосельцев перемещался с конопляным веником по квартире, подметал пыль, вылавливая под столом и под креслом ее серые, легкие перья, забрасывая их в жестяной совочек. Пыли было много, она набиралась за ночь после очередной уборки и состояла из тополиного пуха, крохотных известковых крупиц, опадавших с потолка, бумажных чешуек, отслоившихся от книг и обоев, разноцветных шерстинок ковра и еще из неведомого неведомого вещества его испепеленных мыслей и снов, из дыма его прожитой жизни, которую он сметал метелкой в жестя-

ной совок. Он гонялся за этим домашним перекасти-полем, стараясь захватить веничком легкий, воздушный ком серого праха.

В прихожей раздался звонок, длинный, бодрый, настойчивый. Так звонят почтальоны, доставляющие телеграмму, и он поспешил к дверям, гадая, откуда, из какого несуществующего мира могло явиться послание.

Открыл дверь, на пороге стояла она. На ней была лиловая легкая блузка и белая полотняная юбка. Волосы, которые в прошлый раз были распущены, как у русалки, теперь были расчесаны на строгий прямой пробор, сплетены в две косы с аккуратными, наивно-трогательными бантами. В руках у нее был большой букет цветов, из-за которого смотрели серо-зеленые, прозрачные глаза, улыбались розовые, свежие губы.

— Я пришла, — сказала она, ступая через порог, занимая в коридоре пространство, которое он торопливо и охотно освободил для нее. — Пришла поблагодарить... Вы мой спаситель... Это вам! — Она протянула букет, состоящий из розовых флоксов, фиолетовых люпинов, огромных бело-желтых ромашек и синих, с золотой сердцевинкой колокольчиков. — Вчера я ушла не простившись. Вы спали, я не хотела вас тревожить.

Она говорила просто, с легкой застенчивостью, еще не зная, как он отнесется к ее появлению, надеясь на его расположение. Эта наивная доверчивость, аккуратные косы с бантами, строгий прямой пробор и букет цветов делали ее похожей на ученицу старших классов, ничем не напоминали вчерашнюю, с размазанной помадой девицу, мокрую от пьяных слез.

— Проходите. — Он принял букет, пропуская ее в гостиную. Достал с полки тяжелую хрустальную вазу, полную пыльного солнца. Наполнил в ванной водой. Сунул в солнечный водяной пузырь обрубленные зеленые стебли,

распустил букет и внес в гостиную, чувствуя, как ромашка щекочет подбородок, как выплеснулся из вазы, ударился о пол шлепок воды.

— И это я хотела вернуть. — Она протянула ему носовой платок, которым он вчера вытирал ее расплывшийся грим, окунал в фонтан, омывал помаду и слезы.

Платок был выстиран, выглажен, аккуратно сложен. От него чуть слышно веяло духами.

— Можно я сяду? — Не дожидаясь ответа, она села в кресло, и он увидел ее загорелые ноги, белые легкие туфельки.

Смутился, поймав в себе этот быстрый, веселый взгляд.

— Я хочу объяснить вчерашнюю дикую сцену. Эти два балбеса мне не знакомы. Я вчера была в ужасном настроении. Меня не приняли в университет. В великой печали я купила джинс с тоником. Эти балбесы попались, принялись меня утешать. Вы видели, чем это утешение кончилось. — Она отчитывалась перед ним, давала объяснение случившемуся, и это разволновало его.

Значит, она, явившись к нему, продолжала нуждаться в нем. Вчерашнее знакомство, начавшееся с безобразной сцены, по ее мнению, нуждалось в продолжении. Он не мог понять двигавших ею побуждений, и это беспокоило его и радостно волновало.

— Меня зовут Даша. А вас? — спросила она, продолжая быть главной, ведущей в этих хрупких, невнятных продолжавшихся отношениях.

— Виктор Андреевич, — сказал Белосельцев и подумал, что она из кресла протянет ему свою загорелую руку, и он должен то ли пожать ее, то ли поцеловать.

Но она сидела, оглядывая комнату, и ее зеленые, солнечно-водянистые глаза были того же цвета, что и хрустальная ваза с букетом.

— Вы мне вчера зашили платье, и так хорошо, что мама ничего не заметила. Во всех отношениях я у вас в долгу.

Может быть, вы спасли мне жизнь или честь. Приютили меня. Починили мой поврежденный наряд. Хотите, я вам вымою полы и окна? Или постираю белье?

— Не теперь, — засмеялся он, взглянув на свои запыленные стекла в высохших потеках дождя, за которыми рокотал металлический блестящий водопад машин. — Накануне какого-нибудь праздника я вас приглашу, и вы мне поможете.

Она кивнула, принимая всерьез его предложение. Задумалась, словно вспоминала ближайший праздник.

— Какой у вас интересный дом, Виктор Андреевич. — Она оглядывала стены, и банты на ее светлых косах трогательно шевелились. — Настоящий музей. Вы — ученый, коллекционер, научный работник?

У него было странное ощущение — она явилась к нему, уселась в кресло и оттуда, не поднимаясь, захватывает все больше и больше пространства в его доме. Букет в хрустальной вазе принадлежал ей. Стол, на котором стояла ваза и к которому свешивалась белая ромашка, был ее столом. Пол, на котором высыхала маленькая лужа воды, упавшей из вазы, и которого касались ее легкие светлые туфельки, был тоже ее. Занимая кресло, обводя своими любопытными веселыми глазами гостиную, она захватывала все больше и больше территории, и он отдавал ей эту территорию без боя, радостно отступая.

— Что это за чудовище? Смотрит на меня так враждебно, словно хочет прогнать! — Она показывала на африканскую маску из черного дерева, инкрустированную кусочками перламутра и красной медью, которую он привез из Нигерии, купив ее на шумном, горячем рынке Ибадана. Блестящие от пота, словно натертые черной ртутью, торговцы раскатывали по прилавкам светящиеся сине-желтые ткани, выставляли глиняные, похожие на женские бедра сосуды, заманивали покупателей под навесы, где толпились

вырезанные из эбенового дерева статуэтки, возвышались бронзовые идолы, висели толстогубые, с огромными глазами ритуальные маски, и он выбрал одну, тяжелую, словно налитую свинцом, нес ее, завернутую в черно-золотую ткань.

Белосельцев рассказал ей о происхождении маски, о нигерийских джунглях на границе с Заиром, в которые проливались раскаленные, как кипяток, дожди, и он скользил в красной горячей грязи, из которой, пузырясь и захлебываясь, вылезали жирные кольчатые черви, и в сачке его трепетала красная африканская бабочка. Он рассказал ей об этом, умолчав о пусках французских ракет с заирского полигона — белая, как горящий магний, звезда летит над деревьями в бледное небо, и он, разведчик, включая хронометр, определяет момент отсечки двигателя.

— Вы так интересно рассказываете, Виктор Андреевич. Как будто книгу приключений читаете! — с изумлением сказала она, успокоенно и удовлетворенно оглядывая маску. И он видел, что маска перешла в ее ведение, стала подвластна ей, сменила подданство. И это радовало и умиляло его. — А этот медный крест, похожий на кружево? Никогда не видела таких крестов!

Он рассказал ей об эфиопском кресте, напоминавшем лист папоротника. Мастера, с фарфоровыми выпуклыми белками, с курчавыми бородками, орудовали крохотными зубильцами, выколачивая из меди дырчатый, сквозной, пернатый крест, оглашая окрестность непрерывными звонкими стуками. Коптский монастырь Лалибелла был высечен в красноватой горе, сухой и прохладный, с изображением ангелов и святых, таких же чернолицых и глазастых, как прихожане. Он смотрел, как стекленеет, струится воздух над горячими плитами сланца, под которыми испарялись тела мертвецов. Лагерь, обнесенный колючей проволокой, казался огромной, затмевающей солнце тучей, в которой изнывали от голода полуголые, библейского вида люди. Он не

пугал ее рассказом о голоде, о боях в Эритрее, когда корабль из бортовых орудий стрелял по эритрейской пехоте и он, разведчик, на палубе в сильный бинокль смотрел, как качается на холмах дым от разрывов и над мачтами в блеске пропеллеров пролетел «орион».

Она внимательно, как прилежная ученица, выслушала рассказ о кресте, милостиво принимая его в свое подданство, расширяя свои владения.

— А эта стеклянная ваза, похожая на голубой леденец, откуда она? Ее хочется лизнуть. Наверное, сладкая! — Она указывала на зелено-голубую гератскую вазу, перевитую нитями и слюдяными струйками застывшего стекла, извлеченную из тигля стеклодува. Мастер-пуштун блестел, отекал горячей росой, сам был стеклянный. Держал на длинном черенке малиновый цветок остывающей вазы, которая тускнела и гасла, наливалась таинственным бирюзово-зеленым светом. Он рассказал ей о рецептах изготовления гератского стекла, о золотисто-глинобитном городе, увитом розами, из которых в каменное зеленое небо подымались кривые минареты, и женщины, укутанные в разноцветные накидки, казались лилиями, расцветшими среди гончарных дувалов. Он не сказал ей об ударе вертолетов по старым мазарам, о прочесывании Деванчи и подрыве танка, о полевом лазарете, куда вносили сержанта с осколком в желудке. Санинструктор держал над раненым стеклянную капельницу, в которой мерцало маленькое злое солнце Герата.

Синяя гератская ваза, похожая на стеклянный бутон, перешла в ее подданство, пополнила фетиши, которыми она обставляла границы своих владений.

— Вы столько путешествовали, Виктор Андреевич. Вам нужно написать книгу. Вы можете мне диктовать, а я стану записывать. Могла бы получиться прекрасная книга.

Его поразил ее неподдельный настойчивый интерес не только к историям, но и к нему самому, с кем эти истории

случались. В ее зелено-серых прозрачных глазах было любопытство, внимание и нечто еще, что могло быть истолковано как сострадание к его одиночеству и невысказанности, которые она угадала. Он действительно был одинок, действительно никто уже долгие годы не расспрашивал его, не интересовался его жизнью, его суждениями. Агентурные донесения, аналитические записки и справки, которые он прилежно направлял в разведку с полей сражений, устарели, ненужным хламом желтели в архивах. И не было человека, которому был важен он, состарившийся военный разведчик, накопивший, помимо сводок, огромный мучительный опыт пребывания в мире, где еще недавно существовала его страна, одерживала победы его армия, а теперь, одинокий мыслитель, без страны и армии, он искал в себе силы достойно уйти. Не оскорбить своим уходом природу, память дорогих благородных, достойно ушедших людей и Того, Кто всю жизнь внимательно за ним наблюдал в минуты грехов и падений, в часы откровений и взлетов.

— Могла бы получиться интересная книга, — повторила она.

Могла бы получиться, конечно. Она приходила бы каждое утро, аккуратная, приветливая и прилежная. Садилась за стол, где ждала ее стопка белых листов, поднимала на него глаза, прозрачные, как пронизанная солнцем зеленая вода. И он, подхватывая в памяти вчерашнюю фразу, длинную, упавшую, как лиана, диктовал ей. Как шли они песками в пустыне Регистан, в малиновом пекле, сквозь которое солнце казалось хвостатым крестом и пустые колодцы были трубами в ад, откуда извергался душный угар. Прапорщик умер от теплового удара, лежал на вершине бархана с красным, покрытым волдырями лицом, и на его скрюченной черной руке висели бирюзовые четки.

Он мог бы ей диктовать, и через год получилась бы

книга, которую он наговорил, глядя в ее зеленые, удивительного цвета глаза.

— Я поступала на исторический факультет и провалилась, — сказала она, будто угадала его мысль. Направила на него светящийся изумрудный взгляд, которого он вдруг испугался. — Вы бы могли быть моим репетитором. С вашей помощью я одолею курс всемирной истории и на следующий год поступлю.

Отчего бы и нет. Она приходит к нему в зимней шубке, в теплой пушистой шапочке. На волосах нарастаявший снег. Шубка наполнена душистым теплом. Садятся в кабинете. В солнечно-синем морозном окне все заткано льдистыми листьями. Он читает ей главы всемирной истории, выискивая их в своих путешествиях. Пролив Дарданеллы, по которому идет корабль, пробираясь к средиземноморской эскадре. Пологий зеленый холм, накрытый шатром лучей. Троя, где мчались легкие боевые двуколки и в пыли, обиваясь о камни, волочилось мертвое тело, герой подымал к небесам медный трофейный шлем. А теперь буруны катятся за кормой корабля, и он, прислонившись к орудию, смотрит на пологий, поросший травой холм.

Кампучийские джунгли, прозрачные, в бледном солнце. На рукав к нему прыгнул маленький розоватый кузнечик. Вокруг подымаются пустоглазые будды Байона. Из каменных глазниц вырастает трава, лиана бежит по щеке. Город, пропавший в лесах, схоронивший в древесных корнях могилы древних царей, золотые сосуды капищ. И он, утомленный, избежав смерти, переживший безумие, тронул осторожной ладонью каменный шершавый узор.

Он расскажет ей о своих путешествиях среди мечетей, пирамид и буддийских пагод, разворачивая старинные свитки учений, хроники древних царств, над которыми пролетал его боевой вертолет, сквозь которые проходил изнуренный отряд спецназа. Подложив под локоть шитую серебром по-

душку, она внимает ему, прилежная ученица, желанная гостья.

— Благодарю за букет, — сказал он. — Настоящий летний букет.

— Мой приход помешал вам? Вы заняты? Вам надо работать?

— Никакой работы, — ответил он, поглядывая на конопляный веничек, которым он только что извлекал из-под кресла унылую серую пыль, прах своей прожитой жизни. — Вся моя работа давно исполнена. Отдыхаю дома с утра до вечера.

— Тогда пойдемте на улицу. Лето, Москва, духота. Покатаемся на речном трамвайчике по Москве-реке!

Со своими косами, бантами, наивным простодушием и весельем она была похожа на школьницу. Ее предложение покататься на речном трамвайчике было из школьных, детских желаний. Ему вдруг стало смешно и весело. Захотелось проехаться с ней на трамвайчике, ощутить давнишнюю наивную радость. И, удивляясь своему легкомыслию, он согласился.

На метро они доехали до Фрунзенской набережной, где находился причал и куда с двух разных сторон — от далеких кудряво-зеленых Воробьевых гор и от туманных, в золотом зареве кремлевских куполов — причаливали речные кораблики, с музыкой, с пассажирами на палубах, среди которых было много детей и иностранных туристов. Загорелые юнги набрасывали на крюки швартовые канаты, касирша выдавала билеты, и кораблики, раскручивая за кормой белые буруны, неторопливо ползли по сверкающей летней реке, похожие на жуков-плавунцов.

— В последний раз плавал на трамвайчике полвека назад. Бабушка меня катала, — сказал Белосельцев, когда они по трапу перешли на кораблик и уселись на верхней палубе под

тентом. — Не понимаю, почему я так легко уступил вам. — Он и в самом деле не понимал, почему пошел на поводу ее прихоти. Она, веселая, милая, забавлялась им, унылым пожилым генералом, словно обвязала вокруг его худой шеи шелковую ленточку и повела за собой. И он послушно пошел, околдованный солнцем, букетом, школьными бантами, загорелыми легкими ногами и прозрачными, как зеленый солнечный пруд, глазами. Нелепость этого не пугала его, а удивляла, смешила. Послушно, слабо усмехаясь, он потакал ее прихотям. — Такое чувство, что я превратился в ребенка, — говорил он, глядя, как удаляется гранитная набережная и на ней темным брусом, с лепными знаменами, пушками, танками, высится штаб сухопутных войск, не грозный, не военный, не настоящий, а поставленный здесь для обозрения пассажиров, плывущих на речном трамвайчике под легкомысленные эстрадные песенки.

— Вы и есть ребенок. А я ваша бабушка. Можете меня так называть. — Она засмеялась, и ему показалось, кто-то брызнул ему в глаза солнечной водой.

Кораблик плыл мимо Парка культуры, белой беседки, разноцветных, размалеванных аттракционов, среди которых крутились и изгибались «американские горы», ввинчивались в петли и виражи летательные аппараты, рушились в водопады, проносились по горным опасным рекам зыбкие каноэ, мотались огромные, как летающая платформа, качели, готовые оторваться от своих разукрашенных столбов и упасть на середину реки.

— Чего доброго, вы меня и в Парк культуры поведете, посадите на карусель, — сказал Белосельцев.

— И пойдете и покатаетесь, — мнимо строго сказала она. — Мальчик должен быть смелым, должен ничего не бояться.

Он принял ее игру. Решил уступать ей во всем. Боялся не угадать ее настроения, не последовать за ее необрени-

тельным милым капризом. Боялся неосторожно спугнуть, насторожить и обидеть.

То необычное, непредвиденное, что случилось с ним, продолжало совершаться среди солнечных блесков, мелькания чаек, пролетевшей по воде длинной лодки с загорелыми гребцами, было не в его власти, не им задумано. Он сам был частью этого забавного веселого замысла и не хотел быть ему помехой.

Крымский мост косо надвинулся, заслонил небо серой сталью, тугими связками, фермами, множеством напряженных заклепок. Его тень легла на реку. По нему гудел невидимый многотонный поток машин. В подбрюшье, подвешенные, с берега на берег тянулись трубы, жгуты кабеля, косматая изоляция и оплетка. Белосельцеву показалось, что он заглянул под стальной подол, увидел исподнее, скрытое от глаз, железное белье. Мост прошумел, открывая солнце, синее небо, вспышки автомобильных стекол.

Удалялся, легкий, звонкий, как серебряная, с натянутыми струнами арфа.

— Мне кажется, вы похожи на этот мост, — серьезно сказала она. — Внешне такой точеный, изящный, привлекательный. А на самом деле усталый, обремененный, несете на себе тяжкий груз. И никто не скажет вам: «Бедненький, отдохните! Не будьте больше мостом, станьте лодочкой!»

Эти слова поразили его состраданием. Она угадала в нем его нелепый стоицизм и усталость. Его встроенность в берега. Невозможность изменить свою форму, длину и конструкцию. Была поразительна ее прозорливость. Он был прозрачен для нее. Почти девочка, знающая его всего несколько недолгих часов, она угадала его. И следовало то ли испугаться этого, укрыться, как улитка, в непроницаемый завиток ракушки, то ли благодарно открыться ей, считывая на ее милосердие и доброту.

Они проплывали мимо памятника Петру, огромного, но

не величественного, пустого внутри, похожего на грозный рыцарский доспех без рыцаря. Хотелось кинуть в него камушек, чтобы услышать звук кровельного железа. Памятник, прежде вызывавший у Белосельцева раздражение, казавшийся чужим, навязанным Москве, теперь нравился ему. Был интересным, забавным, похожим на аттракцион. В него можно было залезть. Посидеть внутри его глазного яблока. Послушать, как шумит в нем, словно в огромной самоварной трубе, ветер. Как гулко гудит в нем вода, словно в водостоке. Петр стоял, придавив ногами крыши Зимнего дворца, Адмиралтейства, Петропавловской крепости. Все эти раздавленные Петром здания размещались на борту ботика, а сам этот ботик, оторванный от воды, был поднят на Ростральную колонну, из которой торчали другие, подобные ботики, и все это обильно поливалось струями декоративного фонтана. Символы, которые были заложены в монумент, были скомканы, смещены и расплющены, соединены в причудливую веселую смесь. Но в этой эклектике была своя правда. Время, в котором сооружался памятник, было полной противоположностью тому, в котором действовал император. Памятник стоял среди жалких остатков империи, потерявшей треть территории, выходы к морям, флот и армию, и скульптор, хитрый грузин, создал талантливую карикатуру, мнимую огромность бутафорского памятника. Именно это успел заметить и понять Белосельцев, проплывая мимо Петра.

— Посмотрите, на носу петровского ботика сидит золотая птица! — радостно воскликнула Даша, трогая его за рукав. И это невольное прикосновение было еще одним малым знаком их сближения. Рассматривая крохотного золоченого орла, усевшегося на бушприт ботика, и золотой свиток в руках императора, и аккуратные выкованные из бронзы жерла бортовых орудий, Белосельцев был благодарен

скульптору, не за памятник, а за ее радостный возглас, за ее быстрое невольное прикосновение.

Памятник удалялся, медленно разворачиваясь на оси, как огромный флюгер. Сливался с туманным городом, с его трубами, мостами и башнями.

— Посмотрите, словно солнце восходит! — Она тянулась через перила и на секунду приобрела трогательное сходство с птицей, готовой вспорхнуть с ветки.

Из-за деревьев, как огромное лучезарное светило, выкатывался золотой купол храма Христа Спасителя. Следом за ним — другие купола, поменьше, как золотые планеты. И весь бело-мраморный, невесомый, парящий, источающий радостные золотые лучи, возник собор, как диво, опустившееся посреди Москвы. Улетал на полвека, странствовал среди необъятных просторов Вселенной и вновь вернулся в свой Град, спасая его от пороков, содомского греха, безумной гордыни. Как огромный белый голубь с золотым хохолком. Посланец Творца, прилетевший из небесной лазури.

Трамвайчик плыл по золотым отражениям. Белосельцев хотел запомнить ее мимолетное сходство с птицей, золоченые плески реки среди зеленого, белого, синего.

— Хочу креститься в этом соборе, — задумчиво сказала она. — Вы не знаете, Патриарх совершает крещение?

Он не знал. Он представил ее там, внутри, среди столпов и сводов собора. Не крещение ее, а венчание, среди свечей, песнопений, шитых золотом риз. Она, в белом платье, стоит с молодым женихом. Кто-то держит над ними жестяные короны, ведет по кругу среди мерцающих мягких огней. А он, старик, смотрит на них из сумерек, бессловесно желает блага.

И вот уже нет собора, а кто-то поставил на берег огромное, из серых кубов, строение. «Дом на набережной». Он смотрел, как надвигается белесо-серая, в солнце громада, похожая на тучу, и под ней драгоценно, словно фарфо-

ровая чашечка, пестреет церквушка, наивная, как цветочек под колесами асфальтового катка. И хотелось бережно, двумя ладонями, вычерпать ее из-под серого монолита, перенести подальше от угрюмой громады.

— Когда я смотрю на этот дом, мне всегда становится скучно, — сказала она. — Как в детстве, перед началом болезни. — Она вглядывалась в здание, и ему показалось, что она слегка побледнела, будто дом, проплывая, успел выпить из ее щек и губ румяную свежесть, а ее зеленые глаза потухли, словно солнце зашло за тучу. — Бывают скучные люди, дома, деревья. Как тени чего-то исчезнувшего... Вы — не скучный! — спохватилась она, испугавшись, что могла его неосторожно обидеть. — Вы очень живой, интересный!.. Вы мой спаситель!.. — Она протянула руку, словно хотела поблагодарить его прикосновением, но не решилась, положила розовую кисть на поручень. Он смотрел, как на белом поручне лежат ее розовые пальцы и за ними по реке, словно на ниточке, плывет маленький легкий челнок.

И вот среди блеска реки, сияющих синих небес, как чей-то молодой, восхитительный лик, возник Кремль. Алое, белое, золотое. Среди древесных куп, травяных холмов. Красные остроконечные башни. Солнечные, осыпанные крестами купола. Белокаменные соборы и колокольни. Нарядный, во всю ширь дворец с кружевными наличниками и мерцающими драгоценными стеклами. Возникло такое чувство, будто вынырнул из-под воды и сделал огромный, спасительный, во всю грудь, вдох, от которого — жизнь, свет, радость. Белосельцев тянулся к Кремлю, чувствуя, как летят к нему светоносные ликующие энергии и он, попадая в пятна горячего, алого света, в золотые лучи, в белую, снежную прохладу, становился моложе, крепче, веселей. Кто-то бережно коснулся его глаз легкими золотыми перстами, и от этого зорче стали глаза, умевшие теперь разглядеть тропку на склоне холма по ту сторону зубчатой стены, древнюю надпись

на кольце под куполом Ивана Великого, голубя с голубицей в крестах Покровского собора, вмятины на Успенском куполе, похожем на огромное золотое яблоко. Кто-то обнял его крепким богатырским объятием, его мускулы стали крепче, обретая молодую гибкость и свежесть, и ему казалось, что он встал вровень с белокаменным столпом колокольни, чувствуя у виска ее округлый сияющий шлем. Кто-тодохнул на него свежим дыханием, и в щеки хлынул молодой свежий жар. Дышалось вольно, сильно. Словно здесь, на реке, у Кремля, с ним случилось чудо омоложения. Как сказочный Иван, изнуренный в странствиях, изможденный в битвах, он нырял из котла в котел, из прозрачной воды в красное вино, из красного бурлящего вина в студеное молоко, становился молодым, румяным и бодрим.

— Как я его люблю!.. Какой он наш, русский!.. — сказала она, и он увидел, что она испытывает те же чувства, дышит, как и он, той же радостью, красотой.

Казалось, плывет не трамвайчик, а Кремль — огромный, алый, с зубчатыми бортами корабль, с белоснежной мачтой Ивана Великого, с округлыми парусами соборов, с золотыми стягами прозрачных крестов. И они оба взяты в этот ковчег, плывут, не касаясь воды, возносятся в сияющую синюю высь.

Кремль канул, как видение, оставив после себя розовое зарево. И открылась металлически-черная брусчатка, и на взгорье — Василий Блаженный. Бутоны, резные узорные листья, сочные, сквозь колючие стебли, соцветья.

— Посмотрите, словно букет! — воскликнула она, оборачивая к нему восхищенное лицо. Он увидел, как взлетели ее светлые брови и расширились прозрачно-зеленые глаза. «Ты сама как букет!» — хотел он сказать, любуясь этим моментальным выражением восторга. Никогда он не видел храм с реки. Отсюда, с воды, он и впрямь был похож на букет, поставленный в черную хрустальную вазу, из ко-

торой возвышались разноцветные мохнатые головы, не вянувшие и под снегом — московская метель шлифует брусчатку, красно-зеленые, усыпанные снегом главы, шатры и кресты, огненные и живые, среди русской зимы. Это она вывела его из дома, как выводят послушных слепцов. Повела, как поводырь, по Москве. Посадила на белое суденышко, и их повлекло по блестящей воде. К берегу на огромных подносах выносят соборы и храмы, дворцы и зубчатые стены, словно предлагают полюбоваться, насмотреться, а потом уносят. И она хочет узнать, любит ли он Москву, ту, которую она ему показывает. Да, он любит.

Он плыл по Москве-реке спустя вечность с тех пор, как бабушка, сжимая его детскую руку, провела по шаткому трапу. Он плавал по желто-латунному Меконгу, по шоколадному Нигеру, по мутной и горячей Лимпопо, по голубой, как шелк, Амазонке. Видел храмы, мечети и пагоды. Видел взрывы и горящие джунгли. Мимо, брюхом вверх, сносило рыжий труп крокодила. В простреленном каноэ лежал убитый индеец. И теперь он плывет по родной, чудесной реке, чей берег и мягкий изгиб повторен кремлевской стеной, и старинный дворец желтеет сквозь зелень садов, и темный мост прошумел, гулко играя железную бессловесную музыку, и она, его спутница, хочет убедиться, хорошо ли ему. Да, ему хорошо.

Они доплыли до Новоспасского моста. По одну сторону на горе стоял монастырь, старинные кирпичные стены, башня с тесовым шатром, высокая, с царской короной, желтая колокольня, собор с куполами, среди которых один, позолоченный, мятый и сморщенный, был похож на высыпающий плод. На другой стороне реки, из зеркального стекла и металла, облицованное розовым камнем, повторяя монастырь силуэтом башен и стен, магических пирамид и шатров, высилось новое здание, драгоценное, как кристалл. Мост соединял их, касаясь железными пальцами старинных мо-

настырских бойниц и хрустальных окон дворца. Москва кругом высила свои небоскребы, тянула вверх колокольни и трубы, мерцала, туманилась, и казалось, летит над ней, среди облаков и лучей, высокий солнечный ангел.

Они сошли на берег, отыскиали маленький ресторанчик вблизи Таганки, на крутом спуске к реке. Устроились в тесной кабинке с фарфоровыми немецкими блюдами на стенах. Им принесли на горячих тарелках пылающий, смуглый, еще шипящий стейк, гору душистого летнего салата, две холодные, запотелые кружки с золотистым немецким пивом. Он смотрел, как схватила она руками сочный зеленый лист, сунула в рот, захрустела белым влажным стеблем. И уже высматривала алую, разрезанную надвое помидорину. Озирала голодными радостными глазами вкусное мясо, толстое ледяное стекло кружки.

— Уж вы простите, что заказал баварское пиво, а не джин с тоником, — усмехнулся он, поддразнивая ее. — Еще не совсем изучил ваши пристрастия.

— Да нет, пиво в такую жару — это чудесно! Джин с тоником в прошлый раз меня очень подвел. Но если бы не джин, мы бы с вами не познакомились, правда?

— Ну просто какой-то напиток знакомств, а не джин! — продолжал он подшучивать.

— Хорошо купить баночку джина и сидеть на бульваре. Попивать глоточками, смотреть на прохожих. Все тебе начинает нравится, все печали проходят.

— Действительно, когда мы познакомились, все ваши печали были уже далеко. И прохожие, те, что вам приглянулись, вели себя очень мило.

— Мне страшно неловко! — сказала она серьезно, но глаза ее продолжали смеяться. — Еще раз прошу у вас извинения. Вы поступили как рыцарь. Вы мой спаситель. Я у вас в вечном долгу. Даю обет служить вам верой и правдой. — Она подцепила тяжелую кружку, ее розовые паль-

цы обхватили толстую стеклянную ручку. Она подняла кружку, в которой все еще текли мельчайшие пузырьки и воздушные струйки превращались в белую сочную пену, покрывавшую золотой напиток белой округлой шапкой. — Выпьем за наше знакомство, за сегодняшнее путешествие!

Он протянул к ней кружку, они чокнулись толстым, звякнувшим стеклом. Он с наслаждением погрузил губы в душистую пену, медленно процеживая ее сквозь зубы, добираясь до первого холодного, обжигающе-горького глотка. Видел, как она, закрыв глаза, пьет и ее розовые губы тонут в пенной гуще.

— Со мной действительно что-то случилось. Провалилась в университет, страшно устала. Такая была тоска, что жить не хотелось. Эти два шута гороховых подвернулись. Не все ли равно, броситься в реку или с этими дурнями пить на бульваре джин. Мама говорит, что я ненормальная. Подвержена приступам безумия. Что это меня погубит.

— Вы молодая, красивая. Поступите в университет. Обвенчаётесь у Патриарха в храме Христа Спасителя. У вас будет трое детей. Вы поведете их кататься на речном трамвайчике. И когда будете проплывать Василия Блаженного, вспомните букет. Тот, что вы мне подарили и что стоит сейчас у меня на столе.

— Вы так думаете? Вы умеете угадывать будущее? Вы желаете мне счастья?

— Уж поверьте. Я старый колдун.

Они пили пиво, поглядывая друг на друга сквозь толстое полупрозрачное стекло, в котором качался золотой напиток с узкой полоской пены. Бар вдалеке мерцал цветными бутылками, подвешенными за тонкие ножки рюмками, хромированными кранами, разукрашенным фарфором. Бармен казался стеклодувом, осторожно выдувал прозрачные перламутровые пузыри, бережно развешивал среди хрупкого блеска, драгоценного мерцания. И ему вдруг показалось,

что он уже однажды сидел в этом баре, смотрел на молодую прелестную женщину. Она говорила что-то необязательное, милое, и бармен сквозь стеклянный блеск издали, деликатно наблюдал за ними.

— Вы спасли меня не только от этих пьяниц. От чего-то еще. От меня самой. — Она опять вернулась к истокам, к тому, что их познакомило. Ей хотелось бегло, мельком упомянуть об этом и поскорее, стыдливо забыть, как о чем-то случайном, ненужном. Видимо, эти два дня она думала о случившемся, искала ему объяснение. Случившееся поразило ее, побуждало размышлять, рассуждать. — На меня вдруг накатывает. Что-то начинает дуть, холодное, черное, из-под самого сердца. Будто сдвигают чугунную крышку, открывается подземный люк и оттуда кто-то воет, тянет руки, затаскивает меня под землю, в сырость, в железную тьму. Так было в детстве, так иногда и теперь. Наверное, это смерть.

— Молодая душа еще находится близко к своему рождению, к небытию. Оно окликает, зовет. В бреду, в болезнях, во сне. А потом душа пускается в долгое странствие и забывает о смерти. Лишь в старости они снова встречаются. Но эта встреча проходит иначе. — Он сказал и усмехнулся своему глубокомыслию. Тону всеведения, до которого было ему далеко. Он, проживший долгую жизнь, был в неведении о концах и началах. И лишь ее вопрошающее молодое лицо побудило его сыграть мудреца. Плохо и никчемно сыграть.

— Вы мудрый, много пережили, все знаете. Я буду учиться у вас, — сказала она, не заметив его неудачной игры.

— Я всю эту неделю собирался уехать на дачу. Но что-то задерживало. Не понимал что. Лень, жара, какое-то оцепенение. Не мог спуститься, завести машину. Оказывается, это я вас поджидал. Услышал, что вы приближаетесь, спустился на бульвар, и встреча наша состоялась. — Он опять поймал себя на мнимом глубокомыслии, желчно и зло

съязвил в свой адрес. На минуту почувствовал себя несвободным, огромную разницу лет, их разделявших, неуместность, ненужность их встречи. Но она опять ничего не заметила. Обдумывала его слова, слышала в них нечто важное для себя и понятное.

— Когда я стала надевать платье, с ужасом думая, как я в нем, драном, пойду, я вдруг увидела, что вы его зашили. Это меня тронуло, изумило. Так мог поступить мой отец. Но я его едва помню, он ушел от нас и больше не появлялся. Так мог поступить мой дедушка. Но он умер два года назад. Я подошла к вашему кабинету, увидела, что вы дремлете, смотрела на вас и думала, что обязательно к вам приду и скажу, как вам благодарна. За вашу помощь, за то, как мыли меня в фонтане, как вытирали мне слезы и нос. За ваш замечательный мягкий халат. За вашу цветную прохладную простыню. За вашу уютную постель, где я чувствовала себя в покое и безопасности. Я ваша вечная должница!

— Вы расплатились со мной. Сегодняшняя прогулка великолепна!

Они пили пиво, а потом резали ножами мягкое, душистое мясо, смугло-коричневое, глазированное снаружи, розовое, нежное внутри. Ему нравилось, как она ест — ее молодой аппетит, молодые блестящие зубы, влажные от мясного сока, сочные губы.

— Я всего раз была в настоящем большом ресторане. У мамы был поклонник, какой-то художник. Мама устраивает выставки, помогает художникам, и они вечно вьются вокруг нее. С помощью мамы этот художник продал картину, повел нас в ресторан «Метрополь». Там такой великолепный фонтан, белоснежные скатерти, разноцветный купол, словно огромная солнечная люстра. Официанты, в малиновых фраках, с перекинутыми через локоть салфетками, стараются угадать твое малейшее желание. Шампанское в серебряном ведре со льдом. Бульон из королевских кре-

веток, розовый, с золотыми колечками масла. Я стала хватать креветок руками, забрызгала художнику бархатную блузу. Мама ужасно возмущалась, а официант стоял рядом и смеялся одними глазами!

Она расхохоталась, вспоминая, как выхватывала из бульона усатую, с поджатым хвостом креветку, брызгала ею на белые кружева и бархат старомодно одетого художника и молодой официант, мнимо ужасаясь, спеша на помощь с салфеткой, подмигнул ей синим смеющимся глазом.

— А вы? Где ваша семья? Ваша жена, ваши дети?

— Пока что нет никого, — усмехнулся он. — «Наши жены — пушки заряжены!.. Наши детки — штык да пули метки!..»

— Понимаю, вы — старый воин! — сочувственно сказала она. — Сражения, битвы!.. Где уж тут семейный уют!

Они осторожно, неторопливо узнавали друг друга. Они узнали уже очень много — вчерашняя сцена на бульваре и драка с двумя молодцами. Следовавшая за ней «сцена у фонтана», как мысленно он ее называл, ее расплывшаяся помада и плачущий скошенный рот. Гостиная, где она улеглась под его прохладную голубую простыню. Лежащее у него на коленях разорванное платье, излучающее аромат и тепло, и он бережно поддевал цветастый лоскут блестящей иглой. Ее утренний букет на столе, расспросы об африканской маске, о медном эфиопском кресте, о синей гератской вазе. И эта восхитительная прогулка по реке, розовое зарево Кремля, белый Иван Великий с черно-золотыми буквами под сияющим куполом, промелькнувшая у гранитной набережной желтая кувшинка, пролетевшая над водой маленькая темная уточка. Все это было связано с узнаванием друг друга. Казалось, кто-то расстелил перед ними большую контурную карту с линиями безымянных рек, точками неведомых городов, разветвлениями дорог. И они нетороп-

ливо давали всему названия, закрашивали бесцветную карту алым, зеленым и синим.

— Я очень огорчена тем, что провалилась на экзамене. Много занималась, читала, но этого оказалось мало. Мама сказала, что без репетитора никто не поступает. Но у нас не было денег на репетитора, на вознаграждение. Я буду второй раз поступать. Вы станете моим репетитором? Ведь вы историк, путешественник.

— Все мои истории запутаны. Как клубок с цветными нитками. Надо их сначала распутать.

— Давайте вместе распутывать. Один день — красненькую ниточку. Другой — синенькую. Третий — желтенькую. Так и разматываем клубочек.

— «Тысяча и одна ночь», да и только!

Они смеялись. Она продолжала поедать свой стейк, поливая его острым соусом. Его умиляло то, как орудует она ножом и вилок, как выдавливает пряную оранжевую струю соуса, как оттирает губы салфеткой. Поймал себя на мысли, что так родители смотрят на детей, уплетающих с аппетитом еду.

— Вы мне начали говорить про Герат, про афганское голубое стекло. Герат — красивый город? Чем он особенно интересен?

— Герат — старинный афганский город, — начал он назидательным скучным голосом, изображая педантичного учителя истории. — В Герате есть несколько мусульманских святынь. Там сохранилась крепость, построенная Александром Македонским.

Горячая бело-рыжая крепость из седого песчаника, с башнями, переходами, стенами. По шершавым ступеням под прохладными сводами поднимаются на командный пункт, на солнечную сухую площадку. Голосят телефоны и рации, натужно кричат офицеры. Туманный город в желтой горчичной пыли словно жарится на большой сковородке. Ка-

жется, что начинается смерч, трудно дышать. В тумане и гари движутся танки, скрежещут боевые машины, начинает стрелять артиллерия. Над плоскими крышами, над круглыми куполами мазаров поднимаются медлительные рыхлые великаны. Их косматые гривы и бороды, сквозь которые пролетает бледный пунктир. Гулкие удары подрывов. Где-то в кварталах плавится и брызжет броня. Мерцают в дувалах бойницы. Из горчичного дыма в бинокль видны минареты, похожие на изогнутых темных червей. Зеленое свечение мечети. В синеве, над крепостью, стрекозиная тень вертолета. На огневые точки душманов пикирует боевой вертолет. Замирает в воздухе, выпуская косматое косое копье, и вслед ему — скрежещущий звук, удар по садам, по дувалам и лавкам. Секунда тишины, мелкий каракуль разрывов, и потом из этих дымов, из всех щелей, подворотен выбегает толпа. Визг, стенанье, истошный вой. Женщины прижимают грудных детей. Старики с костылями и палками. Пестрая горсть ребятишек. Пробежали и канули. Дым над садами клубится. У него в плече — крохотный колющий осколок. Острый кристалл металла впился, выдавил алую кровь.

Он рассказал ей про крепость в Герате, как спустился с башни во двор и в сухой земле, ковырнув ее штык-ножом, нашел несколько цветных черепков. Остатки фарфоровой вазы с мусульманским узором и вязью.

— Хотелось бы там побывать, — сказала она мечтательно, и глаза ее потемнели, утратили зелень, стали густосиними, почти черными. Он заметил странное свойство ее глаз — мгновенно менять свой цвет. Как вода отражает небо, пасмурное или солнечное, черно-лиловую тучу или зеленый нависший берег, так менялись ее глаза. — Или в Латинской Америке, на карнавале, среди женщин, похожих на райских птиц! Вы бывали в Латинской Америке?

Сан-Педро-дель-Норте, городок на гондурасской гра-

нице. Прокаленная солнцем, сухая колокольня над церковью, где дощатые гладкие лавки, пластмассовые, полые, поясные изображения святых. Засиженный голубями колокол, под которым стоял пулемет, смотрел вороненым раструбом на близкую зеленую гору, на ручей, где желтели цветы. Гондурасская пехота переходила границу, рвались на улице мины, мчалась раненая, с выбитым глазом лошадь, и отряд сандинистов занимал оборону. Долговязый Ларгоэспаде скакал на длинных ногах, пропускал под собой на дороге пыльные фонтанчики пуль. Командир сандинистов Кортес, обмотанный пулеметными лентами, бежал по окопу, взмахом звал за собою. Гранатометчик Эрнесто целил остроконечной трубой, выдувал из нее прозрачный огненный шар, из которого летела граната, взрывалась в желтых цветах. И потом, когда отбили атаку, волокли на веревке тело убитого гондурасца. Все, кто стоял вдоль улицы, стреляли в мертвое тело. Выбивали выстрелами красную сочную плоть. Женщины кидали в него золу. Раненый Ларгоэспаде расстегнул штаны и мочился на мертвого солнечной бурной струей, на лицо, на густые усы, в раскрытые, под черными бровями, глаза.

Он не рассказал ей об этом, а поведал о Рио-де-Жанейро, о прохладном солнечном пляже Капакабане с белыми судами на рейде, о харчевнях, где в каменном очаге на огромных поленьях жарился тучный бык. Служители в нарядах тореро, с шампурами, длинными, как блестящие шпаги, вносили горячее мясо, ударяли шпагой в белый фарфор тарелки, и у самых глаз шипело, благоухало проколотое бычье сердце. Он рассказал ей о ночном кабаре, где женщины с хвостами павлинов, трясая над головами хохолками из драгоценных бриллиантов, танцевали самбу и огромный неф, похожий на баклажан, открывал алый зев, хохотал, высывал красный влажный язык.

Она жадно внимала. Глаза ее были перламутровые,

словно отражали разводы павлиньих перьев, немеркнувшее ночное солнце варьете.

— Вы прекрасный рассказчик, — сказала она.

— Шахерезада, — усмехнулся он.

— Расскажите еще.

Белые, бескрайние пляжи Мозамбика с пенным рулоном прибоя. Сине-зеленый океанский рассол, среди которого плещет, качается размытое солнце. Идешь босиком, погружая ноги в кварцевый сыпучий песок, кидаешься накалившимся телом в прохладную глубь океана, слыша шорох донной волны, видя зеленый шатер лучей, пробивающий толщу воды, серебряные, излетающие из твоих волос пузыри. Он жил на берегу, в пустынном отеле «Дон Карлош», где тусклые зеркала, черные официанты и редкие военные, заезжавшие выпить холодного пива. Он ждал, когда за ним приедут и он примет участие в уничтожении аэродрома подскока, куда приземлялись маленькие самолетики, доставлявшие из ЮАР диверсантов. Он лежал в огромном номере под балдахином с королевской колонной. За окном вращался маяк, монотонно пробегал лучом по стенам номера, по его голым ногам, по графину с водой, словно прожектор вычерпывал изображение его лица, на длинной бестелесной руке уносил в океан, выливал в туманные воды. Он лежал без движения, жизнь казалась абсурдом, и он беспричинно плакал, видя, как загорается зеркало от бесплотных лучей маяка. Они сделали засаду у аэродрома, заминировав земляную полосу. Самолетик, жужжа винтом, бежал по земле, натыкался на пыльный взрыв, заваливался, и из него начинали хлестать огненные липкие капли. Солдаты бежали к машине, лицо у пилота было исковеркано взрывом, булькал открытый рот, и в красной слюне, на груди, висели выбитые зубы.

Он ей не сказал о пилоте, о взрыве, а только о маяке, океане. И о буре, когда в соснах ровно свистело, у берега

гуляла волна и черный мальчишка, закинув удочку в водяные горы и ямы, вырвал из океана детеныша акулы и бил его о край жестяного ведра.

— Как жаль, что я не была с вами в путешествиях, — сказала она. — Я бы тоже все это видела. У нас были бы общие воспоминания.

— Я вынес из путешествий горький опыт, — ответил он. — Я как старый железный напильник в серой металлической пыли. Не нужен вам такой опыт.

— Ну какой же вы напильник! Вы милый, веселый, добрый человек! — засмеялась она, отодвигая пустую тарелку. — Могу я вам предложить еще одно путешествие?

— Вы мой поводырь.

— Тогда вставайте. Пойдем в Парк культуры!

Это было невероятно — намаявшись за день, теперь, под вечер, идти вместе с ней в Парк культуры.

«По-моему, я впадаю в детство, и некому мне об этом сказать», — подумал он, но не с досадой, а с какой-то веселой обреченностью, вверяя себя ее воле. Расплатился и, когда уходили, заметил, как с любопытством смотрит на них бармен.

В жарких сумерках, среди бархатного шелеста и металлического ветра автомобилей, стоя перед высоким порталом парка, на котором еще сохранилась сталинская античная надпись, Белосельцев испытал томительное, похожее на сладкий страх чувство. словно ему предстояло покинуть этот знакомый, наполненный пешеходами и автомобилями город, с его сверхплотной очевидной реальностью, мучительным бытием, где обступали его беспощадные, не имевшие ответов вопросы и где он, проигравший сражения воин, был в позорном плену, среди поверженных святынь и кумиров. Перед каменными бутафорско-римскими воротами стояла маленькая нарядная карусель, усыпанная огоньками, с лакированными лошадками, рыбками, похожая на цвет-

ной леденец, если смотреть сквозь него на свет. Эта озаренная каруселька, напоминавшая языческую часовенку с идолами нестрашной и веселой религии, предвещала вступление в иной мир, иной город. Она, его поводырь, была из этого города. Привела его к воротам сказочного царства, где его ждали, радовались ему, готовы были принять, обласкать.

— Идемте! — побуждала его Даша. — Вспомните детство, Виктор Андреевич!.. Ведь у вас было детство?

И он, помолившись незаметно красным лошадкам, зеленым рыбкам и голубым попугаям, шагнул сквозь врата за ее косами, бантами, легкой фиолетовой блузкой, словно прошел сквозь прозрачную стену.

По другую сторону этой стены была иная земля, иное небо, иные обитатели. Сразу же им встретилась женщина, продававшая мячики. Мячик прыгал на резинке, напоминавшей огненную паутинку. В нем раскручивалась крохотная, сверкающая спираль, словно взлетало ночное мерцающее существо. Слышался слабый треск перламутровых перепонок, в воздухе от его полета оставался искристый гаснущий след. Сама продавщица была облачена в необычный наряд, сотканный из сухих волокон и трав. На голове у нее качались гибкие рожки с горящими шариками. Она пританцовывала, подпрыгивала, играла своими скачущими светляками, сама напоминала ночное диво, бабочку или кузнечика, живущего в траве, издающего стрекочущие звуки.

Даша подошла к ней, они о чем-то пошептались. Белосельцев понял, что они знакомы, принадлежат к одному племени, обитают в этом сказочном царстве. Даша, посланная за ним, Белосельцевым, выполнила поручение, привела его в царство, сообщила об этом привратнице, и весть о его появлении полетела в сумерках, стала передаваться мигающими огоньками, веселой музыкой, летающими полупрозрачными тенями.

— Вы не жалеете, что согласились? — Она заглядыва-

ла ему в лицо, желая убедиться, что ему хорошо, интересно. — Я бываю здесь, когда мне грустно.

Ему было хорошо. Впереди огромно, до неба, взлетал фонтан. Бил из плоского, большого, как озеро, водоема, окрашенного цветными подводными лампами. Взмывал высоко в темно-синее вечернее небо, мелькал прозрачным разноцветным пером, осыпался прохладной росой. Белосельцев прошел сквозь водяную кисею, орошенный небесной водой, которая преображала его, смывала с лица морщины, темные подглазья, следы ожогов и ран, крохотные рубцы и метины, оставленные острыми песчинками Калахари, ключими семенами Гиндукуша, ядовитой пылью Кордильер. Лицо его молодело, разглаживалось, орошенное мельчайшим бисером музыкального цветного фонтана.

— Посмотрите, можно брать эту воду и рисовать картины! — Она окунала руки в фонтан над подводными лампами, там, где вода была окрашена в красное, золотое, зеленое. Выплескивала вверх разноцветные брызги. И казалось, из ее рук излетают цветные хрустальные сосуды, алые кувшины, зелено-золотые вазы, и руки ее — в перламутровых отсветах.

Кругом сновали торговцы. Продавали воздушные шары с нарисованными цветами и бабочками. Мороженое в вафельных рожках, серебряных фунтиках, на деревянных палочках. Торговец вращал перед собой прозрачный, наполненный светом короб, был похож на шарманщика. Просовывал внутрь волшебного музыкального ящика деревянную спицу, на которую наматывался пук сладкой стеклянистой ваты. Вынимал этот пук размером с маленькую сенную копешку. От него пахло вкусным жженым сахаром, ванилью, и покупатель погружал лицо в этот воздушный невесомый ворох, шел, похожий на двуногое травоядное существо, опьяненное вкусом неведомых злаков.

Они купили две порции сахарной ваты, шли, выхватывали

вая клочья тающей сладости. Ели, радостно поглядывая друг на друга.

— Это сладкий воздух, — сказала она. — Они ловят сладкие облака, а потом продают по дешевой цене.

И впрямь темный, жаркий, коричневый воздух казался сладким, как и все, что существовало в этом смуглом горячем воздухе. Деревья были увешаны огненными гирляндами, в их черной кроне висели бесчисленные бриллиантовые вишенки, которые хотелось сорвать, положить за щеку и шагать, держа во рту бриллиантовый огонек. Повсюду стояли лавочки, лотки, освещенные навесы, под которыми торговали водой, фруктовым соком, разноцветными напитками — не люди, а какие-то забавные зверьки, похожие на зайцев, белок, ежей. Они купили две бутылки с минеральной водой, запивали прохладными, шипящими во рту глотками сахарную вату.

— Вы не жалеете, что пришли? — в который раз переспрашивала она.

Он не жалел. Он сделал удивительное открытие. Иная жизнь, к которой он стремился и куда хотел проникнуть сквозь тончайшие скважины бытия, выискивая их на бескрайних ландшафтах воюющих континентов, среди стреляющих гор, горящих саванн и джунглей, эта иная жизнь была рядом, в его городе, у его порога, сразу за каменным входом в парк, за крохотной языческой молельней. Стоило решиться, не испугаться своего исчезнувшего детства, не испугаться этой молодой, явившейся за ним посланницы, довериться ей, шагнуть за ее бантами и прозрачной фиолетовой блузкой, и иная жизнь, состоящая из разноцветных корпускул, сладкого воздуха, веселой музыки бесчисленных балаганчиков, принимала его в себя, как маленькая нарядная планета, населенная веселыми и смешными инопланетянами. Не было смерти, а была эта невесомая вечная жизнь. Не было ни рая, ни ада, а был этот парк, усаженный черны-

ми, с теплой листвой, деревьями, где каждый сучок и ветка увиты гирляндами алмазных огоньков, словно прошел дождь и теперь на листьях висели немеркнущие огненные капли. Оказывается, были неверными все богословские трактаты, все священные книги, сулившие вечное блаженство за праведно прожитые годы или вечную муку за совершенные прегрешения. И грех и праведность, о которых вещали священные тексты, были одинаково непосильны для души. Блаженство и мука, которые они сулили ему, были страшным бременем. Вместо ада и рая, преисподней или седьмого неба, был вокруг сладкий душистый воздух, действующий на него как веселящий газ, от которого хотелось улыбаться, смеяться, смотреть на лепные, из папье-маше, маски каких-то добрых великанов, нестрашных чудовищ, фантастических цветов и растений. И это она, Даша, привела его на эту нарядную планету, вела по цветным озерам, бриллиантовым рощам, музыкальным горам и долинам.

Ему вдруг показалось, что он уже это видел однажды. То ли читал, то ли видел во сне. Чей-то женский забытый голос рассказывал ему о цветных городах, где нет людей, а лишь великолепные, озаренные храмы, дворцы и по чистым безлюдным улицам, у фонтанов и фонарей, летают ночные нарядные бабочки.

— Давайте покатаемся на аттракционах, — сказала она. — Вы не боитесь?

Он не боялся. Он знал, что это было очередное, необходимое испытание, неопасные подвиги, которые должен он совершить, прежде чем будет принят навсегда в эту страну, станет ее постоянным обитателем.

У аттракциона, именуемого «Водопад», они купили билеты и вслед веселящейся молодежи прошли к искусственным, из металлических конструкций и пластмассового гранита, горам, по которым сбегали водяные ручьи. Уселись в длинную, похожую на каноэ лодку, и невидимый мотор по-

влек их вверх, по бурлящей черно-блестящей воде, ударявшей в деревянные струганные борта. Даша оглянулась с переднего сиденья, словно желала убедиться, что он не сетует на нее, что ему хорошо, он добровольно принял эту игру. Он не сетовал, он принял игру добровольно, как добровольно ложится под рентгеновский аппарат пациент, позволяя умному и внимательному врачу рассмотреть свои невидимые органы, обнаружить в них потаенные мучительные недуги.

Эти рукотворные водяные ручьи, неопасно бурлящие перекаты, рокоты невидимых механизмов, подымавших каное по крутым волнообразным склонам, были таинственным, сконструированным у Москвы-реки прибором, в который его поместили. Высветили на ночном экране синего московского неба его путешествия, военные странствия, его страхи и прегрешения. Лица убитых врагов и тела погибших товарищей, пылающие мечети, из которых излетали огненные страницы Корана, удары вертолетов по белесым кишлакам, и цветущее гранатовое дерево, а под ним — убитый мулла в окровавленной белой чалме, по коричневому тощему телу в муке катились желваки и сгустки страдания от пробежавшей волны электричества. Ночная офицерская пьянка, когда при свете коптилок пили вонючий спирт, хрипло пели и плакали, а в морге, в липкой пыли, лежал ротный, голый, серый от мучнистого праха, пронзенный насквозь длинным стальным сердечником, сонные мухи, тяжелые от трупного сока, застыли у черных ран. И та зимняя кандагарская луна, окруженная туманными кольцами, под которой дремали батареи самоходных гаубиц, блеснул на земле осколок бутылки, как холодная, упавшая с неба слеза. И потом, в Кабуле, пулеметы били по бегущей толпе, и старик-хазарец в грязной повязке прижимал к груди похожего на личинку младенца.

Каное взбиралось наверх и с плеском рушилось вниз,

окутанное брызгами, радужным вихрем, женским счастливым визгом, яростным свистом парней. Каждое падение вниз смывало с его души угрюмые впечатления жизни, зрелища бед и страданий. Так острый, пахнувший скипидаром растворитель смывает с холста неумелый рисунок, тусклый, уродливый подмалевок, нанесенный рукой подмастерья, открывает чистую, влажную ткань, жаждущую свежего живого мазка, прикосновения мастера.

— Вам не страшно? — обернулась Даша, когда лодка упала отвесно, раздавив плоским дном прозрачную подушку воды, превратила ее в плоское, разлетающееся сверкание. — Я вся промокла!

Глаза ее счастливо блестели, на лице были брызги. Он секунду любовался ее хохочущим лицом. Лодку подцепили невидимые крюки, повлекли по кипящему порогу, среди острых камней, и, пока она упруго двигалась вверх, на синем экране неба возникали боевые колонны, идущие в степь под Гератом, и тот гончарный рыжий кишлак, где пленные стояли у гончарной стены в длинных белых одеждах, отбрасывая длинные тени, а потом, расстрелянные, лежали все в одну сторону, и их верблюды, гремя колокольцами, брели сквозь дымящий кишлак. И убитая осколком корова, лежащая в мелкой воде, — сквозь бегущие струи смотрел ее немигающий синий глаз. Висящий в петле Наджибулла, изувеченный, в малиновых ранах, его слипшиеся, как в варенье, черные усы. Лазарет под Баграмом, запах парного мяса, солдат несет по жаре цинковое ведро, из которого торчит отрезанная нога с желтыми грязными ногтями. Все это отслаивалось, выступало на экране, становилось доступным внимательному целителю, взиравшему из небес. Лодка достигла вершины, перевалила сверкающий гребень и отвесно, как камень в свободном падении, рухнула в пустоту. Долетела до глубокого, наполненного светом дна, упруго ударилась, расшвыривая с плеском сверкаю-

щую воду, и они, пропущенные сквозь брызги, яростную музыку, холодное аметистовое пламя, выскользнули по дуге. Причалили к берегу.

— Господи, как страшно! — Она первая выпрыгнула из лодки, протягивая ему руку. Он встал, весь мокрый, в прилипшей рубашке. Знал, что часть его угрюмых кошмаров, его мучительных грешных видений была смыта чистой водой. Засвечена аметистовой вспышкой. И он, освобожденный от бремени, больше никогда не обернется назад, в раскаленную афганскую степь.

— Мне так хорошо! — сказала она, приподнимая край своей мокрой полотняной юбки. — Неужели вам не было страшно? Вы столько путешествовали, столько всего повидали. Но теперь и я побывала на Ниагарском водопаде! — Они удалялись от водяного, мигающего огнями каскада, приближались к мелькающей в лазерных лучах карусели. — Неужели мы пропустим возможность полетать на этих чудесных дирижаблях и ракетках?

Они встали в очередь в кассу. Юноша и девушка, стоящие перед ними, целовались. Двое бритых белобрых парней, похожих на вылупившихся птенцов, пили кока-колу. Кругом, вплетенные в деревья, мерцали крохотные лампочки, как вереницы светячков. В лучах прожектора, глянцебитые, лаковые, насаженные на длинные стальные спицы, ждали седоков кони, верблюды, смешные горбатые динозавры, двухместные спортивные шевроле, серебряные дирижабли, похожие на початки золотой кукурузы космические ракеты. Играла музыка, и под эту негромкую музыку они вошли на площадку, разместились рядом на сиденье звездолета.

— Покатили! — восхищенно сказала она, когда завращалась хромированная ось каруселей и весь зверинец нарядных лакированных животных, весь автопарк брызгающих светом автомобилей, вся эскадрилья самолетов, дири-

жаблей и космических кораблей полетели среди стеклянных огней, черных деревьев, нарядных, как переводные картинки, лотков, лавочек, балаганов, из которых высовывали свои добродушные мохнатые мордочки то ли белки, то ли ушастые зайцы.

Карусель тоже была целебным прибором, в который поместили его отягощенную недугами душу, и каждая вспышка света, каждый звенящий удар музыки испепеляли и сжигали угрюмые картины его военного прошлого, оставляя от них цветной легкий пепел, осыпавшийся невесомо на кровлю балаганчиков.

Та горячая красная дорога в ангольских джунглях, по которой катил их джип. Горло першило от ядовитой пылицы, ломило в затылке. Сзади тряслась спаренная зенитная установка, защищавшая их от атаки «канберр» и «импал». И комбриг-португалец, видя, как он страдает, протянул для глотка бутылку рыжего джина. Та поляна, на которой дымилась трава, бежали колющие огненные язычки, невидимый, свистел вертолет. Командос пятнистой цепочкой, как ящерицы, мелькали в кустах, им вслед долбил пулемет. Все сошлись к убитому буру — длинное тело, черное, в краске, лицо. Командир отряда Питер Наниемба плюнул на палец, провел по черной щеке убитого, оставил белый прерывистый след. Серпантин под Лубанго, где случилась засада, перевернутый горящий автобус, вспоротый бок бэтээра. Он вдыхал зловоние обгорелого мяса, и вокруг были синие горы, розовая даль пустыни, и, сливаясь с небом, нежный, недвижимый, зеленел океан. Три дня он провел в плену у повстанцев, в глиняной яме, куда сверху, спасаясь от жара, сваливались тяжелые липкие жабы, огромные мохнатые пауки. Ночью, глядя на белые звезды, густо горевшие в круглой черной дыре, он чувствовал, как по лицу и рукам пробегают легкие волосатые твари.

Он кружился на карусели, принимая губами удары теп-

лого душистого ветра. Его прелестная молодая соседка шурилась на пролетавший фонарь. Он чувствовал, как пучок разноцветных лучей касался его груди и сжигал в ней образ горящих джунглей, горбатый стальной транспортер, а музыка, излетающая из динамика, яркая, как ворох цветов, заглушала ночные стоны раненого слона, умиравшего от пулеметных пуль среди ночного пожара. И когда карусель раскрутила своих коней и верблюдов, разогнала автомобили и дирижабли, стальная ось наклонилась, спица, на которую был насажен их звездолет, удлинилась, и это изменение скорости, угла полета, плоскости скольжения вызвало замирание сердца, мгновение сладкого ужаса, и в этом мгновении испепелился его африканский поход, забылись навсегда имена военных советников, пропало, чтобы больше никогда не возникнуть, глянцевитое лицо Сэма Нуемы, его черно-седая кольчатая борода и огромное осеннее дерево с желтой листвой, под которым он сидел, слушая стуки тамтамов.

Карусель замирала, наездники покидали седла, оставляли сиденья и кресла машин. Она всматривалась в его лицо:

— Вам стало нехорошо? Очень быстро кружились?

— Нет, — ответил он. — Счастливая потеря памяти. Избавление от ненужного опыта.

Он устал, голова у него кружилась. Но это кружение было результатом слишком быстрого исцеления. Яды покидали его, и очищенная кровь непривычно звенела. Память очищалась от бредов, возникала счастливая пустота, восхитительное забвение, после которого можно было начинать жить сначала. Обретать новый опыт, не связанный с бедой и несчастьем, а только с этими лакированными смешными конями, фиолетовыми пучками лучей, с двумя смеющимися парнями, пьющими из бутылок, с этой едва знакомой, бог знает откуда появившейся девушкой, поправляющей белый развязавшийся бант.

— Давайте еще покатаемся!

Они вернулись на набережную, пробираясь сквозь черные, усыпанные белыми алмазами деревья. У самой воды, над гранитным откосом, стояли качели. Огромная, на металлических креплениях, ладья с деревянным кормчим, раскрашенным пластмассовым рулевым, с наклеенными на фанерных щитах видами Бомбея, Парижа, Нью-Йорка. Золоченый ковчег, на который они взошли, разместились на лавках среди публики, желающей взмыгть на качелях.

— Какая река! Какая церковь напротив! — Он проследил ее взгляд и увидел на черной, с бегущими отражениями воде малую плывущую уточку, а на той стороне, в прогалах домов, — драгоценную озаренную церковь в Хамовниках. Отсюда она казалась живой, женственной, в свадебном облачении, состоящем из языческих лент, жемчужных узоров, золоченой венчальной короны. — Она видит нас, она нам счастья желает!

Ладья колыхнулась, мягко пошла. Церковь канула вниз, словно поклонилась им издали в пояс. Он почувствовал, как теряет вес, и эта потеря веса, утрата горького опыта, была счастливым освобождением от прежней жизни, омоложением, словно запущенные вместе с ладьей часы стали отсчитывать время вспять, делая его снова наивным, верящим, ожидающим от жизни чуда. Ладья качнулась в обратную сторону, церковь приподнялась на цыпочки в своем белом домотканом облачении, в красных бусах, шелковых узорах, словно желала заглянуть в ладью, рассмотреть их, сидящих.

Размах становился все шире, вольней. Крымский мост, голубой и лиловый, с переливами зеленого, розового, был не из стали, а из стеклянных, наполненных плазмой трубок, в которых пульсировал светящийся газ. Машины мчались по нему двойной струей — с белыми лучистыми фарами и с рубиновыми хвостовыми огнями. Белосельцев сбрасывал с лодки отягчающий груз одиночества, унылого прозябания, едкого злого сарказма. Он больше знать не хотел о той жиз-

ни, где потерпел поражение, где исчезла его страна, где была попорчена его честь и гордыня. Он больше не думал о победителях, их мерзких личинах, о постыдных делах, доставлявших страдание. Он жил теперь в ином измерении, в ином наступившем времени. Лодка взлетела, и высотный дом на Смоленской, озаренный, прозрачный, казался огромной хрустальной вазой, поставленной в центре Москвы, Садовая, в искрах и блестках, окружала ее яркой дугой.

Он больше не думал о проигранных войнах, о попорченных подвигах и оскверненных святынях. То был другой человек, оглушенный контузиями, отравленный ядовитыми водами, истерзанный лихорадками, чей иссушенный неверящий ум отказался от поисков истины, дотлевал в тоске и неверии. Храм Христа, белый, как огромная, спустившаяся на землю луна, позолоченная с одной стороны, сиял среди темных строений. И хотелось коснуться его губами, почувствовать на губах вкус влажного снега.

— Мы можем так улететь! — Она ухватилась за поручень, глаза ее расширились от счастливого страха, косы отлетели назад, и она казалась статуей на носу летящей ладьи, влекла ее в ночное синее небо. — Вы хотите, чтобы мы улетели?

Он не успел ответить. Ладью качнуло так высоко, что она утратила вес, обрела подъемную силу и, легко оторвавшись от крепей, поплыла над ночной Москвой. Над блестящей, в кораблях и утках, рекой. Над скверами, где били фонтаны. Над площадями, в фиолетовых мазках фонарей. Над озаренными храмами, среди золотых кустистых крестов. Кремль, как диво, в дворцах и бойницах, белых соборах и зеленых кудрявых холмах, раскрыл внизу свою чашу. Проплывая над Кремлем, почти касаясь рукой колокольни Ивана Великого, Белосельцев наконец прочитал ту заветную надпись под куполом. Она гласила, что он, Белосельцев, начинает новую жизнь, и юная женщина, сидящая с

ним в ладье, знает об этой жизни больше, чем он, ведет его своей хрупкой рукой.

Ладья опустилась на землю. Кругом смеялись, шумели. Он посмотрел на небо, где мерцали небесные водоросли, потревоженные полетом ладьи.

Они дошли до метро, спустились вниз, стали прощаться.

— Спасибо вам за чудесный день, Виктор Андреевич, — сказала она.

— Это я вам должен быть благодарен, Даша.

— Когда мы теперь увидимся?

— Позвоните мне, когда захотите.

— Ой, у меня нету ручки записать телефон.

— И я свою дома забыл.

— Я придумала. — Она извлекла из сумочки маленький цилиндрок с помадой. Выдавила наружу красный бархатистый язычок. Записала на билете с нарисованной летящей ладьей его телефон. На другом билете — свой. Протянула ему. — Будем друг другу звонить.

Подождал поезд, голубой, с зеркальными окнами. Она впорхнула в двери, махнула ему сквозь стекло. Поезд со звоном умчался.

Белосельцев стоял, улыбался. Представлял, как держится она за блестящий поручень, среди мелькающих ламп. Смотрит на квиток с красными письменами.

Глава четвертая

На рассвете, когда желтое, латунное небо Пномпеня бледнело, наполнялось голубоватой дождливой дымкой, Белосельцев вышел из отеля, кинул на заднее сиденье своего «Мицубиси» дорожный баул, поймал на себе всевидящий взгляд портье и поехал в посольство, решив по пути заехать к Сом Кыту, благо запомнил его адрес.

Подъехал к дому, позвонил в облезлую дверь запущенного двухэтажного здания с металлическими жалюзи на окошках. Должно быть, прежде это был магазин, еще сохранилась на фасаде полусмытая вывеска. Открыл Сом Кыт. Мимолетное выражение недовольства проскользнуло на его смуглом лице. Было видно, что ему неприятно открывать постороннему глазу свой унылый обнаженный быт, голые стены, квадратное, тускло освещенное торговое помещение, где среди неуютных шкафов и кроватей стоял мотоцикл, верстачок с инструментами и запасными частями. Полугараж-полужилье, в котором вынужден был обитать дипломат. Жена Сом Кыта, немолодая, с худым робким лицом, укладывала саквояж. Замерла, подняв на Белосельцева испуганные глаза. И тот, извиняясь и кланяясь, испытывая смущение от своего бестактного незваного визита, почувствовал витавшую в доме тревогу последних минут расставания, болезненную и любовную связь, соединившую этих людей, не желавших разлучаться.

— Дорогой Сом Кыт, я подумал, что, может быть, буду вам полезен, подвезу вас на машине к посольству. — Белосельцев хотел искупить свой проступок сердечностью и душевностью.

— Я приеду в посольство через десять минут, — ответил Сом Кыт.

Его жена виновато улыбалась Белосельцеву, будто о чем-то умоляла. И ему показалось, что этих двух людей связывает какое-то мучительное, выдержавшее страшные испытания родство, заставлявшее женщину умолять и надеяться, что странствие, в которое отправляется муж, не принесет им несчастья.

Белосельцев загнал машину за ограду посольства, пустынного в этот утренний час. Передал ключи дежурному, пожелавшему счастливого пути. Направился на улицу, где в

зеленой глянцеви́той листве уже солнечно золотилась крыша пагоды, одна из немногих восстановленных после погрома.

Хрустя и урча, подкатила белая «Тойота» с помятым, наспех выправленным и подновленным крылом. Сом Кыт распахнул створки в торце. Двое солдат охраны, оставив на сиденье автоматы и вороненую трубу гранатомета, гибко выпрыгнули на землю. Маленький мускулистый шофер тут же открыл капот, сунул в горячую глубину свои крепкие ловкие руки.

— Что-нибудь не в порядке? — спросил Белосельцев, цепким взглядом осматривая поношенную машину, стертые, без протектора, шины, наспех замалеванный рубец на крыле.

Солдаты, молодые, в кофейной выглаженной униформе, улыбнулись Белосельцеву, радуясь предстоящей поездке, свободе без муштры и казармы.

Водитель, не понимая французского, угадал вопрос Белосельцева. Жестами аттестовал свой автомобиль как очень надежный и хороший экипаж и, только кивнув на замызганный, в потеках аккумулятор, сделал руками крест, давая понять, что тот никуда не годится.

— Тогда вперед! — бодро сказал Белосельцев, передавая свой баул солдатам, усаживаясь рядом с шофером.

Пномпень в золотистом солнце промелькнул за стеклами своими руинами, велосипедистами, торопливой толпой. Меконг ударил бесшумной слепящей гладью. И синее пустое шоссе номер пять зашелестело под колесами их белоснежной машины.

Колеса шелестели лишь первые полчаса. Шоссе перестало быть синим и гладким, превратилось в рваную корку ломаного асфальта. Выбоины и колдобины шли непрерывно, словно трассу долбили снарядами. Машина билась, проваливалась в дыры с жестким хряском. Удары сквозь изношенные амортизаторы отдавались в черепе. Автоматы,

труба гранатомета, липкая бочка с горючим подскакивали, колотили людей. Белосельцев, боясь стиснуть челюсти, чувствуя болезненный пьяный гул в голове, оглядывался на трясущихся, страдающих солдат, ждал очередного падения в яму. И только маленький скуластый шофер крутился, как выюн, вращал баранку, пытаясь вписать «Тойоту» в немыслимый зигзаг, словно уклонялся под бомбежкой от очередного взрыва.

Сквозь изнурительную тряску, гул в голове он старался углядеть из окна железную дорогу, которая проходила где-то поблизости параллельно шоссе. Но кругом тянулись холмы, зеленые туманные болота, сочные непролазные заросли, и дороги не было видно.

Они нагнали огромный разболтанный грузовик, ржавый, пятнистый, с поломанными бортами. В кузове тряслось заржавелое, в дырах сооружение, похожее на вытяжной шкаф. Они попытались обогнать грузовик, но медленная громада громыхала, виляла среди ямин, загораживая бортами шоссе, не реагировала на гудки. Белосельцев задыхался от гари и пыли, летевших от грузовика. Не мог понять, куда и зачем движется по мертвой дороге доживающий век грузовик, везущий мертвый, отработанный хлам, не годный даже в мартен. Грузовик был обломком исчезнувшей цивилизации, ее бессмысленным, не имевшим применения ломтем. Так в Космосе летит остывший кусок разрушенного корабля, без орбиты, без экипажа, без цели, превращенный в металлический неодушевленный болид.

Водитель бранился, сплевывал пыль, давил на сигнал, пытаясь сунуться в объезд на обочину. Но грузовик подставлял измызганный борт, сыпал на ветровое стекло сухую рыхлую пыль. Один солдат не выдержал, что-то крикнул, оскалась. Открыл окошко, выставил автомат, дал в воздух долгую злую очередь. Грузовик остановился. «Тойота» обошла его. Солдаты кричали, грозили кулаками, а из вы-

сокой кабины с расколотым стеклом смотрело усталое немолодое лицо с повязкой на лбу и рядом — два испуганных детских.

Белосельцев смотрел на шоссе, помнившее роскошные стремительные лимузины, безмятежные веселые лица богачей и туристов, мчавшихся развлекаться в Таиланд, подивиться на каменное чудо Ангкора, не ведавших, не прозревавших будущего. С тех пор по этой дороге, прогрызая асфальт, прокатились войска, простонали колонны изгнанников, шаркали бесчисленные подошвы беженцев. Мятущийся, сорванный катастрофой народ прошел по этой дороге, унося на ногах частицы асфальта, превратив дорогу в драную пыльную рытвину. Белосельцев двигался в желобе людской беды и несчастья, упавших на эти плодородные красноватые земли с зеленью пернатых, волнуемых ветром пальм, с голубоватой, пленительно-чудной далью, не сравнимой ни с чем в своей нежности, красоте.

— Вы знаете эту дорогу? — спросил Белосельцев Сом Кыта, который молча, стоически переносил толчки и ухабы, напоминая маленькую статуэтку с качающейся головой. — Вы путешествовали по этой дороге?

— Да, — помолчав, ответил Сом Кыт, словно за секунду молчания проделал давнишнее странствие. — Вместе с женой. Как только поженились, совершили свадебное путешествие в Ангкор. Но это было давно.

Белосельцев вспомнил измученное лицо стареющей женщины, собиравшей Сом Кыта в дорогу. Быть может, в семейном альбоме хранятся их фотографии — молодые, счастливые, перед огромным каменным храмом. С тех пор по этой дороге проскакало, прохрипело огромное страшное чудовище, сжирая их светлые дни. Но об этом ни слова. Этика их недолгих отношений исключала выпрашивание.

— Хотите пить? — предложил он Сом Кыту, не же-

лая, чтобы рвалась хрупкая паутинка их разговора. — У меня в бауле есть бутылка минеральной воды.

— Благодарю, — ответил Сом Кыт. — Лучше потерпеть.

Белосельцеву показалось, что слово «терпеть» относилось не столько к бутылке с водой, сколько к чему-то гнетущему, тягостному, обременявшему жизнь этого замкнутого в себе человека.

— Какое печальное зрелище — разрушенный Пномпень. — Белосельцев не давал угаснуть огоньку, затеплившемуся в их хрупких отношениях. — И какое удивительное зрелище — эти голубые далекие холмы.

— У природы человек учится мудрости. Звезды будут всегда, даже тогда, когда города исчезнут.

Белосельцев больше не тревожил его разговором. На первый раз этого было достаточно. Они еще были чужие, еще испытывали отчужденность. Но что-то неуловимо изменилось между ними. Они узнали друг о друге самую малость, и эта малость не разбила, а сблизила.

Удары и броски стали жестче, машину поволокло на обочину. Водитель вылез, горестно замахал руками, и стало понятно, что спустило колесо. Все вылезли наружу, отдыхая от тряски, а водитель, огорченный, виноватый, стал раскручивать винты, готовясь ставить запаску.

За обочиной зеленела луговина, на ней одиноко, неправдоподобно круто возвышалась гора, словно торчащий из моря утес. На вершине виднелась пагода, и к ней, обвивая склоны, восходила ступенчатая тропа. Белосельцев решил воспользоваться остановкой, подняться на гору, осмотреть окрестность и, быть может, обнаружить железную дорогу.

— Любезный Сом Кыт, куда длится остановка, я хочу подняться к молельне и оттуда полюбоваться природой.

Не дожидаясь ответа, он спустился с обочины и по едва натопанной тропинке пошел к горе.

Тропка оказалась заросшими травой каменными плитами. Среди клочков дикой кустистой травы росли садовые лилии, белели их нежные благоухающие цветы. Тропа превращалась в тесаные, уходящие в гору ступени, которые, несколькими витками окружая утес, подымались к темной молельне, к ее толстым замшелым стенам и резной каменной кровле, под которой таилось деревянное изваяние Будды в красных и золотых облачениях. Это был скит, куда смиренные бонзы, опираясь на посохи, медленно восходили по склону, желтея своими хитонами, и там, на вершине, среди голубых волнуемых далей, возжигали благовония, предавались мистическому созерцанию вечности. Подымаясь по ступеням, Белосельцев думал об этих исчезнувших монахах, писавших друг другу трогательные стихи и послания. Скит был безлюден, словно робкая безмолвная жизнь ушла по ступеням вверх, оторвалась от вершины и улетела, как бабочка, которую ненароком спугнули.

Он устал подниматься, остановился на полпути, поднял голову, озирая окрестность, и увидел железную дорогу. Линия насыпи прямо и тонко тянулась сквозь сырые низины, зеркальца болот, туманные перелески, удалялась в голубую пустоту, терялась в мягкой дымке. Шоссе, отделенное от насыпи зарослями, шло параллельно. Казалось, в перспективе они сливаются и там, в густой лазури, среди теней и туманов, находится чудесный город, с башнями, храмами, дивными чертогами, в который ведут все дороги, в котором обитают счастливые люди, о котором, как о пристанище благодати, помышляют монахи.

Он жадно всматривался в линию дороги, которую впервые увидел на карте в Москве, в сумрачном кабинете разведки, в свете лампы под старомодным зеленым абажуром. Тонкая указка двигалась по карте, мимо городов и селений, и генерал, ставя задачу, перечислял параметры трассы, которые должен был проверить разведчик. Теперь дорога пе-

ресекала нежно-зеленую, влажную равнину, терялась в синих далеких джунглях у границы с Таиландом. Глаза, увлажненные, сквозь огромную голубую линзу воздуха, искали на дороге дымок паровоза, признак движения и жизни. Но трасса оставалась пустой. Казалось, и здесь жизнь была потревожена какой-то незримой опасностью. Спасаясь от напастей, оставила после себя тонкий след, который медленно растворялся в синеве воздуха, в туманах болот, в водяном блеске солнца.

Это была первая встреча с дорогой, с объектом его исследований. Он остро чувствовал ее сквозь воздушную пустоту. Но, озирая ее с высоты, ощущал тайные опасности, скрытые в нежной голубизне и зелени, застывшие под солнцем невидимые силы, подстерегавшие здесь его, наблюдавшие за ним, ожидающие его неверного, неосторожного шага.

Он двинулся выше, вокруг горы по каменной спирали, желая достичь вершины и оттуда, от алтаря красно-золотого Будды, еще раз взглянуть на дорогу. Рассмотреть ее мосты, переезды, те места, где она сближалась с шоссе и можно было свернуть на проселок, подъехать к насыпи.

Он одолевал последние ведущие к молебне ступени, собираясь погрузиться в тень ее тяжелой каменной кровли, под которой сидела улыбающаяся, с опущенными веками статуя. Но из темных проемов вдруг вышел солдат с автоматом, направил ствол ему в живот. Появился офицер в форме вьетнамского капитана, с пистолетом в руке, с биноклем на груди, грубо, резко крикнул ему, наводя пистолет ему в лоб.

Их появление было столь неожиданно, худые, обтянутые желтоватой кожей лица были столь враждебны, что Белосельцев испугался. Выстрел мог прозвучать немедленно. Его гибель здесь, на одинокой вершине, у подножия Будды, была возможна, завершала собой его недолгий путь, превращала его тайные предчувствия и страхи в короткую вспышку, в толчок. Бездыханный, он лежит на истертых

ступенях, и его неживые глаза смотрят на голубую долину с тонкой линией железной дороги.

Офицер что-то сердито выкрикивал. Солдат наводил автомат. Но снизу, из-за каменной кручи, на спиралевидной тропе появился Сом Кыт. Произнес несколько фраз по-вьетнамски. Достал из кармана бумагу. Протянул офицеру. Тот недоверчиво, настороженно читал. Двигал бровями. Глаза его успокаивались. Он сунул пистолет в кобуру, знаком отослал солдата, и тот, опустив автомат, скрылся в молельне. Офицер строго, недоброжелательно оглядел Белосельцева. Что-то сказал Сом Кыту, повернулся и пошел в молельню, и Белосельцев заметил, что его выцветшие зеленые брюки аккуратно залатаны на худых ягодицах.

— Здесь расположен вьетнамский пост наблюдения, — сказал Сом Кыт, когда они спускались с горы. — Удобная точка. Стратегическое направление.

Белосельцев был благодарен Сом Кыту за его своевременное появление. И был раздосадован на себя за свою оплошность. Сом Кыт наблюдал за ним. Вьетнамец наблюдал за дорогой. И кто-то невидимый наблюдал за ними из солнечного размытого блеска. Здесь повсюду были глаза, неотступно следившие за его продвижением. Из волнистых голубых холмов. Из зеленых болот. Из тенистых зарослей. Даже в гранитных истертых ступенях, на которые ступала его нога, раскрывались на миг глаза, осматривали его, захлопывались каменными веками.

Машина с исправным колесом была готова. Они погрузились в нее, продолжили путь по шоссе номер пять.

От шоссеиной дороги в обе стороны уходили проселки. Иные из них — заросшие, травянистые, с едва заметной колеей, и это значило, что поселений, к которым они вели, больше не существует. Другие — пыльные, красноватые, со следами тележных и автомобильных колес, и это означало, что они ведут в населенные, живые деревни. Белосель-

цев вглядывался в мелькавшие заросли, искал прогал, в котором откроется насыпь и он увидит переезд или мост. Но придорожные пальмы мотали своими глянцевыми листьями, кусты, как плотный зеленый войлок, застилали дорогу.

Вдруг все это кончилось, возникла пустота с высоким небом. Равнина, изрытая длинными, бесконечными бороздами, напоминавшими противотанковые рвы. Казалось, здесь прошелся огромный, из неба опущенный плуг, взрыхлил темно-красную землю, оставил ровные, уходящие к горизонту рытвины. Пересекая их под косым углом, близко проходила насыпь. Белосельцев исподволь, сквозь пыльное стекло, осматривал ее рыжие склоны, старался угадать на ней рельсы.

— Это каналы, — сказал Сом Кыт. — Они были вырыты по приказу Пол Пота. Сюда пригнали горожан из Пномпеня, чтобы создать здесь житницу риса. Тут работало много тысяч человек, даже старухи, даже малые дети. Рыли руками, палками. Большинство погибло. Направление каналов было выбрано неверно, и вода по ним не пошла.

Белосельцев смотрел на ровные, сужавшиеся к горизонту каналы, исчертившие красноватую землю. Их марсианский чертеж свидетельствовал об исчезнувшей цивилизации, о погибшем инопланетном народе, о заблудившемся времени, которое вовлекло в себя множество усилий и устремлений и бесследно сгубило их. И было неясно, куда исчезла эта неземная жизнь, как выглядели трудолюбивые инопланетяне, где их капища, жилища и погребения, какая болезнь и война унесла их с земли, оставив после них огромные борозды, которые из Космоса складываются в загадочный чертеж и иероглиф.

Он увидел проселок, сбегавший с обочины, проложенный по гребню канала. Проселок упирался в насыпь. В том месте, где канал касался дороги, виднелся небольшой мост. Там на проселке, недалеко от моста, толпились люди, пест-

рели одежды. Стояли запряженные волами телеги, взлетали и опускались мотыги.

— Дорогой Сом Кыт, — Белосельцев моментально принял решение приблизиться к мосту, — нельзя ли нам подъехать к тем людям? Хочу поговорить с ними. Пусть расскажут о каналах.

— Через полчаса у нас запланирована остановка, — мягко возразил Сом Кыт. — Посещение кооператива Претьюонг. Там вы сможете поговорить с людьми.

— Давайте остановимся здесь. Хотя бы на пять минут. Хочу побеседовать с крестьянами, — настаивал Белосельцев.

Сом Кыт колебался, застигнутый врасплох просьбой Белосельцева. Было видно, что эта остановка, не предусмотренная планом поездки, нарушает строгий регламент. И в то же время ему было неловко отказывать, стеснять журналиста мелочными ограничениями.

— Только недолго, — сказал он. — Нас ждут в кооперативе.

Шофер, повинуясь указанию Сом Кыта, свернул с шоссе, съехал на пыльный проселок.

На растресканной, без травинки, земле, рядом с осыпью сухого, ржаво-красного канала, копошились люди. Долбили рывтины, взмахивали мотыгами. Наклонялись, подымали с земли что-то круглое, похожее на кочаны или тыквы. Белосельцев смотрел не на них, а на близкий мост. Он был полуразрушен. Насыпь, потревоженная каналом, была размывта. Опоры покосились, поперечные балки просели, образовался уступ, ломавший колею. Тут же у моста виднелись груды отесанных бревен, какие-то ручные станки и пилы. Под осевший пролет подводились деревянные опоры. Мост ремонтировался, готовился к эксплуатации.

Это была удача. Знак того, что дорогу запускали в работу. Первая добытая развединформация. Оставалось приблизиться к мосту, исследовать прочность деревянных опор,

их способность выдержать пролетающую тяжесть груженных танками составов.

Он вышел из машины, ощутив теплое дуновение ветра, пропитанного сладким запахом тления. Крестьяне продолжали работать, извлекая из земли загадочные плоды. Белосельцев, стараясь придумать повод, который позволил бы ему взойти на мост, рассеянно гадал, какой агротехникой заняты молчаливые крестьяне, какой корнеплод они собирают на этих безводных, бесплодных почвах, сносят к телегам, в которых серые худые волы качали острыми рогами, отбивались хвостами от мух и кровососов.

— Что это за культура? — поинтересовался он у Сом Кыта, придумывая тут же второй вопрос, который бы позволил ему приблизиться к насыпи.

Тот не ответил. Крестьяне, опустив мотыги, смотрели, как они подходят. Белосельцев всматривался в белые, аккурратно-округлые кучи, напоминавшие бурты с кочанами. Напрягал, расширял зрачки, еще не веря, еще боясь ужаснуться и уже ужасаясь, столбенея, угадывая в округлых, костяного цвета шарах человеческие черепа, многоокие, с темными провалами носов, с оскалом хохочущих ртов. Одинаковые, словно калиброванные, устрашающие своим обилием, веселостью, неправдоподобной, не свойственной смерти свежестью белых зубов.

Мимо прошла девочка с худенькой шеей, несла в руках череп. Держала его бережно, как кувшин. Донесла до телеги, положила с костяным легким стуком на грудку других. Поправила, нацелив пустые глазницы в ту же сторону, что и другие.

— Пол Пот... — сдавленно сказал Сом Кыт. — Место казни... Массовое захоронение...

Он отошел к крестьянам и тихонько с ними разговаривал. Те так же тихо отвечали, словно боялись громкими голосами потревожить витавшие духи. Белосельцев смотрел

на каналы, на длинные росчерки исчезнувшей цивилизации и понимал, что ее строители, ее инопланетные обитатели не унеслись с Земли в беспредельный Космос, а остались здесь, лежали под тонким слоем красной земли, умертвленные в одночасье.

Подошел Сом Кыт.

— Они говорят, что пришли из соседней деревни, стали рыть водоемы для сбора дождевой воды и наткнулись на это. Говорят, сначала одна могила, потом другая, третья. Все поле в этих могилах. Они уже выкопали триста голов.

— Как это случилось? Как их убили? — Белосельцев смотрел на хохочущие черепа, пытаясь представить лица убитых. Над белой костяной пирамидой, над разрытой землей стекленел и струился воздух, словно текли и волновались прозрачные духи, потревоженные вторжением живых.

Сом Кыт снова негромко разговаривал с крестьянином, и тот, устало опустив мотыгу, отвечал.

— Он не знает, как это было. Их общину угнали на север. Там они корчевали джунгли, расчищали поля под посевы. Но он видел, как убивали их людей. Их ставили в ряд, голова к голове. Приковывали к железному пруту и вели. Перед вырытой ямой стоял охранник. В руках он держал мотыгу. Бил в затылок переднего. Тот падал. Его место занимал второй. Получив удар мотыгой в затылок, тоже падал. Наступала очередь третьего. Так убили восемьдесят или сто человек.

— За что?

— На всех не хватало еды.

— Что теперь собираются с этим делать? — Белосельцев смотрел на струящийся воздух, на округлые белые кости, выступающие из земли. Казалось, вся планета состоит из черепов, присыпанных тонким слоем почвы, на котором произрастают растения, проложены дороги, построены города.

Сом Кыт вопрошал крестьянина, и тот устало отвечал,

и его негромкая речь напоминала щебетание утомленной нахохленной птицы.

— Они хотят выставить их на обочине шоссе до дороги. Чтоб проезжие люди их видели. А потом похоронить.

Крестьянин поклонился и отошел, застучал мотыгой о землю, и она отозвалась костяным бильярдным звуком.

Белосельцев, страшась, на носках ступал по растресканной земле, перемешанной с человеческой плотью. Заглядывал в открытые ямы, где белели россыпи костей, темнело тряпье. Над могилами дрожал выпущенный на свет тяжелый пар. Было страшно дышать этим жирным пахучим воздухом. Вся окрестность текла и струилась, словно носились и сталкивались тысячи прозрачных душ, и щеки, губы, глаза чувствовали едва ощутимые удары бесплотных воздушных существ.

Сом Кыт склонился над грудой голов, сжался, усох. Касался черепов медленной напряженной рукой, словно гладил их и ласкал. Белосельцеву казались страшными, необъяснимыми эти прикосновения. Он боялся смотреть в его сторону.

«Где я был в то время, когда это случилось?» — спрашивал он себя, перешагивая ржавый железный прут с приваренными кольцами, в которые, как в браслеты, вдевались запястья казнимых.

Московский снегопад с синими фонарями. Драгоценный проблеск Садовой. Полупрозрачная белая тень Андроникова монастыря. Он в гостях у друзей. Хозяйка, пышная, благодушная, ставит на стол угощения, зажигает розовые витые свечи. Все пьют, едят. Легкомысленные шутки, смешки. Остроумный злой анекдот. Едкая сплетня. Философский экспромт, в который каждый, по мере сил, вкладывает свою долю ума и знаний. Поздние проводы, поцелуи в дверях. Он ловит в снегопаде набегающий зеленый огонек такси. Рядом, в теплом салоне, какая-то полужнакомая, доступная женщина. А в это время здесь, на другой по-

ловине земли, на утренней пустоши, они шли к своей яме, подставляя затылки под тупые удары. Палачи, утомившись, отдыхали, усевшись на землю, а те обреченно, смиренно ждали.

Белосельцев понимал, что его задание связано с риском погибнуть от пули, исчезнуть бесследно в болотах и джунглях. Но главная опасность и риск состояли в том, что его разум и психика погружались в стеклянный струящийся воздух, в котором носились души миллионов убитых. Подстерегали его за каждым кустом, на каждом повороте дороги. Влетали под марлевый полог, присутствовали в пище, воде. И это соседство с духами смерти сводило с ума, побуждало действовать вопреки рассудку. Все, с кем он станет говорить и встречаться, были околдованы и сведены с ума духами смерти. Как Сом Кыт, который держал на груди, гладил маленькую костяную голову.

Полуразрушенный мост скосил свои опоры, белел деревянными сваями, вписывался поломанным черным уступом в насыпь. Белосельцеву хотелось пройти сквозь слюдяные колебания воздуха, приблизиться к мосту, исследовать его разрушения, оценить восстановительные работы. Но он не мог это сделать на виду у всех, не мог позволить себе слишком долго и откровенно его рассматривать. Он нагнулся, поднял с земли череп, маленький гладкий костяной шар, в котором пролегли костяные швы, темнели пустые глазницы, улыбался белозубый, без губ и десен рот. В затылочной кости чернел трехгранный пролом — место, куда вонзилась кованая оконечность мотыги. Делая вид, что рассматривает череп, Белосельцев поднял его на уровень глаз. Заслоняясь им от людей, стал рассматривать мост. Пересчитывал целые и поврежденные опоры. Определял кубатуру привезенной для ремонта древесины. Старался рассмотреть пилы и бетономешалки, предназначенные для ремонта.

Он чувствовал исходящий от черепа слабый запах бо-

лотного тления. Медленно поворачивал его в руках, совмещая глазницы с проломом в затылке. И когда совместил, увидел сквозь череп мост, и волнистые синие дали, и нежно-зеленые поймы, и далекие тенистые джунгли. Череп, как бинокль, приближал, увеличивал. Сквозь голубые стеклянные окуляры, в которых раньше помещались живые глаза, а теперь трепетал сгустившийся воздух, Белосельцев вдруг узрел в просторах огромный темный смерч. Косматый столб двигался, заворачивал в полог своей черной одежды окрестные леса и дороги, селения и придорожные храмы. Срывал их с хрупких основ, превращал в черный дым, возносил в небо. Это был дух смерти, последнее предсмертное видение, задержавшееся в черепе среди нагретых солнцем костей.

Он передал череп проходящей мимо хрупкой девочке, и та осторожно положила его на телегу, укрепив среди высокой костяной пирамиды. Неслышно подошел Сом Кыт, бледный, без единой кровинки.

— Кооператив рядом, нас ждут, — сказал он чуть слышно, и они вернулись к машине.

Председатель кооператива Миех Сирейрит, как представил его Сом Кыт, принимал их в просторной прохладной хижине, поставленной на высокие сваи, близко к шелестящим вершинам пальм. Сквозь гладкий, словно пластмассовый пол, набранный из расщепленных пальмовых пластин, веяли свежие сквознячки, пахло близкой скотиной, душистым домашним дымом, как пахнут все крестьянские земные жилища.

Белосельцев сидел на свежей циновке. Молчаливые женщины, стуча тугими пятками, принесли в мешковине, вывалили на пол груды кокосов, зеленых, тяжелых, только что выломанных из пальмовых гнезд. Осторожно поглядывая на приезжих, большими ножами ловко, до белой мякоти, отсекали зеленые маковки орехов. Будто откупоривали крышки, просекали маленькие отверстия, ставили перед гостями,

воткнув в орех соломинку. Белосельцев благодарно, с наслаждением тянул сладковатый прохладный сок. Смачивал холодной струйкой иссохшие, воспалившиеся губы, язык. Поглаживал зеленый, похожий на тяжелую молочную кружку орех.

Председатель после приветствий завел негромкую осторожную речь, не поднимая на Белосельцева маленьких печальных глаз. Его тихие щебечущие звуки напоминали язык печальной птицы, которая что-то пыталась поведать не понимавшему ее человеку, что-то жалобное, унылое, безответное. Белосельцев, подтверждая свою роль журналиста, писал в блокнот, и ему хотелось записать не слова, а унылую музыку этого одинокого щебетания.

— В их селе, — переводил Сом Кыт, который сам уподобился немошной, обессиленной птице, — раньше было пять тысяч жителей. При Пол Поте их угнали на север, в болота, в джунгли. Не позволили взять с собой ни скот, ни одежду. Разлучили семьи, разделили мужчин и женщин, жен и мужей. Два года они валили деревья, вырывали вручную пни, копали канавы, отводя болотную воду, пахали землю, впрягаясь вместо волов, сеяли рис и лишь издали, во время работы, наблюдали своих близких. Когда Пол Пота прогнали, они вернулись сюда. Их дома сгорели, скот пропал, поля заросли лесом. Теперь у них двести тридцать пять вдов, триста восемь сирот. Половина людей умерло от голода, от малярии или были просто убиты...

Рассказ звучал тихо, бесстрастно, словно эта повесть была не о нынешнем ужасном времени, а маленький смуглый чтец развертывал древний свиток, читал старинную летопись о давнишней постигшей народ беде, от которой к ним, ныне живущим, дошел лишь пергаментный манускрипт. Теперь Белосельцев делал копию этого древнего списка, заносил в блокнот иероглифы рукописи.

— Государство, как может, оказывает им посильную

помощь. Дает рис для семян, одеяла, кровати, немного денег, чтобы они могли купить инвентарь, несколько пар буйволов. Они построили приют для сирот, больницу для больных и раненых. Сообща поставили жилища, распахали заросшие земли. Собрали первый, спасший их от голода урожай. Теперь у них есть дома, немного волов и буйволов, своя школа, учитель. Они стараются дать работу тем, кто лишился кормильца. Стараются, чтобы у людей исчезли страх и уныние, ибо уныние — это болезнь, грозящая смертью. Но многие люди еще болеют и мучаются...

Председатель был не стар, почти моложав на вид. Но, глядя на его сухое, желтоватое, заострившееся во всех чертах лицо, Белосельцев разглядел в нем великое утомление, иссушившее кожу до последней кровинки, и великое, скопившееся под коричневыми веками горе, которое он не желал обнаружить перед чужим человеком, и великое бережение и заботу, положившие на его лоб перекрестие из двух глубоких морщин. Заботу о попавшем в беду племени, готовом умереть и исчезнуть. Бережение и мудрость вождя, ведущего свой народ из гибели к спасению.

— Ему сообщили с посланцем, что в их деревню едут высокие гости, — переводил Сом Кыт, и председатель поднял на Белосельцева глаза, взгляд которых был тих и печален. — Они готовы показать дорогому гостю все, что тот пожелает увидеть. Ответить на все вопросы.

Белосельцев вытягивал из трубочки сладкое прохладное содержимое ореха. Прозрачный сироп, скопившийся среди твердой белой мякоти в сердцевине плода. Обдумывал, как ему задать вопрос о дороге, не насторожить своим вопросом Сом Кыта, добыть драгоценную информацию, ослабленную переводом, пропущенную сквозь фильтр трех языков.

— Должно быть, вы чувствуете себя отрезанными от столицы? Шоссе, по которому мы ехали, непригодно для езды. Да и автомобилей у вас, как я вижу, нет. Как вы дос-

тавляете свою продукцию на рынок? — Белосельцев, задавая вопрос, наблюдал за лицом Сом Кыта — не мелькнет ли на нем тень подозрительности, не услышит ли он в вопросе потаенный смысл.

— Он отвечает, что нынешнего урожая хватило только на нужды общины. Но следующий, если пройдут обильные дожди и уродится рис и овощи, они повезут в Пномпень. К этому времени, он надеется, будет пущена железная дорога. Вьетнамские солдаты чинят мосты, поправляют насыпь. Спасибо им за помощь. Он надеется, что осенью они продадут урожай и на вырученные деньги купят маленькую грузовую машину.

Это была информация. Дорогу возводили вьетнамцы быстрыми темпами. К осени она будет способна пропускать поезда и составы. Нужно было уйти от опасной темы, усыпить бдительный разум Сом Кыта. Как птица, притворяясь подранком, уводит охотника от гнезда, так Белосельцев уводил разговор от дороги, заманивая собеседника в пустые, ничего не значащие темы.

— Какой вкусный сок у кокосов! Я никогда прежде не пил. Это орехи нового урожая?

— Он говорит, что эти орехи спасли общину от гибели. — Сом Кыт переводил бесстрастно и прилежно, никак не проявляя своего интереса к вопросам, лишь стараясь безошибочней и точнее воспроизвести перевод. — Когда они вернулись из ссылки, у них не было риса и они питались кокосами. Но много пальм засохло. Теперь, с помощью вьетнамских солдат, их вырубали и на вырубке посадили молодые пальмы.

Еще информация. Вьетнамские солдаты рубили сухие деревья и бревна от пальмовых стволов использовали для ремонта моста. Крестьяне жили вблизи дороги. Если тщательно вслушиваться в их рассказы о жизненных нуждах, о полевых работах, о видах на урожай, если умело просеивать

эти рассказы, то можно обнаружить информацию о дороге. Так в золе от сожженных растений содержатся драгоценные данные о радиации почвы, о тайной ракетной базе, о реакторе подводной лодки. Железная дорога не являлась ядерной топкой или пирсом подводных ракетоносцев. Но в словах крестьянина, бесцветных и сухих, как трава, содержалась горстка драгоценной золы — информация о дороге.

— Вы сказали, много деревьев погибло? Что значит «много» для вас? — Белосельцев испугался оплошности. Зрачки Сом Кыта дрогнули, и он мельком взглянул на Белосельцева. Но взгляд его быстро потух, и он перевел вопрос.

— Тридцать деревьев погибло, — был ответ председателя. — При Пол Поте гибли люди, гибли деревья, гибли животные в джунглях. Природа не выносила Пол Пота. Вьетнамцы пришли в селение и испросили позволения спилить засохшие пальмы для ремонта мостов. Им дали согласие. Через эти мосты пойдут поезда, повезут в Пномпень и Сиенреап овощи и плоды. Кооператив благодарен вьетнамцам за помощь.

Белосельцев записал в блокнот ответ председателя. На досуге от переведет количество спиленных пальм в кубометры бревен. Попытается вычислить, сколько мостов на этом отрезке дороги нуждаются в ремонте.

Еще один вопрос волновал его и томил. Белосельцев не решался его задать, боялся тайновидения Сом Кыта, его сокровенной способности прочитывать мысли других. Но само умолчание могло его выдать. Было красноречивее всех заданных вслух вопросов.

— В советском посольстве, когда я отправлялся в дорогу, — Белосельцев старался не смотреть на Сом Кыта, не открывать ему выражение глаз, — мне сообщили, что поблизости от кооператива погиб наш дипломат, подорвался на mine. Тогда здесь шли боевые действия. Какая сейчас обстановка? Безопасно ли крестьянам работать в полях?

Сом Кыт, прежде чем перевести, секунду помедлил. Словно проверял слова Белосельцева на невидимом детекторе. Извлекал из них потаенный смысл.

— Он говорит, что сейчас спокойно, вьетнамские войска отогнали врага. Здесь действительно гостил советский дипломат. Сидел вот здесь же, на этой циновке. Он интересовался их жизнью, их трудностями. Обещал прислать в кооператив лекарства. Он тоже спрашивал, сколько деревьев спилили вьетнамцы. Он неосторожно пошел на прогулку, туда, где было минное поле. Его тело привезли к нам в село, и крестьяне дали одеяло, чтобы накрыть его. Его было очень жаль. Председатель просит вас быть очень осторожным во время прогулок.

Белосельцеву показалось, что последнюю фразу придумал Сом Кыт. Ее не было в ответе председателя. Но было невозможно проверить. Лицо Сом Кыта оставалось неподвижно-печальным, словно было отлито из коричневой бронзы.

— Я благодарю председателя за подробный рассказ, — сказал Белосельцев. — Если он не возражает, мы можем осмотреть село.

Они шли по деревне, вдоль домов, поставленных на высокие сваи, напоминавших скворечники, в которых обитали тихие птицы. Им встречались крестьяне, торопливо уступали дорогу, и на лицах было выражение робости и смирения. Жизнь, которая населяла деревню, казалась неполной, была лишена полноценных проявлений, словно это был госпиталь, в котором медленно выздоравливали пациенты и царил режим, ограничивающий обитателей от резких, опасных для здоровья изъятий.

Они шли мимо взорванной пагоды, древнего длинного храма, превращенного в глыбы развалин с остатками каменных игольчатых башенок, осыпающихся, размытых дождями фресок. Белосельцев видел маленьких будд с отбитыми руками, отколотыми носами, сидящих в терпеливых,

смиранных позах, напоминая больных на приеме в травматологическом пункте. Перешагивал каменные, красно-золотые обломки, с которых смотрели фрагменты лиц — то длинный карий глаз, не утративший всевидящей силы, то розовый, в мягкой улыбке рот. Остатки стен с выпуклыми драконьими и львиными мордами были иссечены автоматами, продырявлены залпами пушек. Должно быть, храм с его толстой кладкой и амбразурами служил опорной позицией. Во время боя был атакован, а затем, после взятия, разрушен зарядами тола. В его расколотой, открытой небу скорлупе наспех, из разломанных плит, соорудили алтарь. Маленький Будда, склеенный, с белыми швами на улыбающемся лице, словно перенес пластическую операцию, сидел среди курящихся палочек. Перед алтарем вместо жертвенных чаш стояли две латунные артиллерийские гильзы с букетиками вялых цветов. Вид этих гильз с заводской маркировкой, принесших гибель храму и поставленных на алтарь, больно поразил Белосельцева. Религия, которую здесь исповедовали, не знала понятия зла, не взывала к отшельничеству, отвечала на избиения и катастрофы тихим смирением.

— Он говорит, они ворвались сюда и перебили монахов, — переводил Сом Кыт, следуя за председателем, который осторожно обходил опрокинутую в траву лазурь и позолоту. — Раньше здесь жили сорок бонз. Теперь у них только один. Они встретили его случайно на дороге, пригласили к себе и кормят его.

Они приблизились к деревянному, на столбах, навесу, где в ряд стояли самодельные ткацкие станки. Женщины, похожие друг на друга своими позами, монотонными движениями рук, остановившимися, словно невидящими глазами, ткали полосатые полотнища, медленно льющиеся на землю сквозь деревянные части станков.

— Это вдовы, — тихо пояснял председатель. — Они

не могут заработать на хлеб тяжелым трудом в поле. Ткани отвозят на рынок в Баттамбанг, и их дети не голодают.

Тихо падали на серый земляной пол красные, черные, желтые полосы. Женщины казались околдованными, словно выпили дурманный отвар. Работали вслепую, во сне. Молодые и женственные, вплетали в разноцветные ткани свои вдовьи сны, тоску, одиночество. И тот, кто наденет одежды, сшитые из этих материй, вдруг испытает острый, больной ожог.

Его провели в просторное, крытое пальмовыми листьями помещение, где стояли железные, похожие на клетки кровати с тонкими, не скрывавшими сеток циновками. Множество детей, больших и малых, сидело на этих кроватях. Они держали на коленях миски, быстрыми щепотками хватали и ели рис. При появлении посторонних разом встали, воззрились чернильными вопрошающими глазами, словно ожидая, что их обидят, причинят им боль.

Все, кого он видел в поселке, производили впечатление людей, перенесших операцию, во время которой были ампутированы не руки и ноги, вырезаны не кости и мышцы, а какой-то невидимый, связанный с жизненной силой орган, и они, лишённые витальных сил, двигались осторожно, на ощупь, чтобы не упасть от бессилия.

Они шли мимо хижин, стараясь держаться в прохладе кокосовых пальм. Дома, сколоченные наспех из старых, кое-где обгорелых досок, были подняты на высокие сваи. Под ними, в тени, полуголые мужчины чинили деревянные бороны, сохи, смазывали дегтем двуколки. Белосельцеву казалось, здесь, в лачугах, среди дыма первобытных очагов, живет больное, израненное племя. Колеблется на пограничной, предельной черте, стремясь на ней удержаться, не растаять, одолеть свою немощь, ожить и воскреснуть. Это сражение за жизнь отражалось на сосредоточенном

лице председателя, во взглядах двух потных мускулистых мужчин, перетаскивающих изогнутую соху.

Он, Белосельцев, выполняя разведздание, оказался в зоне бедствия. Действовал среди людских несчастий и горя. Он не мог помочь людям, не мог вместе с ними выйти в поле за упряжкой волов. Не мог накормить детей, прижать к груди черноволосую детскую голову, рассказать им детскую сказку про кота Самсона, которую слышал от матери, восхищаясь и замирая от радости. Он добывал информацию о железной дороге, обманывал их, называя себя журналистом, пользовался их простодушием и доверием, чтобы вывести сведения о ремонте мостов. Но, действуя как разведчик, сберегая свои силы и волю для мучительной, невидимой миру работы, он старался помочь этим людям своим молитвенным страстным состраданием, желанием блага, помышлениями о добре, которое призывал в эти околдованные строения. Пытался своей молитвой разбудить это сонное царство, вернуть в него энергию жизни. И вдруг показалось, что это ему удастся.

Горласто прокричал во дворе петух. Выкатила из проулка, застучала тяжелыми ободами двуколка. Возница дружелюбно им поклонился. Волы, качая складчатыми отвислыми шеями, окатили их жарким запахом пота. За домами, где начинались поля, в стекленеющем воздухе люди копали водоемы — накопители дождевой воды. В пруду, в темной, маслянистой, как нефть, воде, спасались от зноя буйволы, выставив фиолетовые плоские спины, громадные полумесяцы запрокинутых искривленных рогов.

Они приблизились к облезлому двухэтажному дому, над которым в зелени пальм струился, шелкая на ветру, красный двухвостый змей, праздничное предновогоднее украшение из шумного блестящего шелка.

— Здесь хранятся семена для посева. — Сом Кыт, переводя слова председателя, казалось, тоже ожил. Его лицо

перестало походить на бронзовую маску, в нем появилось биение жизни. — Это, — он указал на дыру в кровле, — след от американской бомбы, когда они бомбили Камбоджу. Бомба не взорвалась, а только пробила крышу.

В помещении, на чистом, подметенном полу, стояли весы. Два крестьянина, взяв за углы дерюгу, бережно опускали на весы тюк риса. Весовщица двигала гирьками, старалась поймать драгоценное, ускользающее равновесие. Учетчик писал в тетрадь. Горстка риса, несколько зернышек, просыпалась на пол. Учетчик быстро, цепко, словно птица клювом, сощипал с пола зерна, кинул их обратно в тюк.

Белосельцев чувствовал сквозь мешковину дышащую белизну риса. Ему казалось, на этих драгоценных зернах, пронесенных сквозь бомбежки «летающих крепостей», пожары деревень, избиения землепашцев, на этих зернах тончайшим резцом записаны все обиды и беды, нанесенные народу. Но тем же резцом, той же искусной рукой начертан на зернах тайный рецепт исцеления. Брошенные в землю, они оплетут своими корнями могилы, уловят в легкие подземные сети все осколки и упавшие пули. Превратят былую боль и беду в хлеб насущный, в грядущие обильные урожаи.

Его окружили крестьяне. Он расспрашивал смуглых внимательных земледельцев о пахотных землях, о плодородии почв, о видах на урожай, о количестве рук и ртов, о тягловой силе и сохах, не преминув исподволь вновь разведать о работах вьетнамской армии, восстанавливающей мосты на дороге. Он выпрашивал, как далеко отодвинулся голод. В чем неотложно нуждается хозяйство для того, чтобы рис накормил общину и пошел на продажу в Пномпень, и сохранились ли на дороге товарные вагоны, в которых можно везти урожай.

Они завершали прогулку по селу. В конце улочки у дома он увидел тесно сдвинутую толпу. Подумал, что это митинг или богослужение. Люди, заметив председателя, рас-

ступились. На земле, в тени пальмы, на рассыпанной белой соломе лежала буйволица с огромным, вздутым горой животом, с дрожащим бугрящимся боком. Запрокинула слезную, глазастую морду, прижала мягкие уши. К рогам были подвешены маленькие бренчащие колокольчики.

— Будет прибавление стада. — Лицо председателя осветилось быстрой короткой улыбкой.

Люди, окружавшие телившуюся буйволицу, помогали ей чем могли. Когда она начинала дышать, вываливая язык, открывая желтые зубы, переводя дыхание в тягучий, страдающий, пересыпанный звоном бубенцов рев, женщины вместе с ней начинали стонать, причитать, словно брали на себя ее муки. Когда родовая судорога сжимала ее мышцы, катилась под кожей волной боли, мужчины напрягали плечи и бицепсы, словно отдавали ей свою силу. Девочка с тонкой шеей, та, что носила на поле страшную мертвую ношу, была теперь здесь, держала над головой буйволицы широкий лист, защищая ее от солнца. Мальчик, из тех, что был в сиротском приюте, откликался на звон бубенцов, гремел раскрашенным бубном. Здесь были и другие сироты, убежавшие со своих железных кроватей, и вдовы, оставившие свои горькие деревянные станы, и старый выбритый бонза в желтой хламиде с голым костистым плечом, длиннопалыми худыми ногами. Все ждали рождения теленка. Проснулись от больного сна. Связывая с его появлением уверенность в своем воскрешении.

Белосельцев молился, забывая, кто он и зачем приехал. Сливался в ожидании с толпой. Болел за них, за себя. Желал им и себе единого, общего блага. Смотрел на рогатого священного зверя.

Там, где розовели соски и струнно в сухожилиях натянулась нога, вдруг возникла голова теленка с розовым маленьким носом, слившимися золотистыми ушами, крохотные костяные копытца. Увеличиваясь, выскальзывая, вы-

падая на множество протянутых рук, родился теленок. Рев буйволицы, пересыпанный игрой бубенцов, слился с людским восхищенным гулом. Обнимались, пускались в пляс. Вдовы улыбались, охорашивались, оборачивались во все стороны. Сироты босоного топтались, норовя погладить теленка. Его положили на солому, к голове буйволицы, и та, изможденная, умиленная, отражая столпившихся людей сиренево-темным, слезно-блестящим глазом, лизнула теленка.

Председатель проводил их к машине. Положил на сиденье подарок — несколько зеленых кокосов.

Они пообедали в маленькой придорожной харчевне под открытым небом. Сидели за изрезанными щербатыми столами, пропитанными жиром и фруктовым соком. Наматывали на палочки нежные ворохи китайской лапши, отпивали из горячих чашек острый, переперченный красноватый отвар, похрустывая колечками лука. Солдаты штыками раскупорили подаренные кокосы. Сок был сладок, охлаждал обожженный лапшой язык. Белая неспелая мякоть напоминала вкусом русский лесной орех. Молодые солдаты, утолив голод, разрезвились, хохотали, подталкивали друг друга локтями, кидали обломки скорлупы в пальму.

Снова катили по дороге, напоминающей нескончаемую трещину. Белосельцев всматривался, не мелькнет ли где-нибудь поблизости железнодорожное полотно. У обочин глазели на их автомобиль дети, маленькие, голопузые, любопытные. Много детей, недавно народившихся. Семьи, поредевшие во время недавних побоищ, торопливо множились, плодились, отгораживались от перенесенных несчастий новой, не ведавшей этих несчастий жизнью. И не было видно стариков, не вынесших тягот: долгих маршей, каторжных трудов, болезней. Их, стариков, чьим присутствием дорожит и гордится любой народ, создаст теперь только время, состарив живущее поколение, накопив в нем заветы и заповеди, вернув нации мудрость.

Неожиданно рядом с шоссе возникла железнодорожная насыпь. Отделенная узкой зеленой ложбиной, желтела песком. Белосельцев жадно вглядывался, желая увидеть шпалы и рельсы, сетуя на ее недоступность, выискивая повод, который позволил бы сделать привал.

Машина вдруг встала. Шофер, огорченный, выскочил, полез под капот. Все остальные окружили его.

— Что стряслось? — Белосельцев смотрел, как шофер, обжигаясь о раскаленные элементы двигателя, просовывает вглубь руки.

— Говорит, что аккумулятор пустой, — сказал Сом Кыт, — надо толкать.

Водитель что-то сказал солдатам, уселся за руль. Солдаты налегли на пыльный торец, тяжело тронули упиравшуюся «Тойоту». Сом Кыт, выставив вперед сухие руки, пришел им на помощь. Белосельцев, выбрав рядом с ладонями Сом Кыта пустое, бархатное от пыли место, пристроился, надавил. Вчетвером они толкали машину. Белосельцев видел свои белые руки рядом со смуглыми Сом Кыта, мельком вглядывал в его близкое напряженное лицо, переводил взгляд на насыпь.

Машина не заводилась, и они, выбившись из сил, перестали толкать. Шофер снова возился под капотом.

— Теперь что? — спросил Белосельцев Сом Кыта.

— Говорит, что-то с подачей топлива. Может, вышел из строя бензонасос.

И первая мысль — удача, неожиданная остановка, и он ею воспользуется, подойдет к железной дороге. И вторая мысль — ловушка, Сом Кыт специально остановил здесь машину, искушает его, и, если он двинется к насыпи, его намерения будут разгаданы. И третья мысль — путь к насыпи заминирован, под ярким зеленым дерном вживлен фугас, где-то рядом в кустах притаился вьетнамец, стоит ему, Белосельцеву, ступить на траву, раздастся взрыв, и его

обезображенный, с переломанными конечностями труп понесут в машину. И четвертая мысль, отрицающая две последние, — он должен осмотреть колею на этом участке дороги, должен рискнуть и решиться.

Шофер рылся в двигателе, звякал ключами. Солдаты ему помогали. Сом Кыт отвернулся, рассеянно смотрел в сторону. Белосельцев, чувствуя, как не пускают его дурные предчувствия и страхи, как противятся его ноги, не желающие ступить на зеленую траву у обочины, как напряглись глаза в поиске измятых стеблей и листьев, потревоженных минером, — Белосельцев, тоскуя и мучаясь, сделал шаг за обочину. Медленно и лениво, как бы нехотя, как бы не зная, куда направит стопы, быть может, побродит у дороги и тут же вернется на трассу, Белосельцев двинулся в травы, чувствуя сквозь подошвы сырую мякоть земли, опасаясь, что нога его наступит на твердый, утопленный в грунт предмет и он еще успеет ужаснуться, прежде чем превратится в столб огненного дымы и пара, в которых улетучится его растерзанная жизнь.

Ему показалось, что маленький голубой цветочек на его пути был слегка примят, и он обогнул его, суеверно поблагодарил крохотное голубое соцветие за сигнал. В траве возвышалась черная кучка земли: то ли след землеройки, то ли небрежность установившего фугас динамитчика. Он обошел ее и опять, как язычник, поблагодарил невидимого подземного зверька, пославшего ему сигнал тревоги.

У насыпи, окруженной зеленью, сочился крохотный ручеек. Перескакивая его, Белосельцев успел заглянуть в его мелкое, светлое дно, спугнул с травинки прозрачную водяную стрекозу. Ее наивный, лучистый полет породил в нем забытое детское чувство — ручеек был похож на другой, подмосковный, на их давней даче.

Он одолел опасное пространство, в несколько сильных прыжков поднялся на насыпь, чувствуя крепкую, спрессо-

ванную плотность полотна, не размытого дождями и паводками. Сел на теплый зернистый песок лицом к шоссе, чтобы его могли видеть спутники. Сом Кыт издалека смотрел на него. Солдаты, встревоженные его удалением, держали автоматы, оглядывались, готовые защищать его от внезапного нападения. Он легкомысленно помахал им, успокаивая, показывая знаками, что вокруг все спокойно и мирно.

Колея уходила в обе стороны, прямо, просто, тронутая не ржавчиной, а словно смуглым загаром. Наружная плоскость рельсов была лишена металлического белого блеска, поезда давно не ходили. Однако ближайšie стыки были в хорошем состоянии, бетонные шпалы с металлической крепью были не разрушены, засыпаны ровным песком, начинали прорастать колкой кустистой травой. Он положил ладонь на нагретый рельс, металл был спокоен, без вибраций и гулов, излучал в ладонь ровное тепло. И его прикосновение улетело по смуглой металлической линии в бесконечность.

Он смотрел в пустую, с вонзившейся сталью даль, голубую и волнистую у горизонта. Одна половина его сознания непрерывно исследовала дорогу, фиксировала зазор на стыках, качество полотна, расстояние между шпалами, форму и конструкцию костылей, пропускную способность военных составов. А другая — изумленно пыталась осознать свое появление здесь, среди азиатских просторов, голубых пространств, среди заблудившегося остекленелого времени, в которое, как крохотный пузырек воздуха, запаяна его, Белосельцева, жизнь.

Он смотрел на близкий ручей, на желтое придонное дрожание песчинок, на слюдяное порхание стрекозки. И вдруг сладкое головокружение посетило его на безымянном километре азиатской дороги.

Из лучей, из блеска воды воссоздался забытый день. Мать с этюдником сидит на берегу заросшего пруда. Мокрый лист акварели повторил желто-белую, на той стороне,

усадыбу. Он застыл на бегу, поймав материнский медленно-грациозный взмах кисти, испытав к ней мгновенную нежность, любовь. Ему захотелось, чтобы она оглянулась, заметила в нем эту нежность. Кинул в воду камень и только испугал ее, раздосадовал.

Казалось загадочным, неслучайным его появление здесь, на этой дороге, уходящей в обе стороны, в бесконечность. Это был знак, метафора его длящейся жизни, от той неясной, не имеющей очертаний синевы, где он появился на свет, осознал себя, увидел впервые солнечное окно, висящего на кровати целлулоидного попугая, белое, чудное, как облако, лицо склонившейся матери, до другой, фиолетово-темной дали, где исчезают все очертания и находится его смерть, его последний вздох, последнее видение, после которого бездыханность, медленное остывание, холодная слеза в невидящих глазах.

Дорога, на которой он пребывал, на каждом малом отрезке была отмечена эпизодом его жизни, драгоценным исчезнувшим зрелищем — встреч, любовей, похорон и баталий. Вот он стоит во дворе московского дома в коротких штанишках и смотрит, как девочка играет в мяч, прыгает через звенящий, красно-синий, ударяющий в стену шар. Вот в училище, нервный и злой, он ложится в танковую колею, и стальная, окутанная гарью громада, страшно грохоча и сверкая, надвигается на него, сотрясает его ужаснувшееся сердце. Вот в Третьяковке он смотрит на рублевскую «Троицу», восхищаясь божественным цветом лазури, золотыми нимбами ангелов, шепчет слова бессловесной молитвы. Вот в душевной комнате, на растерзанной кровати, обнимает мясистое женское тело, грубо целует пьяный хохочущий рот, жирные сиреневые соски. Вот стоит с двухстволкой под прозрачной березой, под первой водянистой звездой, и в весенней заре, в ее длинной розовой проруби, возникает темная длинноногая птица. А вот идет по заснеженному кладбищу,

несет тяжелый сосновый гроб, из которого, среди мерзлых цветов, торчат борода и нос умершего деда.

Дорога была мерой его жизни, и то, что было справа, состояло из осуществленной ее части, из яркой канвы случившихся событий и дней, а то, что слева, — из невнятных бесцветных образов, в которые, как краска в пустые контуры, втекало его бытие.

Солнце палило. От воды и трав поднимались пряные испарения. Голова у него кружилась. Он поднял лицо к небу, где стояли белые, окруженные синевой облака и парила медлительная высокая птица. Ему казалось, что он не свободен, не одинок, не принадлежит самому себе. Является отражением чего-то недоступно-высокого, повторяет в своей земной жизни деяния кого-то другого, могучего и возвышенного, связанного с ним, как предмет и тень, слово и эхо. Над этой накаленной солнцем дорогой, с ним, одиноко сидящим, существует другая, небесная, проходящая сквозь облака и пространства синего воздуха, и на той дороге сидит человек, огромный, как облако, и его небесная судьба, его деяния и думы проявляются здесь, на земле, как стеклянный полет стрекозки, тепло нагретого рельса, его головокружение и печаль.

Ему вдруг показалось, что вдали, из фиолетовых тенистых пространств, там, где притаилась его отдаленная неизбежная смерть, надвигается прозрачный вихрь. Словно оттуда рванулся, стал приближаться, увеличиваться паровоз, окруженный жарким струящимся воздухом. Эта была его смерть, вызванная кем-то из отдаленного будущего. Стремительно надвигалась, готовая его истребить. И нужно вскочить, броситься с насыпи, освободить колею, чтобы дикие безымянные силы промчались, его не задев. Бесшумно налетели, ослепили прозрачным блеском, опрокинули душным обмороком. Окруженный бесформенным, прозрачно-солнечным вихрем, он потерял сознание.

Очнулся от прохладных капель воды. Над ним склонился Сом Кыт. Выжимал над его лицом мокрый платок.

— Вам лучше? — спросил он.

— Да, — виновато ответил Белосельцев. — Это от жары, перегрелся...

— Положите на лоб платок.

Белосельцев поднялся с насыпи. Держа на голове охлаждающий мокрый платок, двинулся к машине. Шофер исправил поломку. Они продолжили странствие. А он все не мог понять, что это было: духи войны, скопившиеся в приграничных джунглях, или дух его собственной смерти промахнулся, не сумел его истребить. Что это было — безымянное, раскаленно-прозрачное, грозно пронеслось по железной дороге, опрокинуло его навзничь?..

Глава пятая

Виктор Андреевич Белосельцев смотрел на черный телефон, стоящий на тумбочке, надеясь, что вот-вот квартиру огласит долгожданный звонок. Соединит его дом тонкой звенящей струной с сияющим удаленным овалом света, в котором, как в зеркале, отражается ее лицо, и он услышит ее милый, чуть задыхающийся от волнения голос. Но телефон молчал второй день, и это угнетало Белосельцева. Угнетало молчание телефона, и само это непрерывное ожидание, и нелепость, почти неприличие этого ожидания, делавшего его смешным в собственных глазах. Он ядовито смеялся над собой, смотрел на старомодный телефонный аппарат, напоминавший маленького черного слоника, и ждал.

Два раза в день он менял воду в вазе, где стоял подаренный ею букет. Вынимая цветы, он погружал лицо в розовые флоксы, в большие бело-желтые ромашки и вспоминал, как они плыли на речном трамвайчике мимо латунного Пет-

ра и она углядела на носу корабля едва заметного золоченого орла. Он наполнял вазу свежей водой, осторожно погружал зеленые черенки букета, поправлял непослушную ромашку, свисавшую к столу, и вспоминал, как они качались в ладье и ладья вдруг оторвалась от своих крепей и поплыла в свободном парении над черно-сверкающей, бело-золотой Москвой.

Он доставал из шкафа носовой платок, который она ему вернула, подносил к губам, вдыхал исходивший от ткани тончайший запах духов, а потом, спохватившись, сердито прятал платок в шкаф.

Он не мог понять, что произошло в его жизни, какие перемены внесла в его одинокое, устоявшееся бытие девушка Даша со странной фамилией Княжая, похожей на название среднерусской речки, притока Оки или Камы. Он не знал о ней почти ничего, только то, что у нее есть мать, годившаяся ему в дочери, что у нее нет отца, что ее любимый дед умер и она провалилась на экзамене в университет. Погоревала, попала в конфузную историю с двумя безобразниками, напоившими ее джином, и с этого конфуза началась история их отношений.

Он не мог объяснить, что значила для него их встреча — прогулка по реке, катание на карусели, несколько запомнившихся фраз. Но возникло ощущение, что в его жизни начались необъяснимые пугающие перемены, сулившие то ли радостную небывалую новизну, то ли разочарование и позор.

Общение с ней было затруднено, почти невозможно. Они были разделены жизнью двух поколений. Его опыт, в котором была запечатлена исчезнувшая эпоха, был ей не нужен. Вектор его жизни шел круто вниз, входил в свой последний, завершающий отрезок, который он хотел посвятить выяснению, будет ли продолжена жизнь после смерти, и если да, то как соотносятся эти две жизни, разделенные

смертью. Для выяснения этого он обложился трудами философов, перечитывал священные тексты, соотносил прочитанное с тем, что испытывал сам, скитаясь по воюющим континентам. И вдруг появилась Даша, повела его в иллюзорный, с мигающими огоньками мир, где брызнула ему в глаза разноцветной водой из фонтана, и он ослеп для реального мира, прозрел для другого, нереального, сказочного.

Он знал, что это краткосрочный обман. Что цветная вода, которую она плескала на него из фонтана, скоро погаснет и высохнет. И надо поскорее пойти в гараж, вывести тяжеловесную старомодную «Волгу» и, прихватив стопку книг, уехать на дачу. Поливать цветы, смотреть на звезды, отыскивать в священных текстах образы рая и ада, а о случившемся поскорее забыть.

Но он оставался в Москве, мучился, сердился. То и дело взирал на черный, похожий на слоника телефон, ожидая, когда раздастся звонок.

Звонок раздался в дверь. Она стояла на пороге, веселая, возбужденная, с распущенными, блистающими, как стекло, волосами, в короткой розовой маечке, открывавшей загорелый живот с маленькой выемкой пупка, в короткой юбке, не прикрывавшей выпуклые смуглые колени. В руках у нее была пластмассовая бутылка с зеленым, как фонарь, напитком, которым она потрясала, словно выиграла его на приз.

— Не могла позвонить, Виктор Андреевич, не нашла жетона, — сказала она легкомысленно, входя и оглядывая прихожую, коридор и его, пропустившего ее через порог, как нечто, уже ей знакомое, не требующее пристального изучения и внимания. — Вчера был такой суматошный день! Мама устраивала вернисаж, открывала выставку, и я ей помогала. Эти художники такие капризные, мнительные. Их нужно ублажать, не дай бог, что-то не так. Рама не та, или текст написан не тем слогом, или вино на фуршете не то. Могут устроить целое представление. Бедная мама так от них

устала! Но я с ними не церемонюсь. Я с ними очень строга. Давайте, Виктор Андреевич, выпьем этот напиток!

Она сама достала из шкафчика стаканы, раскрыла пластмассовую бутылку, налила в стаканы светящееся, в пузырьках, зелье. Протянула ему стакан. И он, любуясь тем, как она пьет свой сладкий, пахнувший мылом напиток, как вздрагивает от глотков ее загорелый живот, простил ей свои тревоги и муки. Радовался, что она, похожая на энергичную шумную птицу, опять залетела в его дом.

— А вы любите художников, Виктор Андреевич? Любите живопись?

Нет, он не станет ей отвечать. Не станет назидательно, тоном утомительных и печальных воспоминаний, с видом умудренного, повидавшего мир человека, с пресыщенностью и превосходством прожившего век старика рассказывать, как на Прадо видел Эль Греко, Веласкеса, Гойю, как в Антверпене рассматривал Грюневальна и Дюрера, как в Уффици наслаждался Чимабуэ и Фра Беато Анжелико, как в Париже созерцал Тициана и Рафаэля, — драгоценный, доставшийся ему опыт, сравнимый со зрелищем мировых океанов, великих хребтов и рек, великолепных ландшафтов Африки, Америки, Азии, творений Господа, выставленных перед ним чьей-то щедрой рукой. Нет, он не станет разглагольствовать о произведениях Сикейроса и Диего Риверы, которыми восхищался в Мехико, или Пикассо и Сальвадора Дали, перед которыми простаивал в музеях Барселоны и Рима.

— Я очень давно не был на выставках, — ответил он. — Мало кого знаю из современных художников. Что бы я посмотрел с удовольствием, так это русский авангард двадцатых годов. Но где же его посмотреть?

— Как?! — изумилась она. — В Москве открыта великолепная выставка русского авангарда! Вчера о ней художники толковали. Давайте пойдем! Прямо сейчас!

Он знал, что волшебство продолжается. Еще минуту назад не было никакой выставки, но при первом его желании, как в сказке про «семерых в торбе», расторопные молодцы, запахнув армяки, затянув кушачки, развешивают в просторных прохладных залах картины в золотых рамах, и вот уже висят, поджидая его, Кандинский, похожий на цветущую ягодную поляну, Шагал с петухами, несущими на спине жениха и невесту, Татлин со своей деревянной птицей, похожей на летающий арбалет, с витой металлической башней, напоминающей «американские горки».

— Сейчас так сейчас. Идемте, — повиновался он ее искрящейся, радостной воле.

Они добрались до Крымской набережной, где в пекле рыжего, сгоревшего сквера Дом художника казался раскаленным добела асбестовым тиглем. Деревья со свернувшейся испепеленной листвой были окружены прозрачным синим пламенем. Среди этих деревьев и рыжих трав, как погорельцы, стояли скульптурные группы, оставшиеся от минувшей эпохи. Сталевары, шахтеры, строители спутников, солдаты непобедимой армии танцевали балетный танец среди рыжей пустыни сгоревшей империи. Каждый из них был охвачен прозрачным больным свечением, перед тем как расплавиться и исчезнуть.

Но в Доме было прохладно, безлюдно. Просторные залы были полны прозрачного белесого света, какой бывает в зимние тихие полдни.

— Где люди? Где поклонники красоты и искусства? Они толпятся на вещевых рынках, глазают в телевизоры или с утра до ночи разговаривают по телефонам. А здесь пустынно, как в храме, оставшемся от исчезнувшей веры! — Она произнесла это с печальным глубокомыслием, и он не мог понять, шутит она или нет. Глаза ее были светлы, зелены, в них начинали переливаться отражения развешанных по стенам картин.

Перед входом в зал она скинула туфельки и вошла босая, как входят в храм. Туфельки остались стоять у порога, а легкие босые стопы заскользили по чистому полу.

— Я люблю Петрова-Водкина. Мне кажется, он не умер, а все еще живет среди нас. Наблюдает за тем, как мы любим его живописью. Во всяком случае, он верил в бессмертие.

Эти ее слова поразили его. Он почувствовал нечто подобное, когда приблизился к первой картине и стал всматриваться в ее синеву. Даша неслышно подошла босыми стопами и, угадав, произнесла вслух его мысли.

Среди синих речных разливов, на берегу бескрайней русской реки, истекающей из Мироздания, на высоком русском холме, что выше Гималаев, откуда видны отдаленные пространства Вселенной, сидит русская женщина с чудным младенцем. Мать Мира, его хранительница, Берегиня, среди серебряных русских изб, в которых обитают спокойные сильные люди, знающие о Рае Небесном. Россия, с ее волей и ее красотой, с ее таинственной дивной лазурью, и есть преддверие Рая, указывает на вечную жизнь, на течение вечной реки, у которой поселился народ, из которой пьет светлоликая русская Мать, питающая грудью младенца.

Так понимал он картину, где верящий русский художник поведал о существовании Рая. Долго не мог оторваться от цвета, который бывает в мартовских голых вершинах, которым на иконах пишутся крылья ангелов, который темными волшебными струями растекается в русских северных реках.

— Я повезу вас к себе на Оку, — сказала она. — Там у нас дача. Вода такого же синего цвета.

Он не ответил, но радостно и удивленно подумал: она верит в продолжение их отношений, в возможность их совместной поездки. И еще — река Княжая, текущая среди холмистых полей, должна быть такой же чудесной синевы.

Белесые южнорусские горы. Красногвардейцы идут в

атаку. Легкие тучки шрапнелей. Комиссар убит наповал. Упала на землю винтовка. Отряд удаляется, штурмует село. Друг комиссара оглянулся в последний раз. Нет времени подойти и проститься. Последний бой отделяет бойцов от Рая. Последние праведники падают на русскую землю. В Раю они все сойдутся, все обнимут друг друга. Комиссар, офицер и юнкер. И Ангел над каждым зажжет золотое сияние.

Эта картина атаки была не батальной сценой, а житием святого, поправшего смертью смерть. Русский воин, возмечтавший о Рае, отдал душу за други своя и обрел свое место в Раю. Отряд, в обмотках, шинелях, под тучами дикой шрапнели, уходит на небо. Смысл бытия — в стремлении к небу, в обретении русского Рая, где пуля обратится в свечу, рана — в алую розу, шинель — в белоснежную ризу.

— Вы — военный? Не знаю, почему я решила. В вашем доме нет ничего, что выдавало бы в вас военного. А сейчас, когда вы смотрите на картину, я вдруг решила.

— Как-нибудь я покажу вам мой генеральский мундир. Вы наденете не мой махровый халат, а генеральский китель. Он вам будет к лицу.

— Вот видите, я угадала!

Она угадала его тайные тревоги и муки и привела сюда, в белоснежный зал, где висят картины, каждая из которых есть окошко в Рай. Из этих окон льются в зал таинственные светлые силы, соединяющие бренную жизнь с той, что откроется после смерти. Она, Даша, подвела его к этим окнам, откуда сквозь бирюзово-синие, розово-белые шторы веет дуновение райских садов.

«Спасибо тебе», — подумал он, глядя, как бесшумно перебегают ее легкие босые ноги. Следовал послушно за ней.

Красный конь врывается в синие воды. Наездник золотой и волшебный. Повод отпущен. Синева ослепительна. Волшебные очи наездника. Ярые очи коня. Каждая мышца всадника звенит, как золотая струна. Могучие мышцы коня

гудят, как алый колокол. Россия бессмертна. Синева бездонна. Жизнь начинается на земных зеленых лугах и уходит в луга небесные. Судьба начинается на земных озерах и реках, погружается в лазурь бесконечную. Радость мира. В центре Вселенной — Алый Конь. В центре мироздания — русский Отрок, взлетевший на спину Коня.

Так чувствовал он любимую с детства картину. Всю жизнь он скитался по чужим пространствам и весям, искал разгадку мира на полях мировых сражений, в храмах у чужих алтарей, в каменных лицах чужих богов. А отгадка — здесь, в этом чистом прохладном зале, куда она его привела. Поставила перед русской картиной, на которой — красный конь, золотой прекрасный наездник. Указала — здесь отгадка, в России. Здесь Рай и бессмертие. Жизнь вечная.

Он слышал, как с легким стуком приближаются ее босые стопы. Сейчас она подойдет, возьмет его за руку, они перешагнут деревянную раму, словно низкие прясла, и пойдут по зеленому лугу к лазурной воде, по которой бежит стеклянная волна от коня. Он, молодой, исполненный сил, золотой, как слиток, сидит на горячей конской спине, плывет в сияющих водах.

— Мне кажется, красный конь — это сам художник. А всадник у него на спине — это его судьба! — сказала она. И он испугался того, что услышал. Подумал, эта юная женщина, почти еще девочка, знает больше него. Появилась с ним рядом, чтобы передать ему огромное знание. И он либо примет, прозреет, либо пропадет в слепоте.

Они переходили из зала в зал. Его впечатление от картин усиливалось. В простых деревянных рамах, наполненные перламутром, где преобладало синее, золотое и алое, они являлись окнами, сквозь которые был виден райский мир. Русские художники, как ангелы, имели вход в этот мир. Рассказывали земным обитателям, как он устроен, ка-

кого цвета райское небо, как выглядят райские кущи и кто они, эти праведники, снискавшие райскую жизнь.

У картин Гончаровой, на которых изображались труды людские, он испытал счастливое озарение, догадавшись, что эти труды совершаются не на земле, а в Раю. Рыбаки, гребущие в лодке, толкающие ее темными веслами, кладущие на дно серебряные рыбины, плыли по райским водам, держали в руках райских рыбин, и ветлы, стоящие по берегам, были неземного сиреневого цвета, ибо соки, бегущие в их корявых стволах, были светящиеся соки вечной жизни, неподвластные тлению.

Собиратели хвороста, согбенная старуха и отрок, среди серо-белой зимы, с пучками заиндевелых прутьев, собирали этот хворост в райском лесу, о чем говорили высокие, усыпанные белыми морозными звездами деревья. И если раздвинуть их замороженные хрупкие кроны, то среди этих огромных чудных снежинок увидишь райскую птицу.

Сбор урожая, которым на полях были заняты крестьяне с серпами, проходил в Раю, ибо только там был возможен этот золотой, тяжелый, теплый воздух, наполненный ароматами осенних цветов, перезрелой пижмы, горькой темной полыни. Только там были возможны тяжелая синева бабьих сарафанов и красный огненный цвет мужицких рубах. Нагруженные снопами телеги мерно скрипели, обода деревянных колес утопали в нагретой пыли, и житница, куда свозили снопы, была житницей Рая, и снопы, похожие на церковные золотые шатры, были урожаем, собранным Господом Богом.

Собирание яблок с отягченных темно-зеленых деревьев, к которым тянулись женские руки, розово-смуглые от загара, хватали плоды, горящие, как фонари, и ладонь, ухватившая яблоко, светилась мягким золотом, словно держала лампаду, — этот сбор совершался в райской роще праведниками, всю земную жизнь скитавшимися по войнам,

закрывавшими глаза убиенным, целующими последним поцелуем уста раненых и смертельно больных. Это он, Белосельцев, подставляет ладонь золотому яблоку, висящему, как светило, среди синей листвы. Это он кладет сорванный плод в корзину из прутьев, и яблоко светится в глубине, как таинственное светило.

И последняя в этом ряду картина — павлин с огненным распущенным хвостом, брызгами изумруда парящий в мерцающей черноте, в центре Вселенной, как ее живая райская сущность. От этого павлина, от его красоты, от мановений огненного тугого хвоста родились планеты и луны, звери и птицы, мужчины и женщины, воздвиглись соборы и храмы, мироздание наполнилось творением и жизнью. Эта вещая небесная птица и была Божеством, породившим Вселенную. В Стамбуле, в куполе византийского храма, где грозно из блестящей мозаики смотрел Пантократор, мог бы красоваться этот вещий павлин как одно из воплощений Божиих.

— У наших соседей на даче жил павлин, — сказала Даша задумчиво. — Я его хлебом кормила.

Он был благодарен ей за это сообщение. Павлин, которого она кормила хлебом, был не обычной птицей, а посланцем Рая. Как и сама она, стоящая перед ним босиком, ухватившая губами дымчатый завиток своих длинных волос.

Открытие, совершенное с ее помощью, состояло в том, что истина, за которой он гонялся всю жизнь, пересекая океаны, сжигая топливо в баках кораблей, самолетов, касаясь ногой чужих континентов, — эта истина находилась здесь, в России. И надо было прожить долгую, полную заблуждений жизнь, чтобы в конце концов ее обнаружить. Истина сводилась к тому, что после смерти, мимолетного мгновения тьмы, наступает ослепительный свет, как на картинах Гончаровой и Петрова-Водкина. Этот свет есть радость и вечная жизнь, и эта вечная жизнь открыта людям в России ангелами, русскими художниками. Сама Россия

есть область Рая, куда проливается немеркнущий свет. И все напасти и тьма, все ужасы, случившиеся за последние годы с Родиной, — не более чем наваждение. Оно тут же кончается, когда красный конь врезается в лазурные воды, когда малиновый павлин взлетает в черное небо, раскрывает в ночи огненно-перламутровый хвост. Россия бессмертна, и он, ее малая часть, бессмертен. Это знание дала ему девушка, приподнявшаяся на дыпочках, словно желающая заглянуть за деревянную раму, за край голубого, открытого в Рай окна.

— Мне кажется, Москва построена по эскизам Лентулова, — сказала она, когда они перешли в соседний пустынный зал с дремлющей старой смотрительницей. — Основатель Москвы — не Юрий Долгорукий, как принято считать, а Лентулов.

И тут она была права, эта милая девочка, пришедшая к нему утром с флаконом зеленого сиропа, ухватившая эту бутылку, как ребенок — целлулоидную погремушку.

Огромная картина, полная света и ветра, словно гудящий проем на колокольне Ивана Великого, из которого несется ликующий звон, разносятся цветные удары. Удар — красный шар звука плывет над Москвой. Еще удар — золотое солнце всплывает. Удар — и зеленый, круглый, как холм, звук катится над рекой. Звонарь невидим. Гуляет в проеме световой луч. Качаются тугие веревки. Колышется край литого колокола. Цветные звоны, как огромные сосуды света, выливаются на Москву. Возвещают о близком чуде — Христос на белом осляти въезжает в изблюбленный град. В Москву вернулся Спаситель. Здесь ждет его избранный христовый народ, который его не распнет, не побьет камнями, а долгие тысячи лет терпел за него, выносил невыносимые муки, горел в горячих пожарах, ждал, выкликал. И дождался. Звонарь вызывает чудесное его приближение. Под ноги осляти стелют красные ковры, сы-

плюют зерно, мечут серебряные звонкие деньги. Кидают цветы, конфеты и пряники. Погремушки, румяные бублики, цветные ленты. Христос въезжает в Москву, в белой домотканой рубашке, с голубыми глазами, в венке полевых ромашек. Держит певучую пастушескую свирель.

Так чувствовал Белосельцев картину Лентулова, помещая себя среди московских ликующих толп, над которыми, словно цветные аэростаты, плывут шары колокольных звуков. Здесь, в Москве, совершится близкое чудо, состоится долгожданное Второе Пришествие. Нет на земле такого другого места, куда бы стремился Христос. Белосельцев в своей слепоте искал это место в африканских джунглях, среди каменных исполинов Манхэттена, в стреляющих саваннах Америки, у Великой Китайской стены. А нашел здесь, в России, в Москве. Эта девочка пришла к нему в дом, тихо сказала: «Пойдем». Привела к зеленым кремлевским холмам, на которые по световому лучу спускается Сладчайший Иисус. Предтеча, незримый звонарь, возвещает его приближение.

Другая картина, в продолжение первой. Храм Василия Блаженного, мимо которого день назад они проплывали на речном трамвайчике, и она, увидев на черной брусчатке стоглавый, стоцветный собор, сказала: «Он как букет».

И впрямь как букет, тот, что стоит у него на столе. Малиновые чертополохи. Красные дикие маки. Золотые шары. Цветные горошки. Полевые кашки. Тысячелистник. Зверобой. Тяжелые пышные мальвы. Лесные гераньки. Золотые подсолнухи. Все перевито, дышит, благоухает. Клумба, посаженная волшебным садовником посреди Москвы. На эту клумбу, на каменные цветы, на благоухающие лепестки, на запах меда, на колокольный звон летит из неба огромная чудесная бабочка, Спаситель Мира, русский Бог, выбравший для своего приземления не космодром в казахстанской степи, не стогны европейских столиц, не заостренную готи-

ку Кёльна, не пагоды Индии, не мечети Аравии, а Москву, Васильевский спуск, храм Василия Блаженного, восхитительную клумбу, к которой из мироздания приближается волшебная бабочка.

Белосельцев чувствовал себя счастливым, верящим, одолевшим страхи и немощи. Его Родина была непобедима. Его народ был бессмертен. Сам же он завершил унылые опустошительные странствия и обрел наконец веру в Добро и Бессмертие.

— А вот знаменитый «Черный квадрат» Малевича. Интересно, что вы чувствуете, когда на него смотрите? — Они перешли в следующий зал и остановились перед небольшой, висящей особняком картиной, на которой мрачно красовался черный бесцветный квадрат. — По-вашему, это загадка или отгадка?

Для него больше не было загадок. Главное открытие, которое он только что совершил, состояло в том, что смерти нет, а есть Жизнь Вечная, переход из конечной земной жизни в Жизнь Райскую, бесконечную. В земной жизни существуют земные рыбные ловы, земные лодки, ловцы, земные серебряные рыбины, выхваченные из студеной беломорских глубин. А в Жизни Райской существуют райские лодки, райские сети и ловцы, райские сияющие рыбины, выловленные в прохладных лазурных райских морях. Черный квадрат был кратким, в доли секунды, мгновением, отделяющим земную жизнь от Жизни Вечной. Диафрагмой фотоаппарата, закрывшей на миг лучистую энергию, пролетающую сквозь хрустальный объектив мироздания. Художник успел зарисовать этот миг черноты, успел уловить падающую бесцветную диафрагму. По ту сторону черного квадрата находится Рай, огромное, отяжелевшее от плодов сине-зеленое дерево, девушка Даша с босыми ногами встает на цыпочки, тянет руку в листву, и антоновское яблоко сияет в ее ладони, как золотой фонарь.

Он сказал ей об этом. О земной жизни и о ее продолжении — Русском Рае.

— Когда у мамы в альбоме я увидела этот «Черный квадрат», я испугалась, — сказала Даша, задумчиво разглядывая картину. — Мне показалось, что я снова вижу мой детский сон. Когда я болела, подымался жар, я начинала бредить. Этот бред был черным квадратом. Он выплывал из красного, горячего и вставал передо мной. Это было ужасно. Мне казалось, что за ним скрываются какие-то страшные существа, приблизились ко мне, к моей подушке, голове. Сейчас квадрат отодвинется, и они всем своим огромным, страшным, до неба, клубком кинутся на меня. Когда я сейчас смотрю на него, я вспоминаю мой детский бред. Мне кажется, за этим черным квадратом находится ад. Это крышка, привинченная черными железными болтами. Если отвинтить их и отодвинуть крышку, оттуда начнет выдавливать ядерная ракета, разразится мировая война, случится авария на атомной станции, вылетят ужасные, уничтожающие людей эпидемии или выйдут в мир настоящие адские силы, хвостатые, рогатые, кольчатые чудовища. Кинутся на нас и разорвут.

Белосельцев посмотрел на нее изумленно. На ее близкое молодое лицо, свежие губы, нежную, чуть загорелую шею, на хрупкие плечи, по которым рассыпались легкие, стеклянные волосы, словно в них застыла волна света. Эта босоногая девушка с зелеными, солнечными глазами знала нечто такое, что испугало Белосельцева. Это «нечто», пугающее, недетское, не дающееся опытом, а врожденное и вмененное, притаилось в ней, существовало среди ее легкомысленных желаний и шалостей, ее прелести и веселья. И когда-нибудь оно проявится. Она почувствует страшное напряжение мира, у черного квадрата сорвутся заклепки, срежется резьба у болтов, люк отодвинется, и оттуда прыгнет сонмище ада. Растерзает это нежное тело, выдернет с

корнем стеклянные волосы, вырвется из розовых губ страшным, нечеловеческим криком.

Картина, небольшая, невыразительная и невзрачная, висела перед ним в пустом зале. От времени небрежно положенная краска растрескалась. Казалось, квадрат вспучен и впрямь удерживает страшное, по ту его сторону, давление. И лучше не стоять поблизости, убрать от этого черного квадратного люка свое лицо, свои глазницы, свое дышащее сердце.

— Пойдемте туда, к тем купальщицам, — увлек он ее к золотистой картине, на которой две обнаженные женщины смотрели на воду, на свои золотые отражения.

Когда они вышли из зала, был жаркий московский вечер, душный, с запахом бензина, духов, тяжелых разомлевших цветов в каменных вазонах, воды, плещущей из шланга на пыльный горячий асфальт. Воздух, густой, воспаленно-красный, был как загар на коже, который хотелось полить из толстого стеклянного графина, проводя булькающей горловиной по обгорелым плечам и груди. Но уже начинали мерцать вечерние фиолетовые отсветы, словно крылья бабочек-переливниц. Водянисто вспыхивали хрустальные фары автомобилей. В подворотнях, под горячими иссушенными деревьями ложились синие тени. И все дневное солнечное золото перемещалось вверх, к крышам, водосточным трубам, церковным крестам, и в гаснущем зеленеющем небе жарко, как пожар, пламенело чердачное окно.

— Настало время поужинать, — сказал Белосельцев, проводя Дашу под темной липой, где у корней образовалось маленькое желтое озеро из опавшей листвы.

— Настало для этого время, — согласилась Даша, обводя его вокруг плещущей водяной розетки, брызги от которой падали в душистые белые табачи.

Он привел ее в закрытый клуб дизайнеров, где у него был знакомый администратор и куда очень редко он прихо-

дил отведасть грузинской кухни. Администратор, величественный, любезный, с легким поклоном пропустил их в прохладный холл, едва заметным деликатным взглядом поздравляя Белосельцева с его прелестной молодой спутницей.

— Вы давно у нас не были, Виктор Андреевич. Должно быть, находились в каком-нибудь путешествии?

— В очень длинном и опасном, — усмехнулся Белосельцев. — Страна, где я был, называется «хандра».

— Со счастливым возвращением из этой страны, — едва заметно улыбнулся администратор и снова мимолетно, насколько позволяли приличия, посмотрел на Дашу. — Поужинаете у нас?

— Если ваш повар Гиви все еще делает свои изумительные хинкали.

— Гиви делает хинкали. Шашлык на ребрышках изумителен. Лаваш теплый и свежий. Вино из Кахетии. К тому же здесь, в очень узком кругу, проходит смотр моделей. Вы можете утолить аппетит и одновременно познакомиться с коллекциями знаменитого кутюрье.

С администратором их когда-то свела судьба в Никарагуа, где оба, по разным программам, выполняли деликатные поручения. Встречались на вилле у общих друзей. Пили в фиолетовых сумерках «Рон де Канья», глядя, как желтеет латунная заря над Кордильерами, и в углу, у портьеры, стояла американская винтовка М-16.

Администратор величаво и любезно провел их в ресторан с балюстрадой, под которой, ярусом ниже, находился зал для просмотров, длинный подиум, похожий на взлетное поле, ряды кресел, в которых сидели зрители, пестрели букеты цветов, мерцали бело-голубые вспышки фотокамер.

— Отсюда вам будет удобно смотреть. Но при этом ничто вам не будет мешать, и вы сможете наслаждаться обществом друг друга. — Администратор усаживал их за стол, предупредительно отодвигая стул перед Дашей, и та

благодарно ему улыбнулась. Он растворился в бархатных сумерках, и его тут же сменил официант, с полупоклоном положивший перед ними ресторанные карты в кожаных тисненых паспорту, похожие на древние фолианты.

— Посмотрим, что написано в этих священных книгах. — Белосельцев развернул тяжелый складень, где названия блюд были выведены золотом на толстой, как пергамент, бумаге, и впрямь напоминавшей летопись с узорными буквицами. — Такое количество грузинских слов на такой хорошей бумаге я видел только в юбилейном издании «Витязя в тигровой шкуре».

Она, повторяя его движения, похожая на прилежную ученицу, изучала меню. Глаза ее были круглые, брови приподняты, рот слегка приоткрыт, словно она учила урок.

— Мне здесь нравится все, особенно название трав. Это напоминает учебник ботаники.

— Выберем что-нибудь из раздела ботаники. Из раздела зоологии. И из раздела сухих кахетинских вин. — Движением глаз он вызвал из сумерек официанта, который, не переспрашивая, мерцая золотой ручкой, принял заказ. — Теперь же у нас есть несколько свободных минут, и мы предадимся созерцанию.

Внизу, у подиума, было немногочисленно, и это означало, что собрался ограниченный, избранный круг почитателей кутюрье. Их избранность, аристократичность проявлялись в особом стиле общения. В объятиях, поцелуях, в нарочитом позировании перед фотокамерами, в слюдяном блеске женских украшений, в небрежной красоте мужских костюмов, в едва заметном мерцании серебристой пыльцы, которой все они были посыпаны. Подиум был пуст, озарен лампами, как операционный стол. Вокруг него, готовые для поздравлений и славословий, краснели букеты роз, искрились фотообъективы.

— Они похожи на красивых рыбок в аквариуме, —

рассматривала их Даша. — Они никогда не видели океана, их вывели в искусственных условиях. Если их лишить аплодисментов, букетов и поздравлений, они сразу погибнут. Поаплодируем им! — Она негромко захлопала в ладоши, и на ее лице появилась милая смешная гримаса.

Он согласился с ней. Согласился рассматривать их как экзотических существ, чье хрупкое пребывание в мире сводилось к тому, чтобы придавать этому миру легкость, непрочную красоту, краткосрочную необременительную нарядность. Их эфемерное поблескивание и трепетание напоминало танец полупрозрачных насекомых, толпящихся под ночным фонарем. Он был благодарен Даше за это определение. Был благодарен им за их хрупкий непродолжительный танец.

Среди зрителей выделялся сам кутюрье, по обилию окружавших его букетов, по частоте мерцающих вспышек, по траекториям подходивших гостей, спешивших принести ему дань поклонения. Маленький, почти лилипут, с большой улыбающейся головой, где толпились непрерывные образы, которые он воплощал в шелка, меха, драгоценные ткани, расписные материи. Он был всегда неприятен Белосельцеву, раздражал своим жеманством, болезненной женственностью, тончайшим пороком, который изливался из создаваемых им коллекций. Сами коллекции казались непрерывно рождавшимися, искусственно синтезированными формами жизни. Едва родившись, тут же умирали, не способные излететь из-под аметистовых прожекторов во внешний мир, где шли сражения, возводились города и заводы, взлетали самолеты, бурлили революции и восстания. Казалось, кутюрье был сочной, выкормленной калорийным нектаром маткой, которая, поводя своим толстеньким чутким тельцем, непрерывно откладывала яички. Из них, под воздействием влаги, тепла и света, выводились прекрасные однодневки. Вылетали в озаренный воздух и тут же, соприкаса-

ясь с миром, умирали, устилали подиум прозрачным сором опавших крыльев.

Теперь же Белосельцев не испытывал к нему антипатии. Напротив, был благодарен за то, что этот маленький изящный человек, с тяжелой, глазастой, как у бабочки, головой, милостиво согласился развлечь его и Дашу. Доверчиво, надеясь на их доброжелательное отношение, готовился показать свое сокровенное творчество.

— Как бы мне хотелось послушать, о чем они говорят, — сказала Даша. — Должно быть, комплименты друг другу. Скажите мне комплимент.

— Вы молодая, красивая и очень чуткая. Мне кажется, вы знаете так много, мне у вас хочется учиться. Вы мой учитель, а я ваш смиренный и преданный ученик.

— Вот если бы принимали меня в университет вы, а не тот ограниченный черствый сухарь, который требовал одни даты да имена князей и царей!

Им принесли вино. Официант показал Белосельцеву черную, с красно-золотой наклейкой бутылку кахетинского. Крепко, быстро ввинтил штопор. Ухватил бутылку белоснежной салфеткой. Ловко и картинно откупорил ее, показав Белосельцеву розоватую, пропитанную винными парами пробку с фирменным темным тавром. Легонько плеснул вино на дно круглого бокала. Белосельцев, следуя ритуалу, со всей серьезностью отпил терпкий душистый глоток. Удовлетворенно кивнул. Только после этого официант осторожно, словно драгоценный светильник, понес бутылку над столом. Наполнил два бокала, стряхнул на салфетку розовую, расплывшуюся каплю.

— За что мы выпьем? — спросила она, поднося круглое стекло к лицу, вдыхая витающий над бокалом аромат.

— За нечаянную радость. — Он приблизил свой стеклянный наполовину наполненный шар к ее стеклянной сфере, в которой, черно-красное, качалось вино. — Ничто не

предвещало вашего появления. Жара, тоска. Москва, как пустыня Калахари. И вдруг вы, будто чистый дождь.

— Сегодня будет дождь, — сказала она, чокаясь с ним, дожидаясь, когда улетит легкий, стеклянный звук. — Я чувствую, будет дождь.

И уже несли блюда с пышной зеленью, фиолетовыми сочными травами, голубыми, воскового цвета стеблями, на которых, словно плюмажи, кудрявились душистые листья. Им сопутствовали горячие, пахнущие овечьим творогом хачапури, острые, с огненной приправой, сациви, белые, гладкие, окутанные паром и мясным духом хинкали, теплый слоистый лаваш. И где-то в глубине бархатных сумерек, на жаровнях, шипел, капал на угли розовым соком пронзенный шампурами шашлык.

— Мы видели с вами сегодня «Черный квадрат», — сказала она, держа за тонкую ножку бокал. — Мы видели сегодня ад. Я знаю, что такое ад. Мне кажется иногда, что мои детские кошмары никуда не делись, подстерегают меня. Сейчас откроется железная черная крышка, и все хвостатые чудовища, все зубатые образины кинутся на меня. Были такие дни — моя неудача, тоска, все постыло, жить не хотелось. Хотелось взойти на Крымский мост и кинуться в реку. Спуститься в метро и броситься под поезд. Так бы и случилось, если бы не вы. Вы меня выхватили из ада. Вы меня от смерти избавили. Ваш мягкий домашний халат, когда я его накинула, он был как доспех, как кольчуга, недоступные адским силам.

Вы мне платье зашили, тот лоскут, который выдрало адское чудовище. Вы мой спаситель. Я вам благодарна. Пью за вас! — Она смотрела на него не мигая, поднеся стеклянный бокал к губам, и глаза ее были коричневые, бархатные, как окружающий сумрак, и в них, как и в красно-черном вине, дрожала крохотная золотая искра.

Внизу озарился подиум, залитый аметистовым блестя-

щим светом, как ночная аэродромная полоса, когда на нее из черных небес снижается сияющий перехватчик. Ударил музыка. Раскрылся занавес. Озаренная, окруженная сиянием, вышла манекенщица. Пошла, как движется волна, нахлестывая, переливаясь, мягко и ослепительно накатываясь. Женщина, высокая, твердо и сильно ставя ноги, совершая круговые движения бедер и плеч, шла, белея высокой шеей, дыша открытой грудью, неся за собой завитки прозрачных одежд.

Все восхищенно замерли, а потом раздались аплодисменты, замерцали блицы, как бесшумные, окружающие самолет разрывы зениток. А он летел, неуязвимый, новой, совершенной конструкции, оставляя за собой слабое сияние воздуха. Женщина дошла до края подиума. На мгновение замерла, как статуя. Повернулась, открывая голую гибкую спину. Пошла. Было видно, как играют ее подвижные худые лопатки, как стеклянно переливается ткань на ее бедрах, как пузырится белая прозрачная накидка, из которой, как из пенной морской волны, она ежесекундно рождалась.

Модельер приподнялся в кресле, принимая первые цветы, улыбался, а на подиум выходили новые женщины, длинные, стеблевидные, выставляя сильные тонкие ноги.

— Я вам сказала, что сегодня будет дождь, — повторила Даша. — Я это чувствую висками и кончиками пальцев. Моя мама видит в темноте, и от ее рук распускаются бутоны цветов. Говорят, в нашем роду все женщины были колдуньи. Моя прабабушка взревновала к соседке. Во время грозы вышла на холм, направила молнию на дом разлучницы и его спалила. Она врачевала, спасала от бесплодия, определяла, кто во чреве у беременной женщины, девочка или мальчик, вызывала во время засухи дождь. Она сошла с ума и исчезла. Может быть, превратилась в ворону или в дикую кошку, но больше ее не видели.

Он допускал, что прабабка ее была оборотнем. Верил,

что вечером, когда они выйдут из ресторана, пойдет дождь. Что ее появление в его жизни не случайно. Она появилась в момент, когда все силы его иссякли, и она пришла, чтобы окропить его разноцветной живой водой из фонтана. Что в ней, в ее девической неопытной душе, таится древнее, не имеющее имени знание, способное управлять ростом трав, кружением облаков, людской своенравной судьбой. И это по ее воле, повинувшись ее повелениям, выскальзывают на подиум длинноногие великолепные женщины, проносят в прозрачного аметистового цвета невесомые воздушные одеяния.

— В прошлом году мы с мамой были на море. Я проснулась рано, пошла на пляж — ни души. Море белое, как молоко. Ни ветерка, ни волны. Я обратилась к морю: «Я тебя люблю! Я в тебя верю! Ты доброе, великое! Люби меня!» И море, там, где я стояла, начало легонько волноваться, плескать на меня стеклянной волной. Отвечало мне: «Я тебя тоже люблю. Ты никогда не умрешь!» А через день, ночью, случилась гроза. На меня напал ужас, ад стал приближаться. Не помню, как я встала, пошла на берег. Все грохотало, клубилось. Меня хлестало, секло. Чудовища гнались за мной. Должно быть, я на минуту сошла с ума. Кинулась в бушующее море. Но оно не приняло меня, вынесло на песок. Вы должны это знать. Вы спасли меня, но это может опять повториться.

Он спас ее, а она избавила его от немощи, уныния, непонимания жизни. Она посадила его на маленький белый кораблик, показала сияющий Кремль. Привела его в таинственный сказочный мир с разноцветным фонтаном, где качается золоченая ладья, и они полетели над ночной златоглавой Москвой. Она показала ему картины, каждая из которых была окошком в Рай, и теперь ему не страшно жить, ибо нет поражения и смерти, а есть бессмертие в непобедимом русском Раю.

Женщины выходили на подиум, напоминали обтянутые шелками абажуры и сияющие хрустальные люстры. Прозрачная, перетянутая обручами ткань, и внутри, как легкое пламя, светится сиреневая или розовая женщина. Высокая гибкая манекенщица — и на ней, от головы до пола, сверкающие подвески, бриллиантовые нити, лучистые гирлянды. Ее ноги, бедра и грудь окружены алмазным сиянием.

Маленький кутюрье улыбался, прижимал руки к сердцу, клал поверх подаренных букетов еще несколько трепещущих темно-алых роз.

— Ему плохо с сердцем, — сказала она.

— Кому?

— Модельеру. Я чувствую, как ему плохо.

— Да нет, он просто руку к груди прижимает. От счастья и в знак благодарности.

Одна коллекция сменяла другую. Теперь манекенщицы демонстрировали стиль, напоминающий космических пришельцев, таинственных странников мироздания. Их одеяния были созданы из прозрачных синтетических материалов, казались колбами и ретортами, в которых пульсировала разноцветная плазма. В ней искусственно возникали человеческие формы, еще не связанные друг с другом, окруженные светящимся газом. В колбе с узкой, прозрачной горловиной и розовой сферой возникала обнаженная женская грудь, гладкое, с плавным изгибом, бедро, округлый, с темным пупком, живот. В слюдянистом зеленовато-голубом цилиндре с металлическими проводами и клеммами появлялись то гибкая, с подвижными лопатками спина, то сильные, напряженные икры. Казалось, в этом цилиндре под воздействием электрических молний создается женщина, ее прелестные формы материализуются из космической пыли, лучистой энергии, светящегося голубоватого облака.

Маэстро кланялся, белозубо улыбался, прижимал руку

к сердцу. Он был счастлив, знаменит, окружен почитателями. Ему аплодировали.

— Еще я люблю ветер. — Она рассматривала фиолетовый лист грузинской травы, вдыхала его маслянистый пряный запах. — Когда начинается ветер, я выхожу на улицу, слушаю его шум, говорю с ним. Ветер облетает всю землю, страны, города, морские просторы. Он несет весть о том, что случилось, и о том, что должно случиться. Ветер знает о каждом живущем на земле человеке, о младенце и старике, о святом и злодее. Мне кажется, слушая ветер, я могу угадать будущее. Войну, катастрофу, извержение вулкана. Я прошу ветер взять часть моих сил, часть моей жизни и отнести их тому, кто в них нуждается. Спасти больного, утешить несчастного. Месяц назад я вышла вечером, и поднялся ветер. Он гнул деревья, летел по улицам, гнал над крышами вечерние облака. Я слушала ветер, и мне казалось, что я тогда узнала о вас. Вы здесь, в этом городе, нуждаетесь во мне. Мне нужно вас искать и найти.

Его разум был сладко помутнен терпким кахетинским вином, космической музыкой сфер, ее рассказом о ветре. Он был в этом ветре вместе с шумящими лесами, летящими самолетами, волнистыми ночными озерами. Она знала о нем, ведала своим колдовством, владела его судьбой, управляла его жизнью и смертью. Она снимала с него бремя неведения, бремя прожитой жизни. Перенесла его в потоке огромного ветра с брэнной земли, изрытой воронками, изуродованной котлованами, усеянной прахом исчезнувших в слепоте поколений, на таинственную живую планету, окруженную дышащими зорями, в которых плыли драгоценные светила и луны. Превращались на мгновение в прелестных женщин, а потом распадались на пучки разноцветных лучей, на прозрачные радуги.

— У вас бывало так, что вы должны умереть, но случается чудо и вы остаетесь живым?

У него так бывало. В ущелье Саланг, когда на придорожной заставе он ждал транспортер, но вызванный бэтээр опоздал и он сел на другой, попутный. Проезжая вдоль склона, почувствовал, как по его переносице скользит невидимый зоркий прицел. Спустился в долину и услышал по радиии, что следовавший за ним транспортер был расстрелян из гранатомета в упор. Экипаж погиб, ротному оторвало ногу.

В Никарагуа, в Пуэрто-Кабесас, на глинистой красной дороге им угрожала засада. Они передвигались двумя «Тойотами», желтой и синей. Первую половину пути он ехал в желтой, держа на коленях гранату, ухватив за ствол автомат. После краткой остановки он пересел в синюю, где находился комбриг-сандинист, пригласивший его для беседы. У заброшенного поселка индейцев желтая налетела на мину. Горела, развороченная, с убитыми пассажирами, а они залегли на обочине, выставили автоматы, дожидаясь подмоги.

В Эфиопии вертолетчики высадили его в джунглях, обещая захватить на обратном пути. Среди ручьев и цветущих кустарников три часа ловил бабочек, пугая висящих на ветвях бабуинов, срываясь в блестящие ручьи, цепляясь за колючие иглы, преследуя розово-желтых данаид и жемчужно-серых сатиров. Вертолет не вернулся, был сбит эритрейцами, а он два дня добирался до трассы, обходя поселения туземцев. Вернулся на базу опухший от укусов москитов, с подвернутой ногой, неся в жестяной коробке драгоценный улов — спасших ему жизнь данаид.

Он не сказал ей об этом, зная, что она читает его тайные мысли. Он был для нее прозрачен. Был в потоке ветра, который оведал их обоих.

— Случались чудеса, — сказал он. — И я оставался жив.

— Каждую секунду случаются чудеса, отделяющие нас от смерти. Их надо предчувствовать. Каждую секунду надо быть на страже, устранять опасность, молить о спасении.

Смотрюсь в зеркало и молю о спасении. Беру чайную чашку и молю о спасении. Смотрю на солнечный зайчик и его молю. Когда иду по тротуарам и вижу трещины, ни на одну не наступлю. Это опасно. Эти трещины могут разверзнуться в пропасть. Я вас научу колдовству. Только не думайте, что я сумасшедшая.

Он не думал. Мир, в котором он прожил жизнь, был сумасшедшим миром. В нем действовали силы саморазрушения, и люди, такие, как он, подчиняли себя этим силам. Он всю жизнь разведывал, куда, по каким дорогам идут войска. В каких горах и ущельях хранятся склады оружия. Кто из вождей революции будет убит или предан. На какой полевой аэродром приземлится самолет с диверсантом, доставит груз взрывчатки. Ему казалось, он служит великой стране, жертвует ради бессмертной идеи. Но нет ни страны, ни идеи, а повсюду кривляются мерзкие рожи, морочат, сводят с ума.

Она не сумасшедшая, нет. Она обладает волшебным знанием, лечит наложением рук, читает на расстоянии мысли, понимает язык птиц и цветов. Зачем-то среди огромного раскаленного города она отыскала его. Разбудила от дурной дремоты. Наделила зорким зрением и чутким слухом. Учит понимать язык птиц и цветов, видеть в прозрачном небе крохотное летучее семечко.

— Мне кажется, мы с вами знакомы очень давно, — сказала она. — Мы с вами уже встречались. Быть может, в других жизнях, в других странах, в другие эпохи. Быть может, в Древнем Египте, где вы были царем, а я дочерью жреца. Или в средневековой Испании, в маленьком городке Толедо, где я была вашим отцом, а вы моей дочерью. Между нами существовала какая-то тесная, духовная связь, которая не завершилась, оборвалась каким-то несчастьем. Теперь мы опять встретились, в России, в Москве. И опять наша связь глубока и духовна. Мы должны ее очень беречь.

Не причинить друг другу зла. Вы должны не погубить меня, не повторить вашего древнего заблуждения и ошибки.

Заиграла музыка, напоминавшая стуки тамтамов, заунывные китайские флейты, струнные переливы персидских мандолин, бренчанье итальянских клавесин. И под эту музыку стали выходить манекенщицы в одеяниях, воссоздающих архитектуру буддийских пагод, мусульманских мечетей, готических замков и храмов, барочных дворцов. Женщины шли, раскачивая подолы, волнуя шлейфы, развевая прически. И одна была как красно-золотой пекинский дворец в резных узорных драконах. Другая — как минарет, в слюдяных изразцах, со священной вязью Корана. Третья — как парижский собор Богоматери, в стрельчатых арках, перламутровых витражах, с крохотными, усевшимися на плечи химерами. Возникали женщины-цветники, украшенные тяжестью свежих соцветий. Женщины-букеты, усыпанные живыми цветами. Женщины-вазы, в которых распушились розы, тюльпаны, пионы.

Сидящие вокруг подиума люди встали, аплодировали стоя. Маленький кутюрье ловко и быстро вскочил на подиум. Окруженный манекенщицами, казавшимися прекрасными великаншами, раскланивался, улыбался, посылал в зал воздушные поцелуи. И вдруг покачнулся, схватился за грудь. Стал падать на озаренную панель. Лежал в аметистовом круге света, маленький, в черном фраке, как подбитая камнем ласточка. Вокруг него, боясь подойти, толпились высокие, словно башни, женщины.

— Я говорила, у него плохое сердце! — изумляясь своей прозорливости, огорченно воскликнула Даша. — Но это не опасно. Он скоро придет в себя.

Кутюрье медленно подымался, окруженный нарядами, цветами, женскими прическами. Манекенщицы почти несли его на руках, шелковые, стоцветные, своего маленького черного повелителя, под звуки средневекового клавесина.

Когда они покинули аристократический клуб, на улице шел дождь. Белосельцев не удивился тому, что сбылось ее предсказание. Он больше не удивлялся, просто веровал в постоянно подтверждавшееся чудо. В чудо теплого ночного дождя, превратившего тусклый дневной асфальт в черноблестящее стекло с жидкими мазками света. Словно площадь стала ночным морем с зеленоватыми комьями водорослей, огненно-белыми следами режущих поверхность катеров, красными и золотыми медузами, всплывшими из темных глубин. Все было зыбко, колыхалось, текло. Было огромным нерестилищем с плещущими шумными рыбинами, брызгающими ртутной икрой и синей холодной молокой.

— Надо взять машину, — оглядывался он, выискивая среди сияющих размытых полос и водянистых лучей зеленый огонек такси.

— Идемте пешком до метро!

— Промокнем! Замерзнете!

— Он теплый! Идем! — Она кинулась в дождь, как в море.

Шли рядом, окруженные цветными перепончатыми зонтиками, напоминавшими торопливых, бегущих по отмели крабов. Он смотрел, как она промокает.

Сначала волосы ее потемнели, отяжелели, недвижно легли на плечи и спину. В них появился блеск, холодный отлив. Они стали сочиться, течь, превратились в жидкое сверкающее стекло, и ее голова осветилась прозрачным нимбом. Ее короткая розовая маечка стала темной, влажной, пропиталась дождем, прилипла к телу. Сквозь ткань округлились груди с маленькими плотными сосками, открытый живот блестел, как глазированный. Короткая юбка облегла бедра, вылепила их. Белосельцев боялся смотреть. Боялся видеть, как ее раздевает дождь.

Москва со своими фонарями, рекламами, светофорами, с размытыми горящими окнами и витринами опрокинулась,

перевернулась, отразилась в черной глубине. Они шли по отражениям. У них под ногами пылала, колыхалась, змеилась огнями глубокая перевернутая Москва.

Бронзовый фонарный столб с высокой гирляндой каплевидных фонарей, под которыми блистала, искрилась, сыпалась капель, отражался в черной воде. Они бежали по этим фонарям, боясь их разбить, по их белым размытым пятнам. Казалось, их обувь в светящемся жидком растворе и они оставляют на асфальте фосфорно-белые следы.

Стеклянный брусок рекламы с красавцем ковбоем, вытаскивающим из кармана пачку сигарет, погружался в глубину красно-золотым дрожащим столбом. Они пробежали по его ковбойской шляпе, безупречно мужественному лицу, по красной, величиной с автобус, пачке сигарет.

Витрина ювелирного магазина с бриллиантами, золотыми изделиями, перстнями, браслетами отражалась, как ночной теплоход. И они давили ногами эти бриллианты, золотые браслеты, часы в драгоценной оправе. Сами на мгновение покрылись жидкой позолотой, роняли по пути золотые капли.

Церковь, озаренная, многоглавая, отражалась в асфальте, как град Китеж, утонувший в черном омуте. И они пробежали по водам, по узорным крестам, по сияющим куполам, и от их шагов на поверхности расходились круги, и в крестах проплыла серебряная размытая рыба.

Дорогу им преградил бурный, черный ручей, в котором отражался огонь светофора, словно поочередно в ручей опрокидывали ковши зеленого, золотого, красного цвета.

— Нет, нельзя, он красный! — остановила она его перед рубиново-черным потоком. Он замер, чувствуя, как льется ему за ворот вода, хлюпают туфли. Видел, как несутся в ручье огненно-красные воронки.

— Желтый! — сказала она, ступая ногой в медовый поток, и он видел, как туфелька ее погрузилась в ручей и вокруг ее щиколотки поднялся маленький золотой бурун.

— Зеленый! — крикнула она. Схватила его за руку, потянула в кипящую изумрудную воду, и он бежал в зеленых брызгах, торопясь одолеть поток, пока над ним в дожде горит зеленая ягода светофора.

Вбежали под дерево. Круглое, черно-стеклянное, с шестелящей листвой, похожее на огромную, переполненную водой чашу, оно проливало на них пахучие холодные струи, брызгало, кипело над головами. В холодной раздвигаемой ветром листве вспыхивали озаренные фасады, фары пролетавших машин.

— Холодно, — сказала она и прижалась к нему. Защищая ее от падающей ледяной струи, он обнял ее, прижал к себе. Ощутил близкую живую прелесть, гибкость, доступность. И вдруг испугался.

Ледяной страх вместе с черной водой пролился ему под рубаху. Остановил его жаркую внезапную нежность. Угроза, почти смертельная, придвинулась из-за коричневого корявого ствола. Нечто опасное и ужасное, готовое погубить их обоих, мерцало каменными блестящими глазками, обвиняло ствол чешуйчатым мокрым хвостом, взирало на них. Он отступил от нее, вышел на дождь.

— Нам пора... — глухо произнес Белосельцев, шагнул туда, где, похожая на раскаленную спираль, в красной дымке горела буква «М». Оглянулся на дерево, и ему показалось, что по стволу вместе с водой скользнуло и исчезло в листве чешуйчатое мокрое тулово.

Молча проводил ее до входа в метро. Торопливо простился. Она не пыталась задержаться, удивленно на него смотрела. Вернулся домой, мокрый до нитки. Стянул с себя липкую одежду, сбросил хлюпающие туфли. Стоял перед коробками с бабочками. Слушал, как гремит в водосточе дождь. Испытывал необъяснимую тупую усталость, словно в кровь ему впрыснули остужающий сонный наркоз.

Глава шестая

Под вечер по пыльной, красной, как перец, дороге, изведенные тряской, ослепленные белым, равномерно жгущим солнцем, они въехали в Баттамбанг. Одолели запруженный велосипедистами мост над зеленоватой недвижной рекой. Подкатили к двухэтажному отелю в маленьком парке, с дергающейся в сумерках неоновой вывеской.

Служитель, раскланявшись, принял от Сом Кыта бумаги, что-то записал в раскрытую книгу. Отвел их наверх, в номера. Белосельцеву и Сом Кыту — отдельные, с выходом на открытую вдоль всего фасада галерею, на уровне темных древесных крон. А остальным — общий номер с выходом в грязноватый обшарпанный коридор.

Белосельцев после тяжелой дороги, после мучительных встреч и бесед, после обморока, опрокинувшего его бесшумным ударом, испытывал опустошенность и усталость. Рассеянно оглядывал грубо выбеленную комнату, деревянную некрашеную кровать с четырьмя неструтаными стояками, к которым была приторочена москитная сетка. Сломанный кондиционер, отсутствие в потолке вентилятора, не сулящие свежести сумерки — все увеличивало чувство усталости.

Ванна и умывальник бездействовали. Но под заржавелым душем стоял огромный глиняный чан с водой, в котором плавал железный тазик. Белосельцев наклонился над чаном, слушая свое гулкое дыхание, легкий звяк о глину скользящего по воде тазика. Разделся. Стоя на кафельном нечистом полу, медленно поливал себя теплой водой, смывая пот и едкую, въевшуюся в поры пыль. Вода была мутная, взятая, по-видимому, в реке, но ее теплые языки, бегущие по плечам и спине, освежали, цедили.

После омовения стало легче, вольней. Не вытираясь, голый, разгуливал по номеру, чувствуя, как прохладно испаряется с тела вода. Побрился электробритвой, рассмат-

ривая свое сухое, с натянутой, запекшейся кожей лицо, светлые влажные волосы, серые, горько сощуренные глаза.

Надел свежую рубашку, улавливая на ней легкий сохранившийся запах утюга. Вышел на галерею и уселся за низкий столик, где уже стоял цветастый китайский термос и чайные чашки. Пил бледно-зеленый теплый чай, наслаждаясь мягкими сумерками, чистотой омытого, охлажденного тела.

Неслышно подошел Сом Кыт, выбритый, в свежих одеждах.

— Я отпустил солдат и шофера, — сказал он, присаживаясь. — У шофера здесь родственники. Они пошли к ним поужинать. Мы можем поужинать в ресторане у рынка. Здесь недалеко, пройдем пешком.

Они двинулись от отеля по жарким темнеющим улицам. В домах светились открытые окна балконов. Люди, отдыхая, смотрели на улицу. Лучились, перемигивались маслянистые коптилки торговцев, освещая то жаренных на сковородке рыбин, то зеленые связки бананов. Фасады с лепниной и узорными решетками балконов, некогда нарядные и игривые, теперь обветшали, шелушились, были завешены сохнувшим бельем, вялыми, наподобие флагов, простынями. По невнятному совпадению запахов, желтоватых отсветов в окнах, лепных карнизов Белосельцеву показалось, что он находится в каком-то среднерусском летнем городке, быть может в Александрове или Коломне. Сейчас за углом видит обвалившиеся торговые ряды с колоннадой, колокольню с остановившимися часами, ампиный особнячок. В городском саду за штaketником ахнет сквозь сирень наивно и страстно духовой оркестр. Но с балкона, разрушая иллюзию, прыснула визгливая азиатская музыка, в длинных окнах за деревьями зажелтели развешанные одежды буддийских бонз, и где-то рядом печально, сначала редко, а потом все учащаясь, измельчаясь в коротких тревожных ударах, прогремел монастырский гонг.

— Моя жена из Баттамбанга, — тихо и как-то внезапно сказал Сом Кыт, глядя на темную зелень куста, на решетку белого дома. Чувствовалось, что он вспомнил что-то дорогое для себя и печальное. Белосельцев был приобщен к воспоминанию — к белизне проплывшего дома, к розовому кусту за оградой.

Из-за поворота с воем сирены, с миганием фиолетовых вспышек выскочили трескучие мотоциклы. Седоки в белых шлемах, в военной форме мчали во всю ширину улицы, тесня велосипедистов и пешеходов. За ними, просев на рессорах, прошумел широкий, с хромированным радиатором «Бьюик». Процессия промчалась, оставляя пыль и гарь, повернула в освещенную зелень увитых плющом ворот.

— Председатель народно-революционного комитета, — произнес Сом Кыт. Было видно, что его неприятно поразили вид шумной, помпезной процессии и он извиняется перед Белосельцевым за этот назойливый кортеж, демонстрирующий величие власти среди людского уныния и подавленности.

Они вошли в ресторанчик с верандой над откосом, сбегавшим к темной реке. У стойки, из пестроты бутылок, бесшумно, с выражением готовности, возник хозяин. Провел их на веранду, в прохладу, забегая вперед, успевая смахнуть со стола несуществующие крошки. И прежде чем залюбоваться мерцающей рекой, Белосельцев, отодвигая стул, подумал, что в этот ресторанчик в свою золотую пору приходили Сом Кыт с женой, сидели у окна с видом на темную реку.

Он выбрал себе стейк по-английски, пиво со льдом, передал карту Сом Кыту. Отмахивался от летящих из тьмы крылатых термитов, падающих обильно на стол. Хозяин снова махнул полотенцем, сбивая слюдяных насекомых. Там, куда он махнул, в окне, была темная река, женщина в темно-лиловых одеждах, темней чем вода и трава, медленно входила в воду, приседала без плеска, обхватывала свои черно-мер-

цающие плечи длинными руками. Не было видно, но угадывалось, как ткань, намокнув, приняла ее гибкие, округлые очертания.

— Как будет по-русски «вечер»? — спросил Сом Кыт, глядя на реку, на красные веретенные отражения на той стороне, поколебленные купающейся женщиной. И Белосельцев подумал: тогда, когда они, молодые, сидели здесь с женой, на той стороне все так же отражались в реке красноватые дрожащие веретена.

— Вы изучаете русский язык? — спросил Белосельцев.

— Я изучаю немецкий, английский, испанский и русский.

— Так много языков одновременно?

— Кончается международная изоляция Кампучии, и нам требуется много дипломатов. Прежних дипломатов убили, и многие места в посольствах пустуют.

— Вы хотите поехать в Советский Союз?

— Штат посольства в Советском Союзе укомплектован. Я бы хотел поехать в Париж.

Женщина в маслянистой реке медленно колыхалась, словно грациозное водяное животное. Появлялась на красноватом волнуемом отражении. Снова исчезала в темном лиловом разливе. Термиты бесшумно летели прозрачной слюдяной струей, словно это было нашествие на землю инопланетной жизни, и она, касаясь растений, почвы, досок стола, стекла и фарфора посуды, образовывала колонии, встраивалась и обживала захватываемую планету. Люди сбрасывали насекомых с одежды, сбивали с лица, хозяин то и дело махал салфеткой, но бесшумные полчища все прибывали и стол, за которым они сидели с Сом Кытом, был в шевелящемся, мерцающем покрове.

— Я хотел поделиться с вами моими наблюдениями, — сказал Белосельцев. — Сегодня я видел много несчастных людей, которые пережили горе, потеряли любимых и близ-

ких. Но нигде я не почувствовал озлобления, желания отомстить. Только смирение и печаль. Почему?

— В философии нашего народа отсутствует категория ненависти. Ваш писатель Лев Толстой призывал не отвечать злом на зло, призывал не отвечать насилием на насилие. Если у зла отнять почву, не сопротивляться ему, то оно постепенно погаснет, как огонь без дров.

Женщина в темноте вышла из реки, и было видно, как она, наклонив голову, отжимает длинные волосы. Она уже была на берегу, шла по склону в прилипшем платье, а река все еще волновалась, все искала женщину. Не находила, посылала во все стороны тревожные волны.

— Можно погасить в себе ненависть, желание отомстить. Но нельзя одолеть печаль от утрат, — сказал Белосельцев. — Ты вспоминаешь о времени, когда был счастлив. Но время это прошло, и от этого — боль.

— Вероучение нашего народа позволяет надеяться на встречу с любимыми, даже если они умерли. Вы встретитесь с ними в других, предстоящих жизнях. Пусть даже через тысячу лет.

Термиты летели на землю с далекой планеты бесконечной стеклянной струей. Бесшумно ударялись о земной воздух, планировали на ветви, на крыши, на камни мостовой. Все было покрыто мерцающей живой слюдой. Белосельцев смотрел, как по его пальцам карабкается бесшумное, окруженное прозрачным блеском существо, рука чувствовала слабое прикосновение лапок.

— Мне едва ли доступна подобная философия, — сказал Белосельцев. — Пережитое горе преследует меня по пятам.

— Я видел, как вы сочувствовали крестьянам, разрывавшим могилы. Какое у вас несчастное было лицо. Видел, как вы им сочувствовали, когда рожала буйволица. У вас было счастливое лицо. Я благодарен вам за это сочувствие.

— А я благодарен вам за помощь. Не знаю, что случи-

лось со мной там, на железнодорожной насыпи. Какое-то видение, вихрь. И я потерял сознание.

— Во время нашего путешествия меня тоже посещают видения. Мы едем с женой в Сиенреап в открытом автомобиле. Она в белом платье, на коленях у нее букет цветов. Это наше свадебное путешествие. Мы мечтаем, что когда-нибудь, когда родятся и подрастут наши дети, мы все вместе поедem в Париж.

— Дорогой Сом Кыт, сегодня утром, перед началом путешествия, я ненароком заглянул в ваш дом, увидел вашу милую жену. Но не увидел детей. Где ваши дети?

Сом Кыт держал на весу свою маленькую хрупкую руку, по которой бежали, цеплялись слюдянистые существа.

— У нас было двое детей. Нас разлучили. Жену отправили на северо-восток, строить военную дорогу. Меня на север, пилить на болотах лес. Младшему сыну было восемь лет, старшему четырнадцать. Их направили куда-то сюда, рыть каналы. Оба они погибли по пути в Баттамбанг, на прокладке каналов.

Белосельцев испытал мгновенную боль. Смотрел на смуглую руку Сом Кыта, покрытую термитами, словно на нее надели прозрачную перчатку. Тот потряхнул кистью, сбрасывая летучий ворох, принимая от хозяина потную бутылку пива, миску с брусочками льда.

— Как будет по-русски «лед»? — спросил он, наливая Белосельцеву пиво.

После ужина они вернулись в отель с подмигивающей вывеской, вокруг которой трепетали беззвучные, нежные, как снег, существа. Пожелали друг другу спокойной ночи. Несколько фраз, произнесенных за столом, несколько жестов и взглядов сблизили их. Между ними установилась молчаливая, не требующая проявлений симпатия, природа которой в неуловимых совпадениях мыслей и чувств. Белосельцев направился было к себе, но спать не хотелось. Он

выгнал из-под марлевого полога москитов, заправил кисею со всех сторон под тюфяк, вышел на галерею. Оранжевая, как буддийский монах, луна стояла над черными деревьями. Трещало, свистело в листве, на земле, в небесах несметное, незримое скопище, создавая своим равномерным, не имеющим направления и источника звуком иное пространство, геометрию ночного неправдоподобного мира.

Сквозь незанавешенное озаренное окно он увидел Сом Кыта, полуголого, затушеванного кисеей, будто тот был в воде. Он читал книгу, шевеля медлительными губами, и Белосельцев почему-то подумал, что это роман Толстого «Воскресение».

Он услышал рокот двигателя. Белый огонь автомобильных фар лизнул ворота, пробежал по траве, зажег зеленые глаза притаившегося в траве животного. Служитель побежал открывать ворота, и во двор отеля, разворачиваясь, слепя огнями, вкатил «Тойота» с синей эмблемой ООН. Белосельцев услышал женский голос и узнал итальянку, которая вышла из машины, неся на плече сумку. Заслонила на мгновение фары, и ее темный силуэт с длинными волосами, приподнятой рукой и высокой грудью мелькнул у входа в отель.

Ее приезд изумил его. За весь день он ни разу о ней не вспомнил, словно накануне расстался с ней, чтобы никогда не встречаться. И вдруг она появилась в маленьком деревянном отеле, под огромной желтой луной, среди неумолчного свиста и шороха горячей ночи, и ее появление было желанно, было наградой за перенесенные злоключения и муки.

— Мария Луиза, я жду вас полдня! Я посылал на дорогу гонцов, чтобы они сообщили вам название отеля. И вот наконец вы явились! — Он встретил ее внизу, принимая из ее рук дорожный баул. — Все готово к вашему прибытию. Трехкомнатный люкс, кондиционер, мраморная ванна с розовой пеной.

— Виктор! — обрадовалась она, охотно передавая ба-

ул. — Я приехала сюда наугад, но что-то подсказывало мне — вы здесь. Может, обилие ночных бабочек под фонарем. Или луна, стоящая прямо над крышей дома.

— Так или иначе, наше свидание состоялось.

Их номера были почти рядом, окна выходили все на ту же дощатую веранду. Она вставила ключ в замок.

— Я немного приду в себя, и мы поболтаем, — сказала она. Приняла от него баул и скрылась. А он, взволнованный, улыбаясь, уселся за столик и стал смотреть на луну, терявшую свою желтизну, наливавшуюся белым маслянистым блеском.

Галерея была пуста, полна серебристого сумрака. Окна, выходившие под навес, были погашены, и то, где недавно возлежал под марлевым балдахином Сом Кыт, было темным, отливало лунным таинственным блеском. И только одно, рядом с его столиком, оранжево, мягко светило, открывая убранство номера, деревянную кровать с кисеей, открытую, без дверей, ванную комнату с кафельными стенами, с большим медным чаном. Он смотрел на ровный оранжевый квадрат окна, ожидая увидеть ее. И она появилась, обнаженная, озаренная светом невидимой лампы, медлительная, плавная, словно плывущая в невесомости. Казалось, сейчас оттолкнется от пола гибкой стопой, вознесется к потолку, перевернется вместе с темной волной волос, коснется пятками сухих досок и снова опустится на пол, отбрасывая на спину черные космы.

Она прошла в ванную, встала в светящемся узком проеме, недвижно стояла. А в нем борение — смотреть, не смотреть. Он отвел глаза к близкой белой луне, драгоценно сиявшей над черным могучим деревом. Луна была женщиной, сияла в ночи своей ослепительной наготой, касалась темного дерева белыми молодыми стопами.

Он снова смотрел в окно. Она все так же стояла, чему-то улыбалась, должно быть тому, что он смотрит на нее. Она

позволяла смотреть, показывала ему себя в оранжевом квадрате окна, как в золотистой раме. Она была картиной, выставленной перед ним в этой азиатской жаркой ночи, нарисованной бог весть каким художником для него одного. И он смотрел, понимая, что это чудо. Она, нарисованная на картине, показывала себя ему, единственному зрителю, способному оценить ее волшебную красоту.

Она наклонилась, протянула руку к медному чану, ухватила плавающий ковшик. Зачерпнула воды и медленно вылила на себя — на лицо, на шею, на плечи. Вода лизнула ее своим блеском, скатилась сквозь ложбинку груди, омыла живот с темной впадиной пупка, бедра с лобком, выпуклые колени. И ему вдруг захотелось стать водой, от которой заблестели ее смуглые плечи, бедра, сжатые колени.

Она черпала ковшиком воду, сжимая смуглыми пальцами ручку ковша, плескала на себя, омывала грудь, поднимала, как птица, ногу, стараясь сохранить равновесие. И ему захотелось стать ковшиком в ее руке, изливать на нее прозрачную влагу, освежать этой влагой белевшую, незагорелую грудь с круглыми темными овалами и влажными розовыми сосками. Это не было вожделение. Это было желание стать воздухом, в котором она двигалась, водой, касавшейся ее тела, светом, от которого блестела на ней вода, изразцом, на который опирается ее стопа.

Изразцы казались перламутровыми. С распущенными волосами она стояла на морской перламутровой раковине, среди мерцающих вод, и тот, кто ее сотворил из света, воды и воздуха, восхищался своим творением. Хотел поделиться восхищением с другим. И этим другим был он, Белосельцев.

Она кончила омовение. Не вытираясь, мокрая и блестящая, вышла из ванной. Скрылась, оставив среди кафельных стен влажную пустоту. И он хотел стать этой пустотой, обнять собой то место, где только что была она.

Через несколько минут она появилась, свежая, веселая,

в легкой, из сухих редких нитей, рубашке. Держала в руках стеклянную бутылъ в оплетке, два тонких мерцавших стакана.

— Вы еще не заснули? Я вас заставила ждать? Я припасла в дорогу бутылку вина. Самое время ее распить!

Они сидели одни на веранде, и луна огромно, бело-снежно заглядывала к ним под навес. Лунный блеск был в черно-красном вине, в темном стекле бутылки, в ее близких смеющихся глазах. Они пили терпкое вино, и на ее влажных от вина губах были мазки лунного света.

— Какая ужасная выматывающая дорога! — сказала она. — Какое счастье, что есть этот отель, вода, тишина. Счастье, что вы меня здесь поджидали.

— Обычная лунная дорога, среди кратеров и потухших вулканов. Но, как видите, и на луне есть жизнь. На обратной ее половине. Астрономы ничего не знают про этот отель. А то высадили бы сюда астронавтов. А эти мужики из Хьюстона такие пьяницы, дебоширы. Выпили бы наше вино, разгромили отель.

— Вы не любите американцев?

— Они убили бизонов и сбросили бомбу на Хиросиму. Я люблю итальянцев. Они построили Аппиеву дорогу и пили молоко волчицы.

— По-моему, в этом вине есть немного ее молока.

— Пожалуйста, еще немного от ее млечных сосцов!

Он налил вина. Она смеялась, зубы ее блестели в свете луны, как блестят на отмели ночные перламутровые раковины.

— Что вы видели по пути? Ваши журналистские впечатления?

— Много горя, много несчастья. Об этом тяжело писать. Я не выдержал, и со мной случился обморок. Вышел на пустую железную дорогу, чтобы немного побыть одному. И там, на насыпи, прямо на шпалах, со мной случился обморок.

— Вы такой восприимчивый? И что из себя представ-

ляет эта кампучийская Аппиева дорога? Она действительно бездействует?

Он рассказал ей о железной дороге, о ремонте мостов, о срубленных вьетнамцами пальмах, вплетая эти сведения в рассказы о пагодах, черепах, марсианских каналах, о золоченых ослепших буддах и о восхитительной природе с голубыми далями и фиолетовыми джунглями, от которой отделила его зрелища людских страданий.

Она чутко слушала, извлекая сведения о дороге из мишуры его цветистых рассказов, как извлекают тончайший проводок из шелковых ниток разноцветной оплетки. Сама делилась с ним добытыми сведениями — о строящемся в Баттамбанге депо, о разъездах и водокачках, которые она наблюдала, посещая хранилища с продовольствием и медикаментами, больницы и богадельни, встречаясь с чиновниками и администраторами. Он осторожно растирал в руках колосок ее повествований, дул на ладонь, рассеивая золотолистую шелуху, оставляя несколько драгоценных полновесных зерен.

Они совершили невидимый миру обмен, по тончайшим неназванным признакам узнавая друг в друге разведчиков, представителей размытого в мире сообщества. Принадлежащие к этому сообществу люди преследовали друг друга, уничтожали и мучили, но иногда, в исключительных случаях, помогали один другому.

— Я работала в Эфиопии, во время страшной засухи, в лагерях для голодающих. Умершие люди лежали на солнце и за день высыхали до костей. Так мало в них было живой плоти. Мне было стыдно за мое молодое здоровое тело, за вкусные консервы, которые я припасла для себя. Они умирали с голода, но все равно умудрялись воевать друг с другом, наносили по деревням и поселкам бомбовые удары.

— Я был в Афганистане, и мне приходилось видеть расстрелы, уничтожения кишлаков, даже пытки. Мне знакомо это чувство вины. Сам ты здоров, в относительной

безопасности, наблюдаешь чужие страдания. Не в силах помочь, и от этого — чувство вины.

Они словно обменялись на память двумя маленькими автопортретами. Подарили друг другу плохо пропечатанные слайды поляроида, где она, разведчица, внедренная в миссию ООН в Эфиопии, тайно направляет продовольствие и лекарства воюющим сепаратистам Эритреи. А он, аналитик разведки, двигается среди афганских гор и ущелий, исследуя социальный взрыв революции, снимая параметры взрывной волны, осциллограмму политических и военных процессов.

— Я собираю коллекцию бабочек, — сказал он, проводя черту, за которой остались войны, страдания, подстерегавшие их опасности. Замыкая вокруг столика волшебный круг, куда не проникали тревоги и беды, а была огромная, сияющая луна, великолепное черное дерево, наполненное искрами светляков, слюдянистым мерцанием неумолчных цикад. — Я взял с собой журналистский блокнот и сачок. Из машины я видел несколько пролетевших бабочек. Но, конечно, не смог их поймать. Мечтаю отыскать какую-нибудь поляну в джунглях и там половить бабочек.

— Как мы с вами похожи! — изумилась она. — Я собираю и засушиваю цветы, чтобы после, глядя на них, вспоминать мои путешествия. Сегодня я сорвала и засушила несколько лилий, белых и желтых. И один придорожный цветок, напоминающий дикую розу.

— Я бы хотел увидеть вас в Москве, среди наших снегов и сугробов, и подарить вам кампучийскую бабочку!

— А я готова принять вас в Сицилии, подарить белый лотос или желтую лилию.

Они были похожи, искали друг в друге подобие, пребывали внутри невидимого волшебного круга, заслонявшего их от напастей.

Они пили вино и мягко, сладко пьянели.

— По-моему, это луна, — сказал он, поднимая стакан и глядя, как черное вино начинает краснеть, словно в нем зажгли лампаду. — Или я ошибаюсь?

— Это слон, — сказала она. — Большой белый слон, разве не видите?

— Нет, это бонза. Уверяю вас. Им запрещено пить вино. Но иногда они позволяют себе издали наблюдать за пьяницами.

— Это кувшин. Теперь я убедилась. Видите, вот ручка, горлышко. Можете взять осторожно и поставить на стол.

— Это женщина. Когда я вас ждал, я понял, что это женщина. Посмотрите, какие у нее плечи, грудь, какие чудесные черные волосы.

— Нехорошо смотреть в незанавешенные окна.

— Я думал, что это видение, и это меня извиняет.

Они валяли дурака, и он на луне, как на белой стене, начертал: «Мария Луиза». Она стерла, но он опять начертал. Она смеялась, пила вино. Он радостно, жадно смотрел, как убывает вино в ее стакане, как блестят от вина ее губы и тяжелый длинный завиток падает ей на лицо.

В черном дереве, окруженном стеклянным свечением, обитали мириады цикад. Их свист, звенящий стрекот и гром, казалось, раздувал черную крону. Дерево было как шар, наполненный стомерным звуком, состоящим из мельчайших блестящих частичек. В дереве шла загадочная, мистическая жизнь. Что-то мерцало, вспыхивало, переливалось ночными блестками, сотворялось из лунного света, древесного сока, слюдяного дрожания. Цикады славили кого-то невидимого, кто явился им в ночи, как их повелитель. Возносили ему хвалу, исполняя хором, на сто голосов, оглушительный священный псалом. В дереве играли дудки, струнные инструменты, гулкие бубны, тонкие колокольцы. И вдруг разом умолкали, словно тот, кого они славили, делал повелевающий взмах. Наступало мгновение тишины.

Будто время останавливалось, земля переставала вращаться, и эту остановку сердце чувствовало как сладкое изумление и страх. Но потом от вершины, ветка за веткой, все ниже и ниже, опускаясь до тяжелых, опадавших к траве ветвей, начинало вновь свистеть, звенеть, рокотать. Цикады окружали луну незримыми кольцами прозрачного звука, выдували огромный стеклянный шар дерева.

— Они играют в нашу честь, — сказала она, прислушиваясь, как и он, к громогласной какофонии, которая вдруг начинала метаться внутри дерева, словно незримые легчайшие твари всем своим множеством пересаживались на одну боковую ветку, стараясь ее накренить, а потом, промерцав внутри кроны, кидались на противоположную ветку, покрывая ее всю, каждый лист и сучок, хрупким прозрачным покровом. — Вы не знаете имя дирижера?

— Ее зовут Мария Луиза. Она приехала издалека. Специально чтобы дать концерт, только один, для единственного слушателя.

— Для вас?

— Для меня.

— Боже мой, — сказала она. — Мы с вами, два белых человека, оказались случайно среди азиатских джунглей, где идет война, люди мучают и убивают друг друга, сражаются за какие-то свои неясные цели и ценности, и мы среди этого враждебного, нам не принадлежащего мира, в котором за нами смотрит множество тайных глаз, подстерегает множество невидимых бед. Нас может завтра не стать, мы превратимся в красную пыль этих азиатских дорог, в горькие туманы их болот, и о нас никто никогда не узнает. Разве мы не можем позволить себе все, что захотим? Разве в этом есть грех?

Глаза ее стали тоскливыми, умоляющими, словно ее посетили дурные предчувствия. Он знал эти внезапные, не имеющие объяснения страхи, словно кто-то начинал блуждать вокруг тебя, желал тебя опознать, трогал на ощупь

твое лицо, окружал тебя множеством едва ощутимых дуновений. И ты робел, не хотел быть замеченным, старался выскользнуть из этих щупающих сквознячков, уклониться от этих слепых прикосновений.

Желая ее отвлечь, он чокался с ней, заглядывал ей в глаза:

— Еще там, в Пномпене, я хотел угадать, что у вас на цепочке? Крестик, ладанка, медальон?

— Когда вы будете писать свои путевые заметки, напишите обо мне два слова, — сказала она, не отвечая на его вопрос. — Хочу, чтобы вы написали. Про эту луну. И как пили вино. И как звенели цикады.

— Напишу, непременно. И о том, как на вашу прелестную смуглую руку опустилось из ночного неба крылатое диво. Маленький ангел-хранитель.

— В самом деле как ангел!

Хрупкое существо с тончайшим тельцем, крохотной зеленоватой головкой, на которой красноватыми точками горели глаза, медленно двигалось по ее руке, неся за собой пышный прозрачный ворох крыльев. Она смотрела на это небесное диво, приподняв руку, словно ожидая, что ангел взлетит. Белосельцев протянул свою ладонь, слегка коснулся ее пальцев, и стекляннокрылое существо перебралось с ее на его руку. Она не отнимала пальцев. Он легонько подул на ангела, распушив его прозрачный ворох, разворачивая его своим дыханием в ее сторону. Пернатое диво вернулось к ней, и тогда она легонько и нежно подула. Так они играли с крохотным ангелом, пока тот не взлетел и мельчайшей искрой исчез на луне.

— Как славно мы с вами танцевали в Пномпене! — сказала она, тихо качая головой, словно слышала тот бархатный, медовый звук саксофона.

— Я вас приглашаю, — сказал он, подымаясь из-за

стола. — Музыканты, — обратился он к свистящему дереву, — играем Попетти. Блюз «Волны Меконга».

Она поднялась. Он обнял ее, чувствуя, какая гибкая, чуткая у нее спина. Прижал к себе, так что сквозь тонкую нитяную рубашу ее грудь твердо, крепко прижалась к его груди. Они танцевали на пустой дощатой веранде под огромной луной, и он видел, как блестят на столе стаканы, бутылка и в пролитой капле вина трепещет огонек луны.

Они танцевали в пределах начертанного волшебного круга, сохранявшего их от внешних зол и напастей. Он поцеловал ее мягкие, темные от вина губы, и она, целуясь, положила ему руку на лоб. Уходя с веранды, приближаясь к дверям ее номера, он оглянулся. Вдалеке, на столике, мерцали стаканы, округлая стеклянная фляга, но не было видно крохотной лунной искры в пролитой капле вина.

Марлевый полог. Сухие горячие шорохи деревянной кровати. Среди черных рассыпанных волос ее лицо озарено наполовину луной, белое, блистающее, с близким мерцающим глазом. Другая половина в тени. Он губами касается света и тени, вдыхает жаркую, сладкую духоту. Ее близкий, раскрытый, наполненный блеском глаз. Цепочка медальона, как блестящие рассыпанные по ее груди зернышки света. Ее руки жадно, быстро пробегают по его плечам и спине. Текут непрерывные дневные видения, скопившиеся по каплям на дне глазниц. Ступени в склоне горы и белые сочные лилии. Голубая волнистая даль и пролетевшая вдоль обочины бабочка. Костяной полый шар в руках у печальной девочки, и зеленый кокос ореха в руках у печальной вдовы. Красный воздушный змей, ныряющий в теплом ветре, и вьетнамский грузовик у дороги, линиялы панамы солдат.

Он идет по зеленой траве, опасаясь взрыва и выстрела. Целует ее брови и лоб, границу свету и тьмы. Обходит желтый цветок, нагнутую ветром былинку. Целует ее жаркую грудь, твердый темный сосок. Перепрыгивает про-

зрачный ручей с донной игрой песчинок. Целует ее гладкий живот с горячей ложбиной пупка. Малая слюдяная стрекозка качается на тонком стебле. Целует ее колени, их матовый лунный свет. Горячая длинная насыпь, тусклый свет колеи. Целует ее тонкие щиколотки, чуткие сухие стопы.

Что-то зарождалось вдали, среди стеклянных миражей и туманов, приближалось над насыпью, как прозрачный солнечный вихрь. Обнимая ее, чувствуя ее губами, ладонями, горячей блестящей грудью, он выкликал этот вихрь, приближал, желанный, смертельный, завершающий бытие, уносящий туда, где нет имен и названий, нет видений и чувств, а одна ослепительная безымянная вспышка.

В комнате, под деревянным потолком, взорвалась звезда. Озарила каждый сучок, каждую трещинку, каждую нить в кисее, каждый черно-синий ее волосок. Погасла, оставляя в пространстве опадающие искры салюта.

Они лежали без движений на отмели, куда их выкинуло волной, как две перламутровые пустые ракушки. И кто-то безымянный, беззвучный удалялся в бесконечность, уносил с собой их безмолвные души.

— Как странно, — сказал он тихо. — Я только что видел бабочку, золотистую, с черными крапинами. Днем, во время странствия, я ее не заметил.

— А я сейчас видела чудные города. Цветные, дивной красоты храмы, дворцы и памятники. На улицах ни души, только здания небывалой архитектуры, словно озаренные радугой.

— Наверное, это был рай. Цветные волшебные города, на улицах ни души, только летают прекрасные бабочки.

— Значит, мы побывали в раю.

Они лежали под пологом. Сквозь прозрачную кисею луна освещала ее белые ноги. Вид ее колена, ее легкого, из тени и света, изгиба ноги вдруг вызвал в нем острую нежность, мучительную, слезную к ней любовь. Не умея ее вы-

разить, не понимая ее природу и сладкую боль, он слушал ее в себе, как улетающий звук. Не желал, чтобы звук исчез.

— Мы можем провести вместе завтрашний день? — сказал он. — Не хочу с тобой расставаться.

— Я завтра рано уеду.

— Тогда назначь мне свидание в Сиенреапе. Вместе встретим буддийский Новый год, поедem в Ангкор.

— Дай я тебя поцелую...

Она поцеловала его жадно и сильно, и ему показалось, что он почувствовал на губах соленую капельку крови. Откинула полог, выпуская его. Он встал, медленно одевался, отделенный от нее кисеей. Вышел босиком, неся в руках туфли. Шел по теплому деревянному полу, голубому от лунного света.

Глава седьмая

Тот недавний московский дождь, когда город стоял на блестящем черном стекле, сквозь которое в глубине просвечивали утонувшие храмы, плыли дворцы, огненные дуги реклам, луны фонарей, семафоров. То шумящее дерево с темной листвой, по которой стекали блестящие холодные струи, и на ветках, похожие на игрушки, висели златоглавые церкви, розовые особняки, голубые, наполненные светом троллейбусы. Близкое, среди капель и брызг, девичье лицо, глянцевитый отлив волос, острое приподнятое плечо, словно она плывет по темной воде среди светящихся водорослей. И внезапный ужас, будто из глубин посреди Москвы всплыло хвостатое чудище, опоясало мокрый древесный ствол, воззрилось маленькими рубиновыми глазками.

Что это было, окатившее его черным страхом, запретившее нежность, любованье, притиснувшее к его глазам и губам черную мокрую ладонь? Кто поставил перед ним огромную, до неба, икону, на которой — многоцветный град,

царевна у ворот, чешуйчатое мерзкое тулово опоясало стены и храмы, языкастая пасть нависла над царственной де-вой, и ни всадника, ни коня, только красный провал в пре-исподнюю?

Белосельцев, изведенный, несчастный, затворился в своей одинокой квартире. Пытался объяснить мучительный тромб, закупоривший его живые, проснувшиеся чувства. Он запретил себе видеть ее, думать о ней, быть вместе с нею в момент, когда она приблизилась к нему на расстояние ее чудесного молодого дыхания, ее телесного тепла, таинственного и прекрасного свечения глаз, когда он стал испытывать к ней нежность и неведомое ему прежде влечение. Он рубанул по их отношениям отточенным лезвием. Так десантным ножом перерезают парашютные стропы, и теперь, кувыркаясь в свободном полете, он летел с высоты на камни.

Что испугало его, пробежало по лицу мохнатыми цепкими лапками, как косматый африканский паук в блиндаже под Лубанго, и он, ужаснувшись, выскочил под белые звезды, смотрел, как жутко сверкают африканские созвездья, и на щеке горел след пробежавшего ядовитого чудища?

Он боялся себя — своей старости, немощи. Боялся позора и унижения, которые сулила ему их близость, таившая разрушительный, смехотворный итог. Боялся выглядеть похотливым и немощным старцем, подглядывающим сквозь кущи деревьев обнаженную женскую прелесть. И сам этот страх, боязнь позора был унижительным, вызывал в нем к себе самому гадливое чувство.

Он уверял себя, что им движет этика, моральная заповедь, запрещавшие использовать его жизненный опыт, мудрость, умственное превосходство и увлечь, обольстить незащитную наивную душу, чтобы насладиться ею, напитать ее прелестью, ее живой теплотой свою дряхлеющую, стынувшую плоть. Но эти размышления были жалкими, были скверным обманом и ханжеством, и он гнал их брезгливо.

Иногда мерещилось, что им движет таинственный страх и вина, связанные с другой женщиной, которая погибла по его вине, из-за его глухоты, из-за небрежной расточительности, когда жизнь казалась бесконечной, сулила множество встреч, высших свершений и радостей. И эта погибшая женщина, почти безымянная, с полузабытым лицом, неслышно, как дух, витала над ним. О чем-то умоляла, что-то ему запрещала.

Но все ясней, все отчетливей он ощущал, что это был запрещающий, ниспосланный свыше знак. Черный, с мокрыми плещущими крыльями ангел протянул из дерева сильную властную длань. Наложил на глаза, взиравшие на прелестную девушку, на уста, готовые произносить сладкозвучные речи. Уберег их обоих от неминуемой, приближавшейся к ним катастрофы. Завалил утесом открывшийся вход в преисподнюю. И нужно смириться, благодарить небесного ангела за его милосердие, за его запрещающий знак.

Ее уже не было с ним, она никогда не появится. Но она присутствовала в нем болью и явью, как у калеки ампутированная рука мучает крепостью сильных мускулов, игрой тонких жилок, чуткостью пальцев, глядящих хрупкую рюмочку, шелковый лист, холодную мягкость снега. Как у слепца на дне иссохших глазниц вспыхивают зори, цветут луга, врежется в синее озеро красный конь с золотым наездником.

Он проснулся ночью. Она стояла близко над ним, в зеленоватом свете фонаря, не касаясь пола гибкими босыми стопами. Ее легкие ткани были прозрачны от дождя. Сквозь них выступала круглая грудь с выпуклыми, отвердевшими от холодной воды сосками. Хотелось протянуть руку, прижаться губами к близким, под мокрой одеждой бедрам, к дышащему животу, притянуть ее к себе, увидеть близко смеющиеся розовые губы, прозрачные от смеха глаза.

Это было искушение. Так лукавый дух искушает отшельника в келье. Он встал, зажег свет. Коробки с бабоч-

ками, как церковные витражи, окружили его. Сквозь стеклянные призмы полились, заструились разноцветные лучи. Он знал их целительную волшебную силу. Подставлял им голую грудь. Тончайшими разноцветными остриями они наносили ему на грудь татуировку, рисовали магические орнаменты, впрыскивали в кровь целебные растворы.

Он смотрел на бабочек, стремился проникнуть в желанный цветочный мир, где среди спектров и лучистых энергий открывался рай. И в этом раю, золотистая, обнаженная, под сияющим солнечным деревом, протягивая руку к светящимся прозрачным плодам, открывая нежные розовые подмышки, стояла Даша.

Он лег в постель и выключил свет. За ночным окном мерцала омытая Москва. В черно-синем предутреннем небе туманились далекие кремлевские звезды. Звезды его бессонницы.

Утром стали раздаваться телефонные звонки. Он не подходил. Знал — это звонит она. Черный, звенящий, с опущенным хоботом слоник. Ниспадающий шнур. Стенная розетка. Сквозь стену, сквозь огромный город, по тончайшему световоду его взгляд достигал ее дома, где она, в белой ночной рубашке, перед зеркалом, в золотистом утреннем солнце, тяжелым гребнем расчесывает длинные волосы. И на столике — цветные флаконы, блюда, пудреницы, заколки, браслеты, маленькие часики, и в зеркале, в тяжелой стеклянной грани, трепещет короткая радуга.

Телефонные звонки прекратились, но через час раздался длинный, требовательный звонок в дверь. Это тоже была она. Он знал, она стоит под дверью, причесанная на прямой пробор, похожая на смиренную ученицу, в плотной короткой юбке, из-под которой видны ее круглые загорелые колени. Хочется к ним прижаться губами, ощутить тепло ее душистой кожи, и она погружает свои розовые пальцы в его волосы.

Это было наваждение, с которым нужно было бороться молитвой от чар, от искушающего духа-обольстителя. Он

посмотрел на книжную полку, где стояли Библия, Коран, «Авеста», «Махабхарата». Призывал к себе на помощь священные тексты.

Звонок больше не раздавался. Наваждение растаяло. Он ее победил. Отправил обратно, в далекие туманности и галактики, из которых она явилась, смутила его покой.

Теперь ему следует собраться в дорогу, выкатить из гаража тяжеловесную старомодную «Волгу» и уехать на дачу, до осени, до туманных холодов, когда рябина краснеет сквозь потное окно, в ней скачут, обклеивают ягоды серебристые шумные дрозды, и такая студеная синева, такая прозрачная даль, восхитительное одиночество спокойного, прожившего жизнь человека. Ожидать снегов, поземки над серой промерзшей землей, и забытая в бочке вода покрыта коростой льда, и ты трогаешь пальцами вмерзший в лед сизый воздушный пузырь.

Облачился в походную, выгоревшую куртку. Взял ключи от гаража, намереваясь по дороге купить хлеб, нехитрые съестные припасы. И уже мысленно мчался в подмосковных рощах, заботился о своих цветах, которые, должно быть, исчахли без воды во время палящей жары. Проходя через двор по прямой, от подъезда к чугунным воротам, испытал слабое давление в плечо, как едва ощутимый порыв ветра, как гравитацию невидимой планеты, вставшей над ним. Ему захотелось выйти на бульвар, к той скамейке, где он впервые увидел ее. Откуда виднелся желтый ампирный особняк, чугунный фонарь, ствол старого дерева. Он боролся с этим желанием, которое было ненужным, запоздалым, искривляло его прямой, проложенный в близкую осень маршрут. Но невидимая планета висела у него за плечами, неслышно давила, притягивала, и он, повинаясь ее гравитации, вышел на бульвар.

Пыльная сухая листва. Особняк цвета яичного порош-

ка. Тусклый чугунный свет фонарного столба. Деревянная скамейка. На скамейке сидела Даша.

— Я знала, что вы придете... — слабо сказала она. — Я вас ждала... — Она была понурой, тусклой. Несчастное лицо в серых тенях. Болезненные синеватые подглазья. Сутулая. Беспомощные руки на коленях. Она казалась больной. У Белосельцева от жалости, от вины, от нежности к ней, от вида ее детских понурых плеч и бессильных рук, погасших, потерявших изумрудный солнечный цвет глаз перехватило дыхание, и стало так больно, что желтый особняк побелел и выцвел. И он понял, что болен сам, одной с нею болезнью. Опустился рядом с ней на скамейку. — Я ждала вас... — тихо повторила она.

Он тоже ждал, желал этой встречи. Надеялся, что тот, неумолимый, жестокий, кто запретил им быть вместе, одумается, смиростивится. Допустит их встречу. Он сам, по доброй воле, не расставался с ней ни на миг. Ежесекундно чувствовал ее присутствие. Вызывал, выкликал. Ждал ее появления. И та невидимая безымянная планета, вставшая у него за спиной, отклонившая его путь, искривившая своей живой гравитацией прочерченную, процарапанную на асфальте линию, — это была она, сидящая на бульваре под старым высыхающим деревом, зовущая его бессловесно.

— Вы избегаете меня?.. Вы отринули меня?..

Он чувствовал боль и беспомощность, словно был ранен. Боль была повсеместно — в теле, в душе, в воздухе, льющемся из древесных ветвей, на которых от боли свернулись листья, растрескалась кора, и чугунная тумба фонаря светилась тусклым пятном боли.

— Почему?.. Чем я провинилась?.. Чем вас обидела?.. Почему вы так обошлись со мной?..

Боль была нестерпима, за нее, за себя. За весь хрупкий, уязвимый, подверженный разрушениям мир, в который его поместили, поманили разноцветным волшебным

фонарем, а потом, погасив фонарь, оставили погибать в тусклом непонимании мира. Как мог он от нее отказаться, каким помрачением, какой потерей рассудка?

— Я набирала ваш номер, вы были дома, но не поднимали трубку... Я звонила вам в дверь, знала, что вы у себя, но вы не хотели мне открыть... Чем я провинилась?..

Он чувствовал жизнь как тончайшую пленку света, в которой дано ему пребывать на исчезающе краткое время. Вместо того чтобы любить, ликовать, славить Творца, стараться угадать его волю, следовать его наущениям, он своевольно гасил этот свет, отвергал эту волю. Отвергал ее, Дашу, посланную ему на великое утешение, во благое спасение. Не внял знамениям, предвещавшим ее появление. Звуку золотых колоколов, разбудивших его от глухого сна. Видению Кремля, проплывшего перед ним над рекой. Крылатой ладье, поднявшей его в ночное синее небо. Райским вратам, открывшимся ему в прохладных залах музея.

— Вы сначала меня спасли, протянули мне руку, а потом оттолкнули?.. Я та, которую нужно отталкивать?.. Со мною можно так обращаться?..

В глазах у него было туманно от слез. Они не текли, а превращались в радужные круги и разводы, в которых размыто, как влажная акварель, пестрела и струилась Тверская, водянисто светились фасады, скользили гладкие, как мазки, автомобили. В этих неистекающих слезах было столько боли, и нежности, и бессилия, и бессловесной мольбы к ней, чтобы она оставалась рядом, на этой старой скамейке, перед желтым ампирным фасадом, что он, не видя, почти наугад, взял ее ладонь, поднес к губам. Целовал ее пальцы, что-то беззвучно, невнятно шептал. Почувствовал, как она положила ему на голову руку. Замер, счастливый, обессиленный этим прикосновением. Боялся колыхнуться, спугнуть ее робкую, осторожную руку.

Они шли вниз по Тверской, медленно, не разговаривая,

не касаясь друг друга, но не удаляясь, не расходясь, сберегая то расстояние между собой, которое позволяло им чувствовать тепло, дыхание друг друга, сберегало едва заметное свечение, которое они излучали, направляли один другому.

Тверская, горячая, солнечная, с каменными ребристыми фасадами, с витринами, в которых золотились калачи, качались рыбины, громоздились арбузы и фрукты, краснели мясные копченые туши, сверкали бриллианты, пушились меха, завлекали манекены и маски, мигали рекламы, таинственно горели фонари и вывески ночных клубов и казино, хрустальные призмы банков, — улица кипела толпой, пузырилась и хлопала протянутыми в небе полотнищами, взрывалась и мягко ревела проносящимися автомобилями, светилась маслянистым воздухом, бензиновым жаром. Казалась наполненным и бурлящим желобом, в котором мчались плотные энергии. Но, находясь в этом клокочущем потоке, Белосельцев и Даша не сливались с ним, существовали отдельно. Белосельцеву казалось, что чувство, которое он испытывает, которым избыточно переполнено его сердце, не уместаясь в нем, изливается наружу в виде невесомого свечения, которое проникает в камень фасадов, в металл автомобилей, в сгустки и круговороты толпы. Уменьшает их вещественность и материальность, делает прозрачней и легче.

Они миновали малиновое, стройное здание Моссовета, на которое с противоположной стороны Тверской, через головы толпы, взирал Юрий Долгорукий. Прошли мимо огромного гранитного дома, похожего на скалу, с полукруглой, напоминавшей ущелье аркой. И когда приблизились к арке, оттуда, из соседней тесной уютной улочки, раздался колокольный звон, близкий, радостный, требовательно-бодрый, заставлявший оглянуться, остановиться, всмотреться в полукруглую арку, где виднелись золотые купола и светлые стены храма. Невидимый звонарь угадал момент, когда они проходили. Натянул и отпустил веревки колокола

в тот миг, когда они были рядом. Звал именно их, им направлял свои бодрые, требовательные, зовущие звоны. Белосельцев не видел звонаря, но представлял его истовое синеглазое лицо, изогнутую узкую талию, черный мятущийся подрясник. И нагретую медь колоколов, которые, распугав голубиную стаю, выталкивали из-под каменных сводов дрожащие жаркие пузыри звуков.

«Пойдем?» — одними глазами спросил Белосельцев.

«Пойдем», — так же молча, движениями ресниц и бровей, отвечала она.

И они свернули с Тверской, оказались перед храмом. Вошли под его резной козырек, под горящую над входом красную лампаду.

В церкви, еще пустой, был светлый, теплый сумрак, пахло деревенскими сениями. При входе на большом столе, перед смуглым, с недвижными очами Спасом, стояли блюда и тарелки с яблоками, румяно-красными, медово-желтыми, зелеными с восковым налетом. От них шел сладкий дух. Каменный пол был выстлан полуиссохшей темно-зеленой травой, благоухающей, тихо шуршащей. И казалось, среди свечей, медных начищенных подсвечников, золоченого витого иконостаса появятся женщины в платках, долгополых юбках и граблями станут метать круглые зеленые копейки. Вид этих яблок, сухой травы, редких золотых свечей умилил Белосельцева. Они с Дашей встали у стены, откуда виднелся далекий озаренный вход, заслоняемый редкими посетителями. Возникла прозрачная, затмевающая солнце тень, крестилась, входила в храм, и снова жарко, пусто светился полукруглый вход, звенели наверху переливчатые колокола, пахло травой и яблоками.

— Здравствуйте, спаси вас Господи! — К ним подошла немолодая женщина в ситцевом платочке, с матерчатой кошелкой. Ее лицо с частыми, светлыми морщинами улыбалось. Из веселых блекло-голубых глаз текли по щекам

две солнечные струйки. Голос был слезно-дрожащим, но не горюющим, а радостным, словно морщины на лице были проточены не страданием и горем, а постоянно льющимися слезами радости. — Хорошо, что пришли, давно вас не видела. Должно, путешествовали? Дома-то лучше. Праздник сегодня большой, Преображение. Человек воображает, а Бог преображает. Возьмите-ка яблочко! — Она достала из кошелки два маленьких красных яблока, протянула им. — Земля — как яблоко. Поспеет, и Господь сорвет. А покуда пусть наливаются. Чтоб червяк не сточил. Друг друга берегите, жалейте. А я дальше пошла! — И исчезла, растаяла в жарком солнечном полукруге. Оставила после себя яблочный дух, шорох травы, два круглых красненьких яблока, которые они держали в руках. Так и стояли с яблоками, улыбались друг другу.

В церковь проходили, словно по стежке, легкие старички и старушки. Вставали каждый в своем уголке. Иные обходили храм, отвешивая гибкие поклоны перед иконами, у которых, помимо свечей и лампад, светились в стеклянных банках букетики васильков и ромашек. Вышел дьякон, белобородый, с розовой лысиной, с толстой тяжелой книгой, точь-в-точь как Никола на старом коричневом образе, перед которым лежал пучок ржаных колосков. На его появление отозвался хор, негромкий, прозрачный, словно пятно водянистого солнца. Дьякон зарокотал, загудел, как шмель в цветке. Белосельцев сладко вздохнул и счастливо заснул — стоя, с открытыми глазами, глядя в поле, в лес, на светлое облако, на пучки желтой пижмы, держа в руках маленькое красное яблоко.

И снилась ему светлая церковь посреди Москвы, и девушка, стоящая вблизи от него, дорогая и ненаглядная, в чьей легкой руке краснело яблоко. Его жизнь, угаданная неведомым живописцем, была нарисована на стенах храма, на столпах и на сводах, на разноцветных досках, помещенных

в проемы иконостаса. И она была достойна того, чтобы украсить собою храм.

Мученики в белых одеждах на краю глубокого рва были его предки, погибшие в революциях, сгинувшие на чужбине, исчезнувшие в гонениях. Витязь в доспехе, оседлавший боевого коня, в алом плаще, вонзивший копье в огненный зев дракона, был его отец, убитый под Сталинградом. Две кроткие женщины, несущие в пеленах младенца, были его мама и бабушка, вскормившие его и вспоившие. Икона Флора и Лавра — разноцветные кони, играющие на цветущем лугу, — изображала его детство и юность. Путник среди скал и ущелий, среди морей, водопадов был он, в скитаниях по войнам, — в горах Гиндукуша, в африканской саванне, в жарких песках Калахари, на берегах океанов. Святитель в долгополой одежде с посохом и тяжелым крестом был его друг, погибший в бою под Гератом. Темноликий апостол на темной высокой доске был партизан-намибиец, убитый в предместьях Виндхука. Святой в клобуке, воздевший узкую длань, был сандинист, утонувший в красной воде Рио-Коко. В каждой фреске он узнавал друзей и знакомых, с кем его сводила судьба. Все они были благородны, добры, храбро сражались. На их безвестных могилах качались колючие травы, пели пустынные птицы, белели под луной валуны.

Он видел весь храм, все его росписи в золотистом сумраке. И только в тенистом углу оставалась фреска, которую он не мог разглядеть.

Хор негромко, разногласо пел, будто сплетал веночек из полевых цветов. На медном подсвечнике, как на бабушкином самоваре, отражалось бледное солнце. Дьякон бессловесно рокотал, как далекий за лесом гром. Душа Белосельцева напрягалась, ждала. Полукруглый вход в храм был наполнен сиянием, словно там, снаружи, кто-то приближался с ослепительным лучезарным лицом.

«Я здесь... Я жду... Я готов...» — ждал он кого-то, кто нес ему весть.

Увидел, как вспыхнул нестерпимо полукруглый проем и в пучке слепящих лучей что-то влетело в храм, неразличимо-огромное и ликующее. Стало метаться под сводами, высвечивало углы, словно искало его. Встало перед ним, опустив до каменного пола длинные крылья. Положило ему на лоб горячую ладонь. Что-то громко, неразлично сказал. Что-то прекрасное, чудное. И исчезло, разметав на полу зеленую сухую траву.

Он стоял, пораженный. Храм стал огромным. Горели на фресках плащи и крылья. Светились венцы и нимбы. Сияли бесчисленные свечи. Как светила, пламенели лампы. В темном углу, словно в луче прожектора, открылась фреска. Дева на коленях, ангел с заостренными крыльями несет ей алую розу.

Он посмотрел на Дашу. Она стояла перед ним, держала красное яблоко. Он любил ее. Ее руки, лицо, тонкую шею, красное яблоко, траву у нее под ногами, воздух и свет вокруг ее головы. Он чувствовал ее мысли, слышал ее дыхание, знал, чем наполнено ее молодое, стучащее сердце. Он любил мир, в котором одновременно с ним, для него, посланная чьей-то благой и милостивой волей, указанная ему чьим-то вещим перстом, существовала она.

Она оглянулась, кивнула ему. Указала глазами на светящийся полукруглый проем. Тихо пошла. Он следовал за ней. Ему казалось, что воздух, сквозь который она проходила, начинал чуть слышно звенеть и светиться.

Они шли молча, и он ловил себя на том, что улыбается. Не смотрел на нее, но видел ее маленькое, прозрачное на солнце ухо, зеленые, с блуждающими тенями глаза, каждый светящийся, стеклянный лучик в рассыпанных по спине волосах. Он любил ее.

Ему казалось, что все происходящее вокруг, все соз-

данное и существующее происходит для них, создано во имя их, устремлено к ним. Улица, по которой они шли, проложена в этой части города для того, чтобы дать им проход. Деревья, прораставшие сквозь чугунные решетки, торопятся дать им свою тень, испускают сладкий вялый аромат. Люди уступают им путь, оглядываются, радуются возможности быть в одном с ними городе. Вывеска в магазине столь нарядна и затейлива для того, чтобы привлечь их внимание, позабавить их. И все, что ни взирает на них, живое и неживое — прохожие, лепные фасады, проносящиеся автомобили, искрящийся фонтанчик воды, — знает, что он любит ее.

Они вышли к Арбату, когда в теснины улиц уже проливалась вечерняя синева и солнце уходило с высоких крыш. Арбат встретил их музыкой, барабанным боем, громом оркестра. Зычный, металлически-звонкий голос, усиленный мегафоном, отражался от фасадов, летал над толпой, оседал на прически и шляпы металлической пудрой. Повсюду трепетали натянутые полотнища, транспаранты, рекламирующие какое-то чудодейственное медицинское средство «Вита». Известный торговец лекарствами, богач, депутат Думы, собственной персоной, в белоснежном костюме, стоял на затейливой трибуне и взмахами фокусника зажигал прожекторы, гирлянды, цветные бегущие огоньки, окружавшие огромную, из надутой резины, таблетку с надписью «Вита».

— Две такие таблетки утром, после еды, и ты целый день счастлив, — сказала Даша.

— Я и так счастлив, — сказал он, и она, прищурясь, посмотрела на него, словно желала убедиться в том, что он действительно счастлив.

Действо на Арбате было частью шумной рекламной кампании, которую ловкий делец проводил в эти дни на телевидении, в газетах и даже в парламенте, используя выступления для пропаганды своей фармацевтики. Белосельцев, понимая это, не любя говорливого и лукавого дельца, в

эти вечерние, наполненные фиолетовыми теплыми тенями минуты верил, что все это свершается ради них двоих. Их славят медные трубы оркестра. К ним взывает громкоголосый человек в белоснежном костюме. Ради них сквозь разноцветные полотнища вздымается громада высотного здания, как гора, с красным пятном последнего солнца.

По брусчатке бурно и браво прошагал отряд гренадеров петровских времен. Усачи, блестящие кивера, мушкеты, разгоряченные лица. Били барабаны, тонко свистели флейты, запевала удалым, молодцеватым голосом, оборачиваясь к наступавшей шеренге, затянул строевую песню. И все, кто ни стоял на Арбате, восхищались, махали руками, радовались бутафорским мушкетам, сусальной позолоте, ловко сшитым театральным мундирам.

— Это что должно означать? — спросила Даша, радостно глядя на проходящих солдат.

— Принимай таблетку «Вита» — и станешь бесстрашным, как эти молодцы! — ответил Белосельцев, любуясь позументами и эполетами.

Вслед за отрядом пошли скороходы на ходулях, высоченные, в шутовских колпаках, переставляя свои огромные козлиные ноги, колотя в бубны, жонглируя тарелками. Посылали толпе воздушные поцелуи, рассыпали с высоты конфетти, метали разноцветные серпантины.

— А это что означает? — спросила она, глядя вслед исчезающим скороходам.

— Принимай таблетку «Вита» — и станешь быстрым, как ветер. А не будешь принимать — останешься соней и тюфяком.

Скороходов сменили непомерные по размерам надувные куклы. Добродушные, колыхающиеся в воздухе чудовища, нестрашные уроды, смешные горбуны, легковесные, колеблемые ветром гиганты, изображавшие героев диснеевских фильмов. Наблюдавшая толпа радостно ахала, свисте-

ла, норовила тронуть резиновых великанов, качнуть их полые колеблемые туловища.

— А к этому как отнестись? — спросила она, принимая его игру, наклоняя голову, чтобы лучше, сквозь свисты, хлопки и музыку, слышать ответ.

— Принимай таблетку «Вита» — и сразу поправишься, станешь упитанным, жизнерадостным.

— А ветром не унесет?.. А если на кнопку сядешь?..

— Станешь унесенной ветром...

Он впервые назвал ее на «ты». Она не заметила, а он несколько раз, радостно, среди веселья и шума, обращаясь к ней, повторил это «ты».

Шествие по Арбату продолжалось. Бородатые цыгане в шелковых рубахах вели на цепях медведей. Медведи жарко дышали, вываливали красные языки. От них пахло зверем, свалявшейся шерстью. Цыган протянул медведю целлулоидную бутылку с минеральной водой, зверь, поднявшись на задние лапы,пил на ходу, грыз клыками бутылку, проливал на косматую грудь водяную струю.

Фантастические обнаженные женщины с павлиньими хвостами, с серебристыми птичьими хохолками, в блестящих, переливах, радужных разводах, пошли по брусчатке. Взмахивали сильными голыми ногами, показывали плотные, едва прикрытые груди, поводили плечами. Стучали каблучками по брусчатке, колыхали плюмажами, описывали бедрами круги и вензеля, отчего перламутровые хвосты били по толпе, слепили. И хотелось вырвать, как из жар-птицы, огненно-зеленое, с золотыми разводами перо.

— Принимай «Виту» — и ты покроешься перьями! Превратишься в курицу! — сказала она.

— В павлина, — поправил он. — В того самого, в центре Вселенной, которого мы видели с тобой на картине.

Кавалькада и шествие завершились. Толпа сомкнулась, наполнила весь нарядный вечерний Арбат, по которому

разносилась музыка, горели аметистовые прозрачные колбы фонарей, пахло жаровнями, сладкими дымами, ванилью, пряностями. В сумерках заскользили, замелькали пульсирующие лазерные лучи. Бесшумно пронзали сумерки. Как сверкающие иглы, утыкались в фасад высотного здания. Чертили на нем письма, иероглифы. Гасли, снова вспыхивали. Покрывали здание искрящейся татуировкой, мерцающим волшебным орнаментом. Здание, еще недавно тяжелое и каменное, как гора, теряло вещественность, двоилось, раскалывалось, прозрачно сквозило. Его пронзали искристые трассеры, невесомые лучи, отпечатывали его огромную серебристую тень на темное небо.

Белосельцев испуганно, изумленно подумал: какое затмение нашло на него, когда он хотел от нее отказаться, лишить себя этого счастья, не видеть этих пернатых див, серебряных хохолок, туманно-лиловых аметистовых фонарей, которые зажглись по всему Арбату. Не видеть ее счастливого любимого лица, следящего за карнавальным шествием. Какое помрачение на него опустилось и какое чудесное просветление было ему ниспослано.

От шума, света и музыки взлетали испуганные птицы. Носились вокруг высотного здания. Попадали в лазерные лучи, как под выстрел. Вспыхивали, словно раскалывался в воздухе стеклянный сосуд. Брызгали, сгорали, успевали отбросить на стены крылатые отпечатки. Белосельцев смотрел на ослепительных птиц. Хотел навеки запомнить.

Они дошли до Патриарших прудов, до их черно-зеленого сумрака. По тенистым аллеям мелькали тени, раздавался смех, играла музыка. В древесных стволах мерцало огненное Садовое кольцо. А в зеркальной воде отражались золотые окна окрестных домов, белые колонны дворца, каменные надвратные львы.

Они прошли в маленький ресторанчик-поплавок, похожий на причаленный к берегу кораблик. Когда садились за

столик, почувствовали, как колышется от их движений пол, словно палуба. И слегка закружилась голова, будто вода кругом волновалась. Они пили холодное красное вино, запивая им горячее, хорошо прожаренное мясо. Каждый раз, когда кто-нибудь вставал из-за столиков или официант с подносом вбегал под навес, дощатый пол волновался, отражения в воде колебались вокруг невидимой легкой оси, на которую был надет весь теплый вечерний город.

— Кажется, только вчера познакомилась с вами. А столько всего случилось. — Даша смотрела на него не мигая, и ее глаза были темно-зеленые, под стать изумрудному, освещенному фонарем омуту за резными перилами ресторана. — А что случилось-то? И не скажешь. Фонарики, огоньки, карусели. А на самом деле столько перемен и событий!

— Вторая жизнь, — сказал он, чувствуя, как слабо волнуется под ними вода, словно помост оторвался от берега и поплыл по зеленым волнам мимо деревьев, золотых отражений. — Одна моя жизнь прожита. Время остановилось, окаменело. А потом появилась ты в своем разноцветном платье, посадила меня на кораблик, и все задышало, задвигалось, заблестело, как вода в том разноцветном фонтане. Вторая жизнь началась.

— Я ничего не знаю о вас. Есть ли у вас семья?.. Жена?.. Дети?.. Я была у вас дома, и мне показалось, что в вашем доме отсутствует женщина. Хочу знать, как вы жили прежде.

— Ты права, мой дом — как монастырь на Афоне. Ты — первая женщина, посетившая меня за много лет. Нет ни жены, ни детей. Одни только бабочки...

Она коснулась его, как касаются старого дерева, корявого сухого ствола, в котором в глубине, под морщинистой жесткой коростой, таится живая нераспустившаяся почка. Его неосуществленное отцовство, его несостоявшаяся се-

мья. Не пробившийся сквозь кору побег, который не разросся в шумную зеленую ветвь, и на распиленной древесной доске, среди ровных волокон, отмечен слабый волнистый изгиб, запекшаяся жилка смолы. Она коснулась осторожно и бережно, и место, к которому она прикоснулась, слабо и сладко заныло.

— А какие женщины вас любили? Каких любили вы?.. Я ведь вам сказала, мне кажется, что в прежних жизнях мы с вами встречались и я была вашей женщиной.

— Мой опыт не слишком богат. И его нельзя назвать слишком счастливым. В прежних жизнях, о которых ты говоришь, я, должно быть, провинился перед женщиной и теперь за это плачу.

Тот гостиничный номер в Кабуле, когда в морозной сухой темноте начинает звенеть, приближаться патрульная боевая машина, яркий прожектор бьет в потолок, отражается в зеркале, и ее лицо, близкое, вспыхивает, как отлитая из серебра ритуальная маска, он успевает заметить лазуритовую сережку в ее розовом ухе, рисунок губ, завиток волос на подушке, стоящий в вазе цветок, а потом сквозь сон всю ночь обнимает ее теплое ленивое тело, чувствует ногой ее хрупкую сухую лодыжку.

Африканская душная ночь, за окнами виллы огромная голубая луна. Она лежит перед ним на постели, как скульптура, отлитая из нигерийской коричневой бронзы. Ее приподнятые острые плечи, длинные, с сильными сосками груди, глазированный, блестящий живот с высоким, густым лбом. Ее приподнятое колено и смеющийся белозубый рот. Она зовет его, тянет тонкую руку, на которой светится серебряный узкий браслет. Он медлит, не может насладиться ее красотой, таинственными линиями ее длинного африканского тела, мягкой шелковистостью кожи, словно на нее вылили флакон благовонного масла и оно отсвечивает под голубой огромной луной.

Тот брезентовый походный гамак, растянутый между сосен. Он лежит, глядя на звезды, слыша, как устраивается на ночлег, засыпает отряд сандинистов. Смолкают голоса, звяк оружия. Остывают и меркнут угли в угасшем костре. Через мохнатую ветку сосны переливается влажная большая звезда. Женщина, телефонистка, с которой днем перекинулись шуткой, обменялись быстрыми жаркими взглядами, скользнула к нему в гамак. Почувствовал, как упруго натянулся брезент, скрипнули на соснах веревки. Целовал ее полные жаркие груди, жадный шепчущий рот, гладил ладонью ее черные блестящие волосы. Утром, когда между сосен загорелась малиновая заря и запела первая птица, она ускользнула от него, босая, быстрая, сильно качнув гамак. Засыпая, слыша замирающие колыхания, он чувствовал, как болят его искусанные губы, как на руке живет отпечаток ее черных жестких волос.

Он все это вспомнил одновременно, пока проплывал по зеленой воде бесшумный лебедь, вытягивал за собой блестящую струнку волны.

— Вы кто?.. Военный?.. Дипломат?.. Путешественник?.. Мне кажется, таким, как вы, был Арсеньев или Пржевальский. Военные, странники, составляли карты, собирали гербарии. Давали названия рекам, вершинам, даже животным. Вы не открыли свою лошадь Пржевальского?

— Даже вида бабочки не открыл. В Афганистане друзья-офицеры моим именем назвали большую собаку. Она была пыльная и голодная, прибилась к нашему лагерю. Начинала лаять, если к ограде приближался белудж или хозарец. Когда мы улетали на вертолете, она долго бежала следом. Я смотрел на нее в иллюминатор.

Всю жизнь ему казалось, что его ожидает открытие. Огромное, ниспосланное чудо, которое объяснит ему, как устроен мир, что есть силы небесные, что его ждет после смерти и как, прожив земной век, он уйдет в посмертную

жизнь. Иногда это чудо подступало вплотную, начинало светиться, будто кто-то подносил к глазам разноцветный резной фонарь. А потом оно отступало, фонарь уносили. Земля, покрытая воронками взрывов, горящими кишлаками и хижинами, была ареной беспощадной борьбы, в которой погибло его государство, погиб он сам, обреченный на бессмысленное проживание дней. Но вот снова загорелся фонарь, чудо вновь к нему подступило. Он смотрит на прекрасную девушку, любит ее. Протянет руку и коснется ее близкой руки.

— Вы верите в Бога? Верите, что за каждым из нас стоит ангел-хранитель?

— Ты мой ангел-хранитель. Явилась ко мне во плоти, не даешь мне погибнуть.

Она выпрашивала его, словно он своими ответами заполнял пункты анкеты, которую она ему предлагала. По отрывочным неполным ответам составляла его образ. Сверяла с чьим-то невидимым портретом. Устанавливала их сходство и тождество.

— Я вам очень верю. Мало вас знаю, не все в вас понимаю, но очень верю. Вы хороший, добрый, очень искренний, честный. Вы спасли меня от беды. Не от той, мелкой, с оболтусами на бульваре. А от какой-то огромной, как падающая гора. Она уже падала, сыпала на меня камни, заслоняла солнце. А вы ее остановили. Она не ушла совсем. Где-то притаилась, озлобилась и на меня, и на вас. Мы теперь должны быть вместе, чтобы не погибнуть.

Он не чувствовал, не ведал беды. Все беды были там, в прежней жизни. А теперь возникло ощущение летнего утра с предстоящим огромным, почти бесконечным днем, в котором они будут вместе. Проживут этот бесконечный прекрасный день, который кончится долгой зарей, не гаснущей в черном саду, когда забытое ведро с водой еще долго блестит в темноте.

— Я вам уже говорила, меня подстерегает какое-то огромное зло. Оно приближается, наступает, готово меня поглотить, а потом отдаляется, словно оставляет меня на потом. И при этом, я знаю, меня ожидает какое-то огромное счастье. Как будто кто-то шепчет мне на ухо: «Ты избрана, жди, и, быть может, при жизни тебя возьмут на небо». Я живу в ощущении счастья и в ожидании беды. Может, кто-то из моих давних предков был злодей и разбойник. Породнился с какой-нибудь блаженной, и теперь во мне и то и другое. Семя добра и зла.

Он слушал ее, улыбался. Удивлялся простому устройству мира, который вчера был непознаваем, недоступен для разумения, а сегодня, когда появилась она, стал очевиден, прозрачен. Так ныряльщик в морской воде, открывая глаза, видит солнечную зеленую муть с неясными очертаниями дна. Но стоит надвинуть маску, как сквозь хрустальный овал открывается разноцветное царство с морскими цветами и травами, зарослями хрупких кораллов, стадами перламутровых рыб, с подводными раковинами, скоплением чудищ и звезд. Она и была тем хрустальным стеклом, которое появилось у глаз. Тем живым прибором, помещенным между ним и всем остальным мирозданием, которое он познал, полюбив ее. Так ракета ориентируется по звезде, захватив в телескоп ее чистый прозрачный луч. Он и был той ракетой, которая слепо летела в темноте неодушевленного космоса, пока не сверкнул в душе луч волшебной звезды.

— Мне бы хотелось, чтобы вы увидели место, где я была счастлива. Где прошло мое детство. У нас есть дача на Оке под Серпуховом. Мы поедем туда, и я покажу вам вишневый сад, и Оку, и те кущи, которые дед называл «Дашин лес», и тот деревянный стол, за которым когда-то собиралось много веселых, счастливых людей. Я смотрела на них из моего уголка и всех их любила. Вы обещаете? Мы поедем на Оку?

Он поедет хоть завтра. Выведет из гаража свою старомодную тяжелую «Волгу», загрузит провизию, и они поедут сквозь подмосковные дубравы, мимо церквей, деревушек, к синей Оке, в которую среди цветущих лугов впадает приток Княжая. И там, среди зеленых копен, гудящих шмелей и мелькающих в траве мотыльков, он обнимет ее.

— Вы сказали, что я ваш ангел-хранитель. Мне кажется, я бы могла вас охранить от ваших печалей. Чтобы вы отвлеклись от горьких мыслей и тяжелых воспоминаний. Забыли свои войны, свои потери. Стали бы писать какую-нибудь красочную книгу о бабочках. А я бы за вами ухаживала. Варила вам кофе, гладила рубахи. Вы читали бы мне страницы о какой-нибудь пойманной вами африканской бабочке. За окном метет московская метель, и я укрываю вам ноги теплым клетчатым пледом.

Он кивал, соглашался. Голова кружилась от ее слов, от красного вина, от колыхания шаткого помоста. Невидимый прожектор падал на воду, и в зеленой глубине мерещились контуры утонувших кораблей, ушедших в море античных храмов, глиняных амфор. И где-то рядом, невидимый, дремал на водах лебедь. И все, что она говорила, казалось возможным.

— Милая, — он взял ее руку, прижал к губам ее пальцы, — ты моя милая.

И снова, как утром, она положила свою легкую ладонь ему на голову, и он счастливо замер. Словно боялся спугнуть присевшую бабочку.

Глава восьмая

На рассвете, не просыпаясь, он слышал снаружи голоса, работу двигателя. Знал, что итальянка уезжает, но не сумел проснуться. Во сне с ней прощался, во сне заглядывал на нее сквозь стекло и она ему улыбалась. В своих сновидени-

ях летел за ее белой машиной, над дорогой, на уровне древесных вершин, видя, как кудрявится под колесами красноватая пыль.

Второй раз сквозь сон, на галерее, он слышал негромкие голоса, кажется голос Сом Кыта и чей-то еще, глухой и властный. И опять не проснулся, не мог одолеть сладких сновидений, в которых виделись ему разноцветные города, колонны, оплетенные розами, амфитеатры на берегу лазурного моря, стеклянные брызгающие фонтаны, и они с ней, взявшись за руки, без одежд, как первые, сотворенные Богом люди, идут по волшебным городам.

Когда он наконец проснулся и встал из-под полога, комната была полна горячего утреннего света, скобленные доски пола были теплые, нагретые солнцем. Он принял душ, долго поливал на себя из ковша, выдувая на губах серебряные пузыри. Побрился электробритвой, которая из-за слабого напряжения едва жужжала. Вышел на галерею и увидел Сом Кыта, поджидавшего его за столиком с пиалкой чая.

— Доброе утро, — поздоровался Белосельцев, глядя на дерево, которое ночью, черное, наполненное свистом и звоном, казалось глазированным в свете луны, а утром изумрудно сияло, сочилось солнечным блеском, и на ветке пела невидимая голосистая птица. — Как вы спали? Вам удалось отдохнуть?

— Благодарю, мне никто не мешал. Надеюсь, и вы отдохнули. Нам предстоит насыщенная программа.

— Пожалуйста, Сом Кыт, поделитесь со мною планами. Им предстояло с утра посетить лагерь военнопленных «кхмер руж», где одурманенные Пол Потом солдаты проходят курс перевоспитания, прежде чем их отпустят домой. Советскому журналисту покажут возрожденное производство, небольшой кирпичный завод, запущенный энтузиастами города. Они побывают в гостях у местной знаменитости, художника, вкусившего ад подневольного творчества.

И наконец, настоятель местного буддийского монастыря примет их в своей резиденции. Все это сообщил ему Сом Кыт, поглядывая в маленькую записную книжку, в которой Белосельцев углядел вложенную цветную репродукцию Дега — танцующих голубых балерин.

— Прекрасная программа, — сказал Белосельцев. — Благодарю вас за содействие. Если не возражаете, мы можем ехать сейчас.

— Мы должны подождать, когда за нами заедет шеф местной безопасности. Он уже был рано утром. Интересовался ночевавшей здесь итальянкой.

— Да? — рассеянно заметил Белоглазов, испытывав мгновенную тревогу, похожую на облачко, пробежавшее рядом с солнцем. — Я виделся с ней вчера. Мы поболтали немного. Она из миссии ООН.

— Шеф безопасности сообщил, что ее интересы выходят за рамки, предписанные эмиссарам ООН. Он подозревает, что ее интересует состояние железной дороги и других стратегических объектов. Она несколько раз съезжала с шоссе, взбиралась на железнодорожную насыпь и фотографировала мосты и разъезды. Он сказал, что она рискует, потому что в окрестных лесах бродят банды, которые устраивают засады, минируют дороги и не обращают внимания на голубую эмблему ООН.

Тень набежала на солнце, словно на нем появилась черная раковинка затмения. Белосельцев испытал холодок, который сменился острым страхом за нее, воспоминанием о ее нежном, белом, незащитном колене, которое еще недавно он целовал под прозрачным нитяным балдахином. И надо немедленно ехать, догнать ее на дороге, поведать о грозящей смертельной опасности. Повернуть обратно в Пномпень, и пусть уезжает в свои Сиракузы, подальше от желтых ядовитых туманов, зеленых горячих болот, сквозь которые идет нагретая солнцем пустая колея и отовсюду, из-

под каждого листа и цветка, смотрят всевидящие глаза. Он все это испытал в секунду своего страха и любви, испугавшись, что Сом Кыт своим ясновидением угадает его тайные мысли. Уводил его прочь, сбивал со следа, петлял, заманивая в кущи иных рассуждений и мыслей.

— Я очень рад возможности посетить монастырь. Буддизм учит рассматривать мир не как бесконечное сражение Зла и Добра, а лишь как разную степень просветленности бытия. Что для нас, европейцев, — непрерывная война миров, то для буддистов — неодолимое усиление в мире Добра и Света.

— Еще он сказал, что итальянкой интересуются вьетнамцы. Она просила разрешения проехать к границе, но ей отказали.

Белосельцев не стал отвечать. Сом Кыт посылал ему сигнал тревоги, и было неясно, хотел ли он предупредить его этим сигналом или обнаружить его сокровенные мысли.

В ворота, под деревья, въехала легковая машина. Из нее вышел человек в камуфляже, поднял лицо в очках, направил на галерею два колючих лучика солнца. Через минуту он простучал тяжелыми бутсами, представился Белосельцеву на плохом французском:

— Тхом Борет. Я рад приветствовать вас в нашем районе. Надеюсь, ваше путешествие проходит нормально. Мы делаем все, чтобы оно было безопасным. — Пожатие его руки показалось Белосельцеву негибким, неполным. Отпуская ладонь Тхом Борета, он заметил, что пальцы его наполовину отрублены. — Завтра по программе у вас поездка к границе. Считаю своим долгом предупредить, что к северу от Баттамбанга действуют несколько террористических банд.

— У нас есть охрана, — нарочито легкомысленно отозвался Белосельцев.

— Этого недостаточно, — строго сказал Тхом Борет. — Мы выделим вам машину с солдатами.

— Спасибо, — сказал Белосельцев.

— Теперь же, как значится в вашей программе, мы едем в пункт перевоспитания пленных.

От Тхом Борета исходила едва ощутимая неприязнь, словно появление Белосельцева доставляло ему ненужные хлопоты, отвлекало от насущных забот. Быть может, это было именно так, но возможно, Тхом Борет догадывался об истинных интересах Белосельцева, не мог скрыть подозрительности, и это заставляло Белосельцева тонко следить за своими словами, мимикой, интонацией.

На двух машинах они покинули отель, проехали утренний город, оказались перед дощатым двухэтажным строением, похожим на надвратную башню. Ворота под башней были построены из толстых, окованных железом досок. Их охранял часовой, развевался флаг республики с зубчатой эмблемой Ангкора. За воротами им открылся нарядно раскрашенный флигель, светлели посыпанные песком дорожки, нарядно цвели кусты. Это было похоже на сквер для прогулок, и только кованые ворота напоминали тюрьму.

— Здесь пленные проходят трехмесячный курс перевоспитания. Они слушают лекции, работают, сдают экзамены, — пояснял Тхом Борет. — Прошу вас сюда, — указал он на флигель.

Они уселись за пустым деревянным столом в прохладной, продуваемой ветром комнате. Солдат внес, прижимая к груди, тяжелые, как булыжники, кокосы, обрубленные с макушек, с торчащими пластмассовыми палочками. Поставил их перед каждым. Белосельцев, постоянно испытывая жажду, потянул непрерывную сладковатую струйку сока.

Отворилась дверь. Солдат впустил человека, сутулого, с длинной костлявой шеей, с черной нечесаной головой. Глаза смотрели исподлобья, пугливо бегали. В вялых, опущенных углах рта, в крупных перепачканных руках была

неуверенность и усталость. Человек не знал, куда и как поместить худое, неумелое тело.

Тхом Борет властным кивком указал ему место напротив. Словно толкнул его блеском своих очков. Тот послушно, торопливо сел. Тхом Борет пододвинул ему кокос с трубочкой. Но тот, не понимая, смотрел на плод, и Тхом Борет коротким жестом приказал ему: «Пей!» Человек пугливо схватил губами трубочку, слабо зачмокал и тут же отпустил ее. Уставился в доски стола, выложив перед собой пальцы с нечищеными ногтями.

— Он был взят в плен два месяца назад, — сказал Тхом Борет. — Банду перебили, а ему повезло. Жив и вернется домой. Можете с ним побеседовать.

Белосельцев извлек блокнот, приготовясь писать, переводя взгляд на Сом Кыта, бесстрастно взиравшего на полпотовца, быть может, одного из тех, кто у сухого канала убил мотыгой его детей. Тхом Борет строго блестел очками, и его власть над пленным выражалась в стиснутом, беспалом, выложенном на стол кулаке. Между ними троими пульсировало исчезнувшее грозное электричество длящейся в Кампучии войны. Белосельцев чувствовал его, как потрескивание воздуха в проводах высоковольтной линии.

Как разведчика его интересовала дорога, и он слабо надеялся, что в разговоре случайно что-нибудь узнает о ней. Но как человеку, вовлеченному в страдания народа, ему хотелось понять, кто он, солдат полпотовской армии. Каков он, боец «кхмер руж», недавний хозяин страны, палач и насильник, осуществлявший на земле древний марсианский проект, бросивший вызов истории, попытавшийся развернуть неумолимый поток времен, дерзновенно обратить его вспять.

Стараясь тоном, голосом, выражением лица снять ощущение допроса, мыслью экранируя пленного от солдата у двери, от полевого телефона с блестящей ручкой, от колючей солнечной оптики Тхом Борета, он стал спрашивать,

заглядывая в темные бегающие глаза человека. Сом Кыт старательно переводил, словно принимал от Белосельцева пригоршни слов, передавал их пленному, а тот, выслушав и подумав, возвращал Сом Кыту другую пригоршню, для терпеливо ожидавшего Белосельцева.

— Я бы хотел узнать его имя. Откуда он родом?

Пленный медленно поднял глаза, посмотрел на его чужое, нехмерское лицо, пытался сочетать его с видом двух других грозных для него соотечественников. Не смог, потупился, отнеся это ко всему остальному случившемуся с ним, не имевшему объяснения.

— Его имя Тын Чантхи, — переводил Сом Кыт. — Ему двадцать семь лет. Он из деревни Трат. Она тут рядом, под Баттамбангом.

Пленник беспокойно бегал глазами. Передвинул было лежащие на столе руки. Опять торопливо вернул их на место, словно боялся выйти из отпущенного ему пространства.

— Крестьянин? Занимался сельским хозяйством?

— Да.

Белосельцев оглядывал его сутулые плечи, впалую грудь. Сравнивал его с теми, кого видел в полях, на обочинах, роющими колодцы, ремонтирующими двуколки, таскающими кули с зерном. Перед ним был такой же крестьянин, один из тех, именем которых совершалась революция, разрушался Пномпень, убивались поэты и генералы. В чьи руки, отодранные от мотыги, вложили автомат. Кто, сотрясенный, со смущенной душой, спутанным, помраченным сознанием, ждал своей участи на разоренной, измученной родине. И не было в нем ничего от пророка, обличавшего сбившееся с пути человечество, а была сиротливая затравленная жизнь, за которой гналась по пятам смерть.

— Как он попал в боевые отряды Пол Пота? — спросил Белосельцев, делая глоток кокосовой влаги.

Сом Кыт отсыпал пленному горсть слов. Ждал, когда тот пересчитает каждое зернышко, вернет обратно.

— Это было год назад. К ним в деревню из леса пришли вооруженные люди. Молодых мужчин забрали и увезли в Таиланд. А там включили в войска.

Белосельцев знал, армия Пол Пота под ударами вьетнамских войск теряет солдат, тает от эпидемий и голода. Идея, опустившаяся из Космоса на эти азиатские земли, замахнувшаяся на ход мировой истории, захлебнулась в разрывах вьетнамских пушек, пала, продырявленная вьетнамскими автоматами. Пол Пот больше не истребляет людей мотыгами, а охотится за крестьянами, ставит их в строй, где каждый солдат на учете.

— Что говорили ему его командиры? Почему он должен был воевать?

— Им говорили, что они должны сражаться с вьетнамцами, — переводил Сом Кыт, опустив глаза, стараясь не вносить в перевод собственных чувств и эмоций. — Говорили, что вьетнамцы захватили Кампучию, отнимают у крестьян рис, разрушают монастыри, хотят покорить соседний Таиланд. Им говорили, что скоро будет большая война с Таиландом, вьетнамцы будут разбиты и «красные кхмеры» вернутся в Пномпень. Их отряды минировали шоссе, по которому передвигались вьетнамцы, взорвали мост на железной дороге, который восстановили вьетнамцы, разрушили часть полотна у разъезда Чембхы, чтобы вьетнамцы не могли перебросить к границе танки и пушки. Но теперь он понял, что вьетнамцы — друзья. Он искупает вину, работает на восстановлении железной дороги, и скоро вьетнамские части на поездах прорвутся к границе и разобьют Пол Пота и его тайландских хозяев.

Это была удача. В унылом рассказе пленника, среди тусклых заученных слов, сверкнула информация, как кусочек драгоценной слюды в серой глыбе гранита. И эту слю-

дланую искру разглядел не только Белосельцев. Тхом Борет направил на пленного солнечные злые очки, посылая ему слепящий запрет.

Белосельцев испугался, что будет изобличен. Что его интерес к информации будет подмечен, а источник информации будет истреблен и подавлен. Спасая источник, обманывая Тхом Борета, оставляя без внимания сообщение о железной дороге, он продолжал расспрашивать:

— Чему его обучали в Таиланде?

Пленник отвечал, запинаясь, бегая глазами, опасаясь неверного, неугодного начальству ответа. Кампучийский крестьянин, чье сознание формировалось в трудах на красноватых пашнях, в деревенских праздниках, молениях в буддийской пагоде, было смято и изуродовано ударами пропаганды Пол Пота и встречным воздействием агитаторов в исправительном лагере, этот забитый худой человек боялся подвоха, гнева сильных людей.

— Его учили минировать асфальтовое шоссе и железнодорожные рельсы. Женщин обучали минометной стрельбе. Детям, кто был моложе шестнадцати, показывали только автомат.

Мелькнула вторая искра — упоминание о железнодорожных рельсах. Полпотовцы знали о реконструкции железной дороги, о скором продвижении эшелонов, готовились к рельсовой войне. И опять Белосельцев пытался спутать следы, отвлечь Тхом Борета, затмить его солнечные всевидящие окуляры.

— В каких боях он участвовал?

Он участвовал в двух боях. Один раз они подкрались к вьетнамскому командному пункту. Установили в горах, в трех разных местах, минометы. В сумерках сделали три выстрела, с трех разных сторон, чтобы нельзя было определить направление. Он не знает, какой они причинили вред, но в темноте вьетнамцы их не преследовали. Второй раз

они заложили на дороге мину, ждали, когда проедет машина. Проехал большой грузовик с военными, но мина почему-то не взорвалась. В других боях он не участвовал.

— Как попал в плен?

Сам пришел и сдался. Отдал вьетнамцам свой автомат.

Белосельцев смотрел на «красного кхмера». Это не был рафинированный интеллект, воспитанный кафедральной культурой Сорбонны, вскормленный яростным нигилизмом Сартра. Не был выносливый, фанатичный боец, входивший с боями в Пномпень, глашатай новой религии, сбрасывающий в желтый Меконг связанных богачей и министров. Тех фанатиков почти не осталось. Как крылатые термиты, на одну только ночь наполнили мир сверканьем и шелестом крыльев, потеряли свои оперенья, превратились в унылых, ползающих по земле муравьев, отсеченных от неба.

Взятые в облавах крестьяне страшились вида оружия, кидали его при первой возможности. Группировка Пол Пота скрывалась в лесах, таяла, исчезала, была уже армией прошлого. Подобно другим разгромленным воинствам, выброшенным за родные пределы, была обречена на гибель. Еще стреляла, взрывала, но бессильна была победить. Ее коснулся неотвратимый упадок. Загадочный дух отлетал обратно на небо, оставив на земле отпечаток взорванных городов и дорог, костяную муку погребений. Эту истину нес на своем лице измученный пленник, не зная, куда поместить свою измученную душу и свое изнуренное тело.

— В чем заключается перевоспитание? — спросил Белосельцев, замечая, что Сом Кыт, стараясь оставаться бесстрастным, страдает и мучается. Его мучает не чувство мести, не желание воздать за убийство детей, а сострадание к растерянному единоверцу, попавшему, как и сам он, Сом Кыт, под грохочущие зубья истории. Белосельцев вдруг вспомнил голубую картину Дега, невесомых танцовщиц в

маленькой книжке Сом Кыта. — Чем он занимается в лагере?

— Им рассказывают, какая хорошая жизнь будет в новой, возрожденной Кампучии. И водят работать на восстановление железной дороги. Там очень много работы. Они должны успеть ее кончить до освобождения из лагеря.

Это была информация. Срок восстановления железной дороги был связан со сроком возможной военной операции в районе границы. С началом крупномасштабной вьетнам-тайландской войны. Уточнить этот срок значило уточнить бесценную информацию. Значило разоблачить себя перед бдительными очами Тхом Борета. Значило погубить источник — обречь многострадального пленника на продолжение страданий.

Белосельцев колебался. В нем шло стремительное, почти автоматическое, из множества бессознательных побуждений, вызревание решения, которое в секунду могло сорвать всю тщательную разведоперацию или, напротив, увенчать ее успехом.

— Через несколько дней — Новый год, — сказал Белосельцев, улыбаясь, выражая всем своим видом сочувствие пленнику. — Едва ли к этому празднику он окажется в кругу семьи. Когда же он сможет войти в свой дом и обняться со своими близкими?

Сом Кыт молчал, не переводил вопрос. Молчал Тхом Борет, сверкал очками. Пленник, не понимая, крутил головой. Сом Кыт медленно о чем-то его спросил. Лицо крестьянина озарилось, сухая коричневая кожа на лбу разгладилась, и он радостно, наивно улыбнулся, открывая желтые зубы. Что-то торопливо сказал.

— Он сказал, что их отпустят через месяц. Как только они достроят дорогу.

Тхом Борет хлопнул по столу беспалой ладонью, что-то кратко и грозно сказал. Пленник сжался, стиснул плечи,

словно ожидал больного удара. Стал похож на забитое животное, провинившееся, не знающее, в чем его вина.

— Разговор окончен, — сказал Тхом Борет. — Сейчас им пора на работу.

Он кликнул солдата, и пленника увели. Они вышли из помещения на солнце.

Гремело металлическое било. По дорожкам торопились пленные, строились перед воротами в колонну, окруженную конвоирами. Звучали понукания, крики. Пленные ровняли ряды, к ним пристраивались тачки, груженные кирками и лопатами. Белосельцев всматривался в колонну, желая угледеть в ней недавнего собеседника.

— А где же Тын Чантхи? — спросил Белосельцев у Тхома Борета. — Почему я его не вижу?

— Ему стало плохо. Его отправили в госпиталь. Он недавно перенес малярию и не может много работать.

Они выехали сквозь ворота, обитые железными листами. Вслед им истошно звенело било, выходила окруженная автоматчиками колонна. Белосельцев испытывал двойственное, до конца не осмысленное чувство. Радость по поводу драгоценной, ненароком добытой информации. И вину перед несчастным крестьянином, на которого навлек беду. Эта двойственность сопутствовала ему постоянно, была выражением двоичности мироздания, присутствия в нем Света и Тьмы, среди которых протекала его, Белосельцева, жизнь.

Они расстались с Тхом Боретом, отправились к художнику Нанг Равуту. Один из немногих интеллигентов, переживших избиения, он слыл местной знаменитостью, сотрудничал с новой властью. Двери его ателье были раскрыты на улицу, где в жаре дребезжали велосипедисты, бежали и голосили дети, и всяк проходящий мог заглянуть в его мастерскую.

Художник, маленький, мускулистый, голый по пояс, с ершистой седой головой, держал пятнистую палитру и кис-

ти. Поклонился, когда они вошли. Сом Кыт представил Белосельцева, объяснил цель визита. Белосельцев тем временем разглядывал огромное, уходящее к потолку панно, над которым трудился художник.

На обширном холсте грубо, бегло и хлестко была намалевана карикатура. Группа разномастных кривляющихся кукол. Над каждой было выведено имя. Толстолицый, смазливо-отталкивающий Сианук. Маленький плотоядный Лон Нол. Ушастый, клыкастый, похожий на кабана Пол Пот. В цилиндре, в штиблетах, с козлиной бородой Дядя Сэм. На теле каждого был нарисован круг с темной сердцевинкой наподобие мишени.

— Этот стенд заказал мне муниципалитет, — сообщил художник, маленький, живой, остроглазый на фоне плоских черно-белых карикатур. — Похожий стенд я сделал для Сиемреапа, там не осталось своих художников. Скоро, вы знаете, мы празднуем Новый год. Эти стенды будут установлены на месте народных гуляний. Люди будут целиться в эти мишени стрелами, дротиками. Это их развлечет. — Он замолчал, изучая гостя, желая убедиться, что этот нехитрый, на потребу минуте, труд правильно истолкован. — Мне приходится рисовать агитационные плакаты. Может, видели на рынке плакат, призывающий соблюдать гигиену, не пить сырую воду? Или при въезде в город, у моста, призыв не сорить, убирать дворы и подъезды? Сейчас это очень насущно. Люди, поселившиеся в городах, не знают грамоты, не умеют читать. Многое приходится им объяснять изображением, рисунком.

Его поденная, яростно-небрежная работа была сравнима с агитками и плакатами революционной России, которые являлись мгновенными отблесками схватки, запечатлевали на своих ярких, похожих на клексы листах резкое членение мира. Здесь, на этом холсте, присутствовала та же эстетика, металась торопливая кисть вовлеченного в борьбу художни-

ка, занятого черновой, неблагодарной работой на рынках, в казармах, в больницах.

— Помимо этих, у меня есть другие работы. Я их мало кому показываю. Они — о недавнем прошлом. Это прошлое исчезло из внешней жизни, но здесь, — он дотронулся до груди, — здесь оно осталось. Эти рисунки я посвятил тем, кого с нами нет, кто не может говорить. Я говорю за них.

Он раскрыл широкую папку, стал выкладывать один за другим листы, на которых черной тушью были нарисованы сцены избиений и пыток, горящие храмы и хижины.

Впряженные в оглобли женщины волокли по болоту тяжелые сохи и бороны, надсмотрщики погоняли их плетью. Вереница согнувшихся, закованных в колодки людей падала в яму под ударами мотыг, один за другим, будто фишки домино. Вздернутый на дыбу мученик раздирался огромными клещами. Поверженный монах подставлял палачу бритую голову, и тот вгонял в нее громадный гвоздь.

Все рисунки были оружие, стенающие, похожие на бред. Сыпались из папки, наполняли мастерскую сверхплотным страданием. Устремлялись, как духи, в квадрат растворенных дверей, в город, на улицы, словно хотели вернуться в мир, откуда были изъяты. Художник, зная их сокрушительную, ранящую силу, собирал их обратно в папку, заслонял своим телом улицу, велосипедистов, детей. Затягивал на папке тесемки. Упрятывал злые видения и пережитые ужасы.

— Мы все слишком много страдали. Измучились, ожесточились в страданиях. Когда-то на земле была красота, цвели деревья, танцевали красивые женщины. Мир был разноцветным, как капля утренней росы. Я видел цвета, мне снились цветные сны, цветные видения. Теперь они навсегда исчезли. Я рисую углем и тушью. Не вижу цвет. Мои сны нарисованы черной сажей. Я словно ослеп, и к прежней живописи мне никогда не вернуться. Мне кажется, эти рисун-

ки делал не я, а другой. Тот, кого не били кнутом, кого не раздирали клещами.

Он открыл другую папку. В ней лежали листы, поражавшие своим многоцветьем. Золото, лазурь, обилие алого, белого. Танцовщицы, наездники, пагоды. Улыбающийся под деревом Будда. Хлебопашцы у розовых длинноногих волов. Женщины, несущие младенцев. Не верилось, что этот разноцветный рай существовал в той душе, где теперь чернеет и корчится ад.

Сом Кыт жадно рассматривал рисунки, словно искал среди них летящий автомобиль, в нем жених и невеста, невеста положила себе на колени букет розовых лилий. «Цветные города, — вдруг остро, с тревогой и болью подумал Белосельцев, вспоминая минувшую ночь. — Мы идем, взявшись за руки, окруженные бабочками».

— У меня есть еще работы. Скульптуры. Подойдите сюда! — Он поманил Белосельцева в дальнюю часть мастерской, к плотно затворенным дверям. — Послушайте!

Белосельцев прислонил ухо к двери. За тонкой переборкой слышал мерное, тихое шелестение, похожее на моршение дождя или слабое, без пламени, тление.

— Что там? — спросил он.

— Мои скульптуры. При Пол Поте меня схватили и хотели казнить. Охранник спросил меня, кем я был на свободе. Он всех для чего-то спрашивал, перед тем как отправить на казнь. Я сказал, что был художником. Он спросил, смогу ли я сделать скульптуру Пол Пота. Я сказал, что смогу. Взял фотографию Пол Пота и вырезал из древесного ствола скульптуру. Она им очень понравилась. Они оставили меня жить, но заставили вырезать скульптуры Пол Пота, одну за другой, много скульптур. Я вырезал, а сам думал: неужели мое искусство должно воспевать воплощение смерти? Того, кто отправил на казнь моих друзей и родных, моих учителей и учеников? Неужели мое искусство

сохранит для потомков лицо того, кого я ненавижу? Благодаря мне он переживет и меня, и себя самого, как знаменитые каменные лики Байона? Я выбирал для скульптур то дерево, которое было подпорчено жуками-пилильщиками, в котором уже поселились термиты. Я знал, что они сделают свое дело. Я вырезал много скульптур. Некоторые из них здесь, у меня. Посмотрите!

Он отворил дверь. В сумерках, по углам, большие и малые, некоторые в рост человека, стояли головы и бюсты Пол Пота, улыбающиеся, величественные, все в мелкой сыпи проточенных жуками отверстий, в белой муке иссеченной в прах древесины. Невидимая, совершалась работа. Бесчисленные насекомые неуклонно и слепо, проникнув внутрь голов, истребляли скульптуры, будто время не торопясь стирало следы того, что должно исчезнуть.

— Может быть, когда рассыплется в труху последняя голова, мне снова начнут сниться цветные сны и я стану рисовать розовых волов и прелестных танцовщиц.

Скульптор подошел к большой улыбающейся голове. Чуть тронул ее. Кусок щеки и губы отвалился, осыпался, и оттуда, изо рта, из глаз, густо полезли термиты, побежали торопливые глянцевиные муравьи.

Художник затворил плотно двери, серьезный, властный, с ершистой седой головой, знающий все наперед.

После обеда они встретились с директором Совангсом в маленькой конторке при кирпичном заводе.

Директор, с черной европейской бородкой, в очках, с почти полным отсутствием ритуальной восточной вкрадчивости, усадил Белозерцева напротив себя. Кратко приветствовал. Готов отвечать на вопросы.

— Вы, инженер и хозяйственник, как никто осведомлены о хозяйственных проблемах провинции. — Белосельцев испытывал острый интерес к собеседнику, который сумел преодолеть пессимизм и апатию и после перенесенных ли-

шений энергично взялся за дело. То малое дело, которое он затеял, производство кирпичей для провинции, позволяло Белосельцеву ожидать дополнительной информации о дороге, о строительстве придорожных сооружений. — Вы представляете экономическую структуру района, его потенциал, ориентацию. Мне бы хотелось услышать, как идет возрождение. Какие проблемы приходится вам решать?

Директор ответил не сразу. Словно пробежал мыслью по пространству провинции, где некогда на цветущих плантациях зрели плоды и злаки, работали заводы и фермы, пульсировали дороги и высоковольтные линии. Теперь все это ржавело и гнило, зарастало мхами и травами. Морщины на директорском лбу сложились в мучительный ломкий чертёж.

Он стал перечислять наизусть, будто читал по списку, названия заводов и ферм, которые нуждались в станках и моторах, в трансформаторах и подъездных путях. Крестьяне, знающие лишь деревянные сохи и ступы, должны превратиться в сварщиков, шоферов и бетонщиков, и тогда начнется строительство.

Белосельцев быстро писал, демонстрируя живой интерес журналиста, тайно надеясь, что рано или поздно разговор коснется дороги.

Директор, пустивший крохотный кустарный заводик, который чавкал за окном мокрой глиной, оглушал ревом восточных криками погонщиков, излагал свой взгляд на индустриальное возрождение страны. Говорил о помощи социалистических стран, об инвестициях Запада, о возможном экспорте продовольствия и минералов через удобные выходы в океан. А Белосельцев, как охотник, терпеливо ждал, когда мелькнет желанная дичь — упоминание о железной дороге.

— Я не фантазер, я прагматик. Я занимался во Франции горным делом и машиностроением. Если не будет новой большой войны, если удастся сохранить мир на границе

с Таиландом, мы сможем приступить к восстановлению экономики.

Отрываясь от блокнота, Белосельцев встретился с его умными, пронзительными глазами. Его губы шевелились энергично, уверенно. Это был инженер, тот особый тип человека, в котором любовь к механизмам заставляет рассматривать мир как огромную разумную машину, что поддается постижению, управлению, бесконечному совершенствованию.

— Я вижу, как много у вас препятствий. Возможность войны существует. Промышленность остановлена. Интеллигенция выбита. И все-таки вы оптимист.

— Инженеры вообще оптимисты. Они привыкли считать и думать. Моя профессия не дает мне впадать в уныние. Моя профессия спасла мне жизнь. В лагере охранники не позволяли нам петь, говорить, даже думать. Угольком на стене барака я писал математические формулы, и это сохранило мой интеллект от распада. Дожди заливали барак, пол превращался в гнилое болото. Я придумал дренаж для воды, мы осушили барак, избавились от лихорадки и язв. На корчевке мы вручную выдирали пни, надрывали себе жилы и умирали. Я смастерил элементарное, из веревки и слег, устройство, и оно спасло наши кости от переломов, а мышцы — от разрывов и растяжений. Я построил ловушки наподобие силков и капканов, в них иногда попадали полевые зверьки и птицы, и голодная смерть меня миновала. Инженеры — оптимисты, потому что они знают, как взяться за дело. Очень важно, чтобы у страны было достаточно инженеров.

— Кроме инженеров, у страны должна еще быть вера. — Белосельцев чувствовал, что добыча находится рядом, информация вот-вот обнаружится. В присутствии Сом Кыта он не мог ее выпрашивать и выведывать. Ждал, что она сама налетит на него.

— Когда я начал строить завод, я больше всего боялся, что люди вдруг разуверятся. Печь не горела, кирпич при

обжиге раскалывался, волю дохли, готовую продукцию никто не мог купить, у народа не было денег. Я вдохновлял людей, был для них и директор, и инженер, и монах, и учитель, и брат. Сообща, голодные и босые, мы пустили завод. Тут появились вьетнамцы, сказали, что будут забирать всю продукцию. Они срочно ремонтируют железную дорогу, восстанавливают депо, платформы, опоры моста. Мы получили заказчика, получили деньги. Вся дневная выработка, — он назвал количество кирпичей, которое производит завод, и Белосельцев запомнил, чтобы позже, в тишине, прикинуть, какому объему строительства это число соответствует, — вся выработка уходит на ремонт железной дороги. Я, наверное, вас утомил. Расхваливаю свое детище, будто это атомная станция или космический корабль. Вовсе нет! Приглашаю вас осмотреть производство!

Огромный, сколоченный из дерева чан, похожий на громадную бочку, стучал, сотрясался, сочился сквозь щели коричневой глиняной жижей. Быки, впряженные в деревянные, уходящие в чан мешалки, шли по кругу, вздувая загривки, ревели, стонали от тяжести. Погонщики били их по бокам, понукали, скалились, очумелые, яростные. По дощатым желобам в чан бежала вода, сыпался бурый песок. В недрах чавкала глина, проворачиваемая незримыми лопастями, взбухала, пузырилась в деревянном реакторе, работающем на энергии бычьих сердец. Быки, пенно намылив ярмо, скользя копытами по жиже, надрывались, крутили грохочущий вал, словно земную ось, поддерживая вращение Земли. Погонщики, закатав по колено штаны, тонконогие, грязные, визгливо, истошно кричали, не давая быкам передышки, не давая земной оси замереть и застыть, двинуться в обратную сторону.

Созревшее месиво в лопающихся парных пузырях сползало на мокрые железные листы, дышало, готовое к лепке, готовое принять отпечаток человеческих рук. Рабочие совками

врезались в глину. Отхватывали сочные доли, кидали их в формы. Встряхивали, тасовали, дергали головами, плечами, словно вколачивали в глину отпечатки лиц, ладоней, притопывали голыми пятками, ходили в шаманском танце, заговаривали месиво, замуровывали в него свои беды, чтобы они не выскользнули вновь наружу. Мальчик с деревянным клеймом метил круглой печатью каждый сырой кирпич.

Бесчисленные ряды кирпичей сохли на железных листах, испаряли влагу, туманили пространство. Сквозь их живое дыхание струилась и плавилась даль, колебался и расслаивался город, двоилась и поднималась в небо улица, и велосипедист в синей шапочке парил, не касаясь земли. Казалось, все держится на зыбкой неверной грани, готовое испариться, исчезнуть, превратиться в мираж, оставив после себя пустоту.

Печь, как глазастый, многолапо упершийся в землю дракон, раскрывала огненный зев, высовывала раздвоенный красный язык, качала загнутым дымным хвостом, глотала жадно ломти, проталкивала их в свое сводчатое раскаленное чрево. Истопник просовывал в печь длинный железный прут, словно бил и колол дракона, и тот хрипел и взвизывал от боли. Дух огня, обжигающих летучих стихий касался глины, превращал ее в звонкое вещество, из которого строились храмы и пагоды, дворцы и людские жилища, огромный, возводимый в мире чертог, куда каждый, перед тем как уйти и исчезнуть, вложит свой малый кирпич.

Горячие, поспевающие, как хлеба, кирпичи выходили на свет. Смугло-телесные, золотые, они остывали на воздухе. И уже подкатывали телеги, запряженные волами. Грузчики бережно клали кирпичи на телеги, накрывали их тканями, выезжали на ведущую в город дорогу.

Несколько кирпичей упало на землю. Грузчики бросились их подбирать. Директор наклонился, поднял кирпич, положил его рядом с другим. Сом Кыт поднял и положил.

Белосельцев взял с земли теплый, слабо прозвеневший кирпич с малой заключенной в круг эмблемой Ангкора, положил его в общую кладку. Мысленно пожелал, чтобы этот кирпич никогда не раскололся от взрыва снаряда, а сто лет коптился в очаге крестьянского дома.

Их ждали в буддийском монастыре у реки, в единственной уцелевшей пагоде, где верховный бонза Теп Вонг, совершающий поездку по провинции, был готов принять советского журналиста. Они проехали за город к реке, к рухнувшему железнодорожному мосту. Разорванная дорога уходила за реку в джунгли. На мосту кипели восстановительные работы. Развалины монастыря носили следы обитания. Ухоженные, ровно посаженные, розовели лилии. На каменных воротах красовался дракон с белым, проклееным вдоль туловища швом.

Привратник, с лицом морщинистым и коричневым, словно изюм, впустил их на просторный утопанный двор, покрытый наполовину тенью пагоды. Белосельцев, идя за монахом, за его оранжевым развевающимся балахоном, за желтыми, твердо стучащими о сандалии пятками, успел разглядеть подвешенное у входа било — корпус ржавого пустого снаряда. На земле перед храмом, на границе пекла и тени, стояли две медные чаши. Ослепительно-яркая на солнце и тускло-туманная в тени. В их расстановке чудилось сходство с неким древним прибором — с весами, меряющими силу света и тьмы.

Их ввели в прохладную приемную с легким, стойким ароматом сандала. Сом Кыт снял туфли, опустился на колени перед Буддой, румяно-белым, раскрашенным, произнес отрешенно несколько сутр. Белосельцев подобно ему оставил у порога обувь, прошел и уселся за маленький столик, на низкую резную скамейку.

— Нас просят подождать, — сказал Сом Кыт, пере-

молвившись со служителем. — Верховный бонза Теп Вонг окончит беседу с монахами и выйдет к нам.

Сквозь открытую дверь Белосельцев видел рухнувший мост, опору, возводимую из красного кирпича, барку, отплавившую от берега, полную стройматериалов, копошившихся строителей, вьетнамских солдат. Его острое зрение разведчика улавливало напряженный, торопливый темп стройки, невидимую волю, погонявшую строителей, торопившую их к сроку, когда разорванная колея соединится в сплошную линию, пропустит эшелоны с войсками. Но одновременно его глаза то и дело отворачивались от моста, останавливались на медных чашах, стоящих на пыльном дворе. Ослепительно-яркая и тускло-погасшая — вид этих чаш тревожил и мучил. Граница света и тьмы говорила о некой заложенной в мир двойственности. О Добре и Зле. О жизни и смерти. О выборе между тем и другим.

Изображение Будды, аляповатое, в цветных мазках, вдруг напомнило ему его детскую полузабытую игрушку. Коня на колесиках — серые яблоки, красная сбруя, длинные, как у Будды, глаза, розовый улыбающийся рот. Это странное сходство, как и вид стоящих ритуальных чаш, породили в нем ожидание. И как бы в ответ на него влетела бабочка. Желтая, яркая. Заметалась вокруг его головы, вокруг плеч Сом Кыта, словно опутывала их невидимой общей нитью. Стала кружить по комнате, подлетая к Будде, к резным деревянным драконам. Белосельцев, поставив ноги в носках на прохладный белесый пол, следил за ней, пытаясь понять, что означает ее появление.

Ударило близкое било, сначала редко, внятно, затем учащаясь, измельчаясь до нервных пульсирующих звуков. На последнем погасшем ударе, развевая оранжевую накидку, вошел верховный бонза. Наклонил бритую голубоватую голову. Поднял ее, превращая землисто-желтое, болезненно-озабоченное лицо в улыбающуюся маску, на которой за

раздвинутыми губами желтели крупные зубы. Широким взмахом руки усадил их, поднявшихся, на скамейку. Сел сам, забросив обильные складки одежды меж колен. Замер, выставив голое костлявое плечо, продолжая улыбаться.

— Я знаю, — произнес он после минуты молчания, — вы проделали длинное и нелегкое путешествие. И вам еще предстоит долгий путь. Пусть исполнится все задуманное вами и вы благополучно вернетесь домой.

Блестела река. Строился мост. Барка, груженная кирпичами, причаливала к опоре, и сверху к ней наклонялся подъемный кран. Мелькали вьетнамские солдаты в панاماх. Дорога уходила в джунгли, к границе, куда, как огромный, сорванный с вершины горы камень, стремилась война. Бабочка, на минуту исчезнувшая, вдруг снова стремительно налетела, вонзилась в воздух. Облетела вокруг лиловой головы Теп Вонга. Мелькнула у смуглого бесстрастного лица Сом Кыта. Сверкнула желтизной над Белосельцевым. Заметалась, оставляя в воздухе тонкие, быстро гаснущие знаки, и пропала. Белосельцев пытался прочесть оставленные ею письма, отгадать, куда заманивала его желтая бабочка.

— Я потревожил вас моим посещением, желая узнать ваше мнение о случившейся в Кампучии беде. — Внимание Белосельцева была расщеплено, разбегалось в разные стороны. Улыбающийся желтозубый Теп Вонг. Строительство военной дороги. Будда с лицом коня. Две чаши — света и тьмы. Легкая золотистая бабочка, принесшая ему невнятную весть. — Мы знаем о страшном уроне, понесенном буддийскими общинами во время недавних гонений. Но, видимо, вам, совершающему эту поездку, открывается более полная картина несчастья.

Верховный бонза согнал с губ улыбку, словно повернул невидимый диск, превратив свое лицо в маску печали.

— Мы располагаем картиной несчастья. За три года и восемь месяцев, когда мы пребывали во тьме, были уничто-

жены все монастыри и пагоды, умерщвлены почти все монахи. В начале сезона дождей, семнадцатого апреля семьдесят пятого года, началось разрушение пагод и убийство монахов. Прежде в Кампучии было тридцать пять тысяч монахов, теперь же нет и трех тысяч. Разрушено бесчисленное количество храмов, многие из них очень древние, известные культурному миру. О них написаны книги.

Теп Вонг напрягал голое худое плечо с выступавшей птичьей ключицей. Обращался к собеседнику своей видимой, внешней частью. Другая, невидимая, была обращена к разгромленным пагодам, истребленным духовным знаниям, умерщвленным сподвижникам — к разоренному гнезду его веры. Он был поставлен среди руин и пожарищ непросветленного, Злом замутненного мира продолжать вековечное пчелиное дело, повинувшись законам Добра и продолжения жизни.

— Я родом из села, — продолжал Теп Вонг. — Моя пагода находилась в полутора километрах от города. Я видел, как были убиты шестьдесят монахов, началось уничтожение изображений, изгнание людей из жилищ. Мы, монахи, не могли укрыться и сменить обличье. Нас легко узнать, у нас бритые головы. Некоторых из нас убивали на месте, других выгоняли на дорогу, третьих отправляли на тяжелые работы. Но монахи не умеют работать в поле. Они погибали от непосильных трудов. У монахов нет семей, и когда монаха изгоняют из монастыря, его некому кормить и он умирает от голода.

Белосельцев слушал еще одну, тихим голосом рассказываемую повесть о великих несчастьях. Военный мост поднимался над блестящей рекой, и дорога начинала чуть слышно гудеть от далеких военных составов. Чаши, полные Света и Тьмы, стояли у входа в храм. Бабочка снова влетела, кинулась к Белосельцеву, куда-то беззвучно звала, и он не мог разгадать ее воздушные золотые иероглифы. Мир, рас-

щепленный, исполненный Света и Тьмы, хранил в себе тайну, и он, рожденный в этот воздух и свет, проживет свой век, не постигнув тайны.

— Почему, — Белосельцев преодолел наваждение, стараясь поддержать разговор, — почему у Пол Пота такая ненависть к монастырям и монахам? — Ему казалось, что в эти секунды, когда он смотрит на реку и слушает бонзу, в мире совершается что-то важное, покуда ему неизвестное, затрагивающее его дальнейшую судьбу, ввергающее в новое бытие, что-то отнимающее у него навсегда, чем-то навсегда наделяющее. Об этом пыталась поведать ему желтая бабочка, которая явилась из иной, запредельной жизни. Была то ли его покойная мать, то ли умерший отец, то ли какой-то другой, забытый и любящий предок.

— В монастырях скопились ценности нашей древней культуры. Пока она есть, мы остаемся кхмерами. Если она исчезнет, люди превратятся в растения. Пол Пот использовал пагоды как тюрьмы и места казней. Людям говорили: «Монахи — это трупы. Кто хочет им поклоняться, пусть идет к трупам». Когда приходишь теперь на развалины пагод, видишь кости умерщвленных людей.

Бонза говорил о несчастьях, но улыбался широко, желтозубо, словно приглашал не верить в неодолимую силу Зла. Бабочка летала над ними, билась о невидимые, воздвигнутые между живущими людьми преграды. Барка, освободившись от груза кирпича, скользила к берегу по реке. Шагал по склону строй вьетнамских солдат.

Снова ударил гонг, мерно, тягуче, убыстряясь, исходя в мелких торопливых ударах, извлекаемых из стальной оболочки снаряда. На дворе появились люди, несли дымящиеся благовония, проходили мимо поставленных чаш, что-то бросали в них.

— Нам нужны деньги на строительство храма. Но эти деньги, — бонза кивнул на идущих мимо людей, — пойдут

на строительство железной дороги. Враг еще не разбит. Мы должны поскорее построить дорогу, чтобы войска могли войти в джунгли и прогнать врага.

Снова ударил гонг. Бонза, подхватив с колен оранжевые длинные складки, распустил их. Поднял вверх руки с растопыренными пальцами. Продолжал улыбаться, давая понять, что аудиенция окончена. Белосельцев поднялся, прощаясь. Искал глазами желтую бабочку. Не находил. Видение, его посетившее, исчезло, оставив по себе легчайшую боль.

Программа дня была выполнена. На завтра предстояла поездка к границе. Шофер и солдаты перед трудной дорогой погнали машину в мастерскую, на другой конец города, менять аккумулятор. Белосельцев и Сом Кыт высадились из «Тойоты» у рынка, среди лоскутно-красного вечернего многолюдья, скрипящих двуколок, длинных, облезших, неуклюжих автобусов, дощатых прилавков, на которых под матерчатыми тентами, напоминавшими драные паруса, шла торговля, не спадавшая в час предвечернего зноя. Весь рынок напоминал огромный парусный флот.

Белосельцев пробирался в тесноте, в криках и воплях, видя, как продавцы, покупатели, заметив его, прекращают торг, застывают с полуоткрытыми ртами, шепчутся, смеются у него за спиной, пораженные видом европейского, не появлявшегося здесь несколько лет лица.

Миновал мясные ряды, липкие, темные от крови, где доски столов раскисли от парного мокрого мяса. По ним лениво и сыто ползали жирные мухи. Рассеченные свиные туши. Ряды отрубленных поросячьих голов с белесыми человечими ресницами. Торговцы при его появлении откидывали сальные рогожи, зазывали его криком «мсье», обдавали душным запахом млеющих на жаре кусков.

Протиснулся в рыбные ряды, где, скользкие, в чешуе, в перламутровой высыхающей слизи, лежали речные и озер-

ные рыбы, от больших и круглых, как блюда, до мельчайших, как стеклянные подвески, мальков, пересыпанных крупинками тающего льда.

Тут же в ведрах продавали сонных живых лягушек, а в ситах — горсти дочерна обжаренных жуков-плавунцов со сложенными на животах гребными ножками.

Овощные и фруктовые ряды сочились сладостью, пряностью. Специи в открытых мешочках зеленели, краснели. Хрустели раскалываемые кокосы. Лился сок из давилок. Белосельцев чувствовал, как пропитывается едкими, сахарно-эфирными испарениями.

Он отмечал обилие продуктов, опровергавших слухи о возможности голода в провинциях. Приценивался. Цены были высокие, но рынок клокотал, сыпал деньги. Город встречался с деревней, шел товарный обмен, шла жизнь.

Он осматривал прилавки контрабандных, привезенных из Таиланда товаров: транзисторов, радужных тканей, запасных частей к японским велосипедам и мотоциклам. Рассматривал изделия из золота — цепочки, кольца, кулоны, — накрытые стеклянными колпаками, под бдительным оком зорко-вежливых, хорошо одетых торговцев. В дальнем углу, на земле, на горячем солнце, наткнулся на скопище бесчисленных, не имевших применения предметов. Лоскуты металла из ржавых автомобильных капотов, обломки бамперов, куски магазинных вывесок, осколки посуды, истоптанные, вырезанные из автомобильных покрышек сандалии, смятые латунные гильзы. Все, что осталось от недавней жуткой поры, которая уже исчезала, осыпалась ворохом убитых, потерявших названия предметов.

Голосила толпа. Пестрел, мерцал, хлопал полотнищами рынок. Пекло солнце. Мухи то и дело шлепались на лицо. Окруженный чужими лицами, дурманными запахами, стиснутый толпой, шумной, звучной, навязчивой, он вдруг испытал мгновенную тоску и усталость. Почувствовал себя

инородцем, чужим и непонятым, из иных широт и пространств. Он был в самой сердцевине, в сочной матке иного народа, что много веков извергала в жизнь желтолицых, смуглых, едкоголосых людей, сформированных по иному, отличному от него, Белосельцева, образу, с другими губами, скулами, разрезом глаз, иным пониманием жизни и смерти. Далеко, на севере, в великих трудах и заботах, существует его страна, где, рассеянные по погостам, по полям великих сражений, лежат кости его предков, и ненайденная, в сталинградских степях, могила отца, и забытое в комодѣ выцветшее материнское платье, и некому об этом сказать, некому пропеть «В островах охотник». Это он, Белосельцев, и есть охотник, заброшенный на безвестные острова, откуда нет возврата.

Он вдруг вспомнил итальянку, как уходил от нее, из-под полога, в душную ночь, шел босиком по сухим серебристым доскам веранды, оглянулся на столик, где стояли стаканы и круглая винная фляга, надеясь увидеть малую искру луны, отраженную в капле вина.

Это воспоминание вдруг превратилось в страх, в дурное предчувствие, словно над рынком понесли на него прозрачные духи, ударили жарким толчком, закружили, попытались выхватить его из толпы, унести.

Он одолел обморочность. Стоял в толпе, не понимая, что это было. Кто они, эти прозрачные духи смерти, которые налетели на него однажды, у насыпи железной дороги, и теперь, второй раз, в голошении азиатского рынка.

Сом Кыт возник перед ним, внимательно заглянул в глаза.

— Сегодня мы много работали, — сказал он. — Теперь пойдем отдыхать. Позвольте, я угощу вас напитком.

Он повернулся к торговцу соками, что-то сказал. Тот выхватил несколько сочных зеленых отрезков сахарного тростника. Сунул под пресс чугунной, старомодной, с ли-

тым колесом, давилки. Пропустил сквозь валки, выжимая в стакан зелено-желтый мутноватый сок. Кинул брусочек льда. Протянул, улыбаясь.

Белосельцев благодарно принял, устыдившись минутной слабости. Тянул сладостно-холодную жидкость, чувствуя на себе внимательный, сострадающий взгляд Сом Кыта.

При выходе с рынка, где дымились маленькие открытые кухни и за столами под тентами люди хватали палочками горячую снедь, он увидел вьетнамских солдат, пивших кокосовый сок. Лица их были худыми, усталыми, форма — линиялой, разодранной о сучки и колючки джунглей. Увидели его, зашептались. Один поднялся, спросил: «Советский?» И последовали крепкие молодые рукопожатия, улыбки, кивки. Белосельцев, шагая по городу, все чувствовал на ладонях их радостные, быстрые прикосновения.

Они сидели с Сом Кытом на открытой галерее под звездами, наслаждаясь слабыми, шевелящими листву дуновениями. Маленький столик, чашечки, дощатый пол мерцали и искрились от бесчисленных прозрачных чешуек. Над ними чисто, ясно, словно в мороз, сверкал звездный ковш. Знакомый, он размещался иначе, задрав рукоять дыбом, меняя вид всего неба. Белосельцев смотрел, как дрожит, стекает звезда, заслоняемая черной листвой, и голова слабо начинала кружиться от мысли, что между этой звездой и его дрожащим зрачком протянута бесконечная нить света.

— Как по-русски называется это созвездие? — спросил Сом Кыт. Его лицо в нежных, чуть видимых отсветах обратилось к ковшу.

— Большая Медведица, — ответил Белосельцев, и ему показалось, что в глазах, на лбу, подбородке Сом Кыта крохотными искрами отразилось созвездие. — А по-кхмерски?

— Мама в детстве выводила меня на открытое место под звезды, называла это созвездие Крокодилом.

Белосельцев отказался от привычного образа ковша, от северного имени Медведица. Соединил звезды иными линиями. Над деревьями вдруг засиял серебряный крокодил. Растопырил лапы, изогнул в середину неба хвост, заняв центр, осмысленно распределив по остальному небу другие созвездия.

Они молча смотрели на звезды. Белосельцев старался видеть небо глазами Сом Кыта. Стремился почувствовать, что лилось с неба в душу кхмера, исчислявшего под этими звездами свои поколения.

Там, в небесах, столь непохожих на северное русское небо, тончайшими блесками, сверкающими линиями, жемчужно-нежными туманностями были нарисованы кхмерские храмы, дороги, речные извилины, россыпи городов, деревень, начертания букв, орнаменты тканей, образы кхмерских лиц.

Отпечатались на земной поверхности, обрели живое воплощение, в котором тайно присутствует звездный оттиск.

— Когда нас угнали на каторгу, мы жили в бараке. Ни у кого не было часов. По этому созвездию я узнавал время, будил всех, и мы еще в темноте, в четыре часа, шли на работу.

Он замолчал, продолжая следить за медленным, едва заметным глазу вращением серебряного зверя. Белосельцев ждал. Ощущал тончайшую полупрозрачную преграду между ним и собой, разделявшую две их отдельные жизни. Не знал, что они должны совершить, в чем открыться друг другу, как сложить и сверить свои истины, чтобы, прежде чем расстаться и порознь, под разными небесами и звездами, доживать свои жизни, возникло между ними единство. Чувство их различия и сходства остро поразило его. Несочетаемость, разделенность полупрозрачной стеной — и возможность пройти сквозь нее. Случайность встречи — и скрытый в ней неслучайный божественный замысел.

— Вы удовлетворены тем, как проходит поездка? — спросил Сом Кыт.

— Да, — ответил Белосельцев, — я очень рад, что пу-

тешествую именно с вами. Ваши комментарии и советы помогают мне лучше понять, чем сегодня живет Кампучия, в чем ее основные нужды.

— Председатель кооператива, директор завода, верховный бонза — все говорили одно. Кампучии нужно изжить из себя тьму. Надо изгнать из каждого кхмера тьму. Нас посетила тьма. Она есть в мире, есть в каждом из нас. Но иногда она начинает копиться и множиться, разом посещает целый народ. И тогда в народе происходят несчастья. Гибнут города, умирают люди, рушатся храмы. Мы все стали жертвами тьмы. — Он умолк, спокойный, с твердым лицом, высеченным из твердого камня.

— Тьма не ушла. У тайландской границы продолжают стрелять. Возможна новая большая война с вовлечением великих держав. И тогда по этим землям снова двинутся армии, в небе снова загудят американские бомбардировщики, и ковровые бомбежки могут повториться. — Белосельцев произнес эти фразы, думая о железной дороге, о длинной, уходящей к горизонту линии, пропадавшей среди синих холмов. Не укутывал, не упрятывал этот образ в мишуру маскирующих мыслей, открывал их ясновидящему оку Сом Кыта. Чутко вслушивался в молчание кхмера, созерцавшего огромное, серебряное, разместившееся в небе существо. Ждал, когда ясновидец угадает его потаенные мысли. Подаст знак, что мысли угаданы.

— Тхом Борет спрашивал меня, не интересует ли вас железная дорога.

— И что вы ему сказали?

— Я сказал, что вас не интересует дорога.

Они замолчали, слушали свисты цикад. Над черным деревом, надетый на незримую ось, вращался серебряный зверь. Они многое сказали друг другу. А то, о чем промолчали, было им обоим известно.

Простились, пожелав друг другу спокойной ночи. Про-

ходя в свой номер, Белосельцев заглянул в озаренное окно. Там слышался смех. Шофер и солдаты охраны, полуголые, выгнув гибкие спины, играли на кровати в карты.

Белосельцев улегся под полог, в мягкую душную призму неподвижного, охваченного кисеей воздуха.

Он перебирал впечатления дня. Услышанное о дороге, о сроках ее восстановления, о ремонте моста и депо. Эти данные он не записывал. Аккуратно укладывал их в незримый сейф, где уже хранились сведения о состоянии насыпи, о стыках, о шпалах, о коричневой, нагретой солнцем стальной колее. И одновременно пытался понять таинственные переживания и видения, коими наполнилась его душа, — тот стеклянный вихрь, промчавшийся над его головой, не успевший схватить его в свои прозрачные, как смерть, объятия. Женское, лунно-белое колено, вызвавшее в нем мучительную нежность и боль, словно его одарили на миг этим счастьем и теперь готовы отнять. Серебряный крокодил, всплывший вдруг из черных бездонных глубин, распростерший над ним свои лапы.

Он пережил знакомое, посещавшее его состояние. Будто он, живущий ныне, ввергнутый в войну и политику разведчик, озабоченный множеством мелочей, сиюминутных ускользающих данных, лежащий в этом маленьком душном номере, имеет двойника. Когда-то, в детстве, в московском утреннем солнце, когда мама входила в спальню, несла ему нарядную цветную игрушку, он и этот двойник были едины. Но позднее личность его раздвоилась. Одна половина пустилась в странствия по военным дорогам, в яростной напряженной борьбе, среди грохотов и затмений мира, вдоль этой насыпи в джунглях. А другая движется над ней в высоте, среди белых облаков и видений, обретая загадочный опыт неизъяснимых знаний и чувств, созвучных бессловесной молитве. Эти два двойника, пройдя по огромным кругам, встретятся в старости. Сойдутся, узнают друг друга, сложат воедино свой опыт, обретут полноту.

Глава девятая

Накануне они уговорились совершить путешествие на Оку, к ней на дачу. И теперь спозаранку он готовился к странствию. Спал тревожно и чутко, предвосхищая своими мечтаниями предстоящую поездку. Запрещал себе думать о том, что сулила ему эта поездка. Гнал прочь грешные, жаркие видения, оставляя среди них только те, где было ее прелестное лицо, милые, любимые губы, немигающие, изумленно-прозрачные глаза. Но среди утренних сборов и приготовлений присутствовало постоянное, волнующее ожидание того, что должно случиться. Там, на Оке, на неведомой даче, в старом доме среди вишневого сада, оно непременно случится. И это восхищало и пугало его. Он не обманывал себя — он этого желал. И оно, еще не случившееся, наполняло весь огромный предстоящий летний день сладостно-мучительным, чудесным ожиданием, радостной тревогой, стремлением поскорее ее увидеть. Убедиться, что и она тоже ждет и желает.

Эта однодневная поездка была для него не менее важной, чем его прежние военные странствия, когда в последние дни в Москве, среди инструкций и сборов, завершающих указаний и встреч, начиналось таинственное перестраивание души, направляющее все мысли и чувства к неведомой земле, где лежат дороги, по которым он должен проехать, существуют повороты, ущелья, чащобы, где, быть может, его ожидает засада. Чьи-то крепкие смуглые руки сжимают ружейный ствол, и в обойме покоится пуля, медно-красная, утяжеленная свинцом, острая, как жало. Пробьет его сердце, перемелет мышцы и кости. И в момент, когда это случится, в небе будет стоять высокое белое облако, на вершине горы будет розоветь прозрачный ледник и над нищим кишлаком с цветущим гранатовым деревцем будет виться сизый дымок.

Ощущение предстоящей опасности, предчувствие возможной беды порождали в нем фатализм, создавали в душе тревожную просторную пустоту, в которой витал чей-то неведомый дух, творящий его жизнь и судьбу. И он постоянно, во время опасных странствий, общался с этим духом, полагался на него, молил его, совершал во имя его тайные языческие жертвоприношения.

Сегодня, готовясь в однодневное путешествие, ожидая предстоящее впереди чудо, он суеверно к нему готовился. Молил и задабривал таинственный дух, выпрашивая у него это чудо.

Стоя под душем, глядя, как сыплется на кафель блестящие брызги, он откручивал вентиль настолько, чтобы водяная воронка у его босых ног не пропадала, а вращалась, как стеклянная брошь. С этим стеклянным вращением он связывал возможность предстоящего чуда, надежду на то, что его ожидание сбудется.

Он брился перед зеркалом особенно осторожно и тщательно, не допуская малейшего пореза, как это бывало перед выходом на боевые действия, когда офицеры либо вообще не брились, либо страшились порезов, суеверно избегая крови. Побрившись, глядя на свое сухое, с серыми глазами лицо, он обильно протер одеколоном щеки, подбородок и шею, чувствуя приятный холод, убеждаясь, что нигде не горит обожженная спиртом ранка.

Заглянув в гардероб, где лежали принесенные из прачечной рубахи, он выбрал белую, вольную, с отложным воротником, суеверно связывая с белизной и чистотой рубахи ту драгоценную, желанную возможность, что таилась в наступающем дне как его безымянная солнечная сердцевина.

Перед тем как выйти, он зашел в кабинет и долго, расширенными глазами, смотрел на бабочек, словно пил лучистую энергию, жизненный эликсир, наполнявший его мышцы молодой свежестью, а дыхание — ровной радостной силой.

Взял ключи от машины и пошел в гараж. Вывел на свет свою черную, слегка осевшую на рессорах машину, вслушиваясь в ровный, хрипловатый рокот надежного двигателя. Отогнал машину на мойку и сам поливал ее из шланга, расплющивая о черный металл твердую струю, видя, как летят на асфальт обильные брызги, как на капоте, на крыше, на дверцах повисают черные стеклянные капли. Насухо, до блеска протер корпус, довел до зеркальной полировки хромированный бампер, промыл до светлой прозрачности стекла и фары. Старая машина сияла. От нее исходила едва уловимая живая благодарность, и это было залогом того, что его мечтания сбудутся. Сел за руль и поехал на Серпуховскую, где она поджидала его. Она стояла на краю тротуара, заметная издали. Цветастый сарафан, голые загорелые плечи с перекинутыми бретельками, на ногах светлые босоножки, волосы стянуты в небрежный пышный пук на затылке. В руках белая спортивная сумка, которой она помахивала, вглядываясь в проезжавшие автомобили. Некоторые тормозили, приглашали садиться, она отступала назад и отворачивалась. Он остановился перед ней, и первым ее движением был быстрый, негодующий шаг назад. Но в следующую секунду она его узнала. Вся осветилась. И в ее озаренном лице были радость, испуг и то же, что и у него, ожидание, предчувствие чего-то, что должно было случиться сегодня. Навстречу этому неведомому, пугающему и желанному, с солнечного тротуара, подобрав цветастый подол, она скользнула в машину, уселась рядом с ним на сиденье.

— Я вас ждала... Загадала, если ваша машина будет среди первых пятидесяти, то мое желание сбудется... Ваша была тридцать третья...

Они медленно, задерживаясь в скоплениях машин, пробрались сквозь шумный, дымный, тяжелый пласт города. Вырвались на шоссе, похожее на покатуую палубу авианосца, и, оставляя за собой огромный, неохотно отпускавший

их город, помчались среди раскрывающегося, вольного Подмосковья.

— Я не успела позавтракать. Мама сделала бутерброды. Скоро вас буду кормить. — Она оглянулась на свою белую сумку, которую кинула на заднее сиденье.

— Мама знает, куда ты поехала? Знает, кто тебя увез?

— Она все знает о вас. Я ей всегда все рассказываю. Она сказала: «Пожалуйста, накорми Виктора Андреевича бутербродами».

— Не знаю, как благодарить твою маму.

— Поблагодарите меня. — Она заглянула ему в лицо, и снова в ее прозрачных, зеленых глазах он углядел темное, как тень облака, тревожное ожидание. Отпустив руль, чуть коснулся ее руки.

Они неслись среди зеленых раздолий, и ветер, залетающий в машину, приносил ароматы сена, пахучих обочин, вянущих от жары березняков и дубрав.

— Вот мы и отправились в нашу экспедицию, — сказала она. — Мы должны распределить обязанности. За вами — средства передвижения, всякие там лошади, телеги, верблюды. За мной — продовольствие, бутерброды, сэндвичи, а в случае нехватки припасов — добывание клубеньков и корней.

— Из научных обязанностей за тобой составление гербария, — сказал он, принимая игру. — Одно растение кладем в коллекцию, другое — в суп.

— А за вами — зоологические изыскания. Поскольку вы станете ловить одних бабочек, то и в суп будут попадать эти нежные, красивые и очень питательные насекомые.

— Не забудь, пожалуйста, географическую карту. Нам придется наносить на нее реки, долины, горы. И тут же давать им названия.

— Посмотрите, вот холм! — воскликнула она, указы-

вая на пологое зеленое взгорье, мимо которого проносилась машина. — Назовем его в вашу честь. Пик Виктора!

— А вон поселение неизвестного племени скотоводов и земледельцев. Назовем его в твою честь — Дарьянмар! Слушай экспромт, — сказал он, ловя на лету слова, не давая им разбегаться, заталкивая их в веселое двустиише: «Из города навеки уезжая, увез я девушку по имени Княжая».

— А вот мой экспромт, — прикусив розовую свежую губу, она соображала, мучилась, а потом просияла и выпалила: — «Один, среди героев и умельцев, был мне любезен витязь Белосельцев».

Они посмотрели друг на друга. Она запрокинула голову, и он жадно, счастливо смотрел на ее близкую шею, дрожащую от звонкого смеха, на пышный ворох волос, едва стянутых шелковой ленточкой.

Через полчаса она уже рылась в сумке. Кормила его на ходу бутербродами с сыром, с вкусной колбасой. Извлекла пластмассовый флакон с едко-малиновой сладкой шипучкой. Давала ему выпить из горлышка. Пила сама. Проливали на сарафан. Ахала. Снова совала ему бутерброд. Он с удовольствием ел. Благодарил заботливую маму. Давился сладким ядовитым напитком, который ей нравился своей химической яркостью и невыносимо сладким вкусом.

И опять подумал, что с каждой секундой приближается к чуду, ожидавшему его там, впереди, в солнечных далях, куда стремится по синему шоссе мощная послушная машина.

Они миновали Серпухов с розово-белым кремлем и милыми деревянными домиками. Катили по шоссе, петляя среди желтых ржаных полей, белых прозрачных березняков. Въехали наконец в дачный поселок, в тесные заросшие улочки, где в садах, едва различимые за деревьями, желтели и белели дачи, качались гамаки, пахло самоварами, шишками, и она, направляя его, сказала:

— Стоп. Приехали. Вот оно, мое поместье.

Дача была печальной, запущенной, нежилой. Тропинки зарастали травой. Бурьян у забора, у дощатых линиях стен был нескошен. Из тенистой сумрачной глубины сада веяло сыростью и печалью. В черной густой листве, черно-красные, перезрелые, висели нетронутые вишни.

Даша извлекла ключ, отворила грустно скрипнувшую дверь, осторожно, будто боялась, что провалятся под ней половицы, пошла по комнатам. Белосельцев, робея, ступил в чужое жилье, и оно производило все то же печальное ощущение запущенности и забытости. Что-то чеховское, грустное, уходящее чудилось в выгоревших обоях, в покосившейся картине, в темном налете пыли, покрывшей давно не беленные подоконники, в легком соре умерших бабочек, оставшихся с зимы у невымытых окон.

— Здесь всегда было столько людей, столько веселья! — сказала она, медленно оглядывая комнату, смахивая со стола блеклый лист, переставляя пыльную вазочку с засохшим букетом, оглаживая покрывало на широкой тахте. — Папа, его друзья. Мама, молодая, счастливая. Дедушка с его тростью. Здесь шумно обедали, пили вино. Играли на гитаре и пели. А потом все пропали. Мама не любит дачу, начинает здесь плакать. Я люблю, но и мне печально.

Она трогала попадавшиеся ей предметы, словно здоровалась с ними и тут же прощалась. Взяла и тут же оставила мохнатого плюшевого верблюда с обтрепанной холкой. Не поправила, а лишь слабо качнула косо висящий на стене натюрморт. Приоткрыла и сразу захлопнула старый буфет с гранеными стеклами, за которыми, как потушенные лампы, краснели и зеленели рюмочки.

Белосельцев шел за ней, ступая по половицам след в след, словно она знала неопасную, ведущую по дому тропинку, с которой боялась соскользнуть и упасть в исчезнувшее детство. Дом, в котором у шкафа стояла полированная трость умершего деда, выцвел прошлогодний, собранный

матерью букетик, торчал в стене голый, вбитый когда-то отцом гвоздь, — этот дом вызывал сострадание, как добрая, некогда резвая и всеми любимая собака, которая вдруг состарилась, потеряла хозяев и, всеми забытая, не понимает, что вдруг случилось, почему ее перестали холить.

— Идемте в сад, — позвала она. — Покажу вам мои любимые кущи.

Вишневые ягоды обильно, тяжело наклонили ветки. Некоторые были обклеваны птицами, и вместо них висели розовые засохшие косточки.

— А какое мама варила варенье! Дед пенку снимал. Мне на блюдечко выливали эту горячую сладость... Сорвите вишню, попробуйте!

Он сорвал вслед за ней коричнево-красную, с блестящей точкой, ягоду. Сдавливая во рту, подумал, что и она ощущает ту же теплую, терпкую сладость. Кинул розовую косточку на тропинку с шевелящейся муравьиной строчкой. Посмотрел на свои испачканные соком пальцы.

— А с этих качелей я раз свалилась и упала прямо в куст смородины. Не испугалась, не заплакала, а смотрела, как колышутся надо мной качели. Куст давно вырубili. А вас, миленькие, никто уж больше не смазывает! — Она тронула облупленную тяжелую доску, металлическая крепь закрипела, и доска колыхнула разросшуюся крапиву.

Беседка с прохудившейся крышей, деревянный, рассыпавшийся стол с белым птичьим пометом, покосившаяся лавка — все это тоже было как в пьесах Чехова, но не во время действия, а после, когда действие завершилось и герои и героини, офицеры и актрисы, земские врачи и гимназисты стали персонажами другой эпохи, наполнили эшелоны и лавареты гражданской войны, оставив истлевать свои плетенные венские стулья, парижские шляпки, помещичьи уютные дрожки. Так чувствовал Белосельцев этот обветшалый дом и сад. И ее, прощающуюся со своим детством, готовую

перейти в новое время, которое вот-вот наступит, в которое она жадно стремилась, но при этом грустила, расставаясь с минувшим.

— А вот это Дашин лес. Так дедушка называл эти кущи.

Они прошли в самый дальний угол участка, где было солнечно, сухо, рос высокий бурьян — колючие, жесткие сорняки с лиловыми невзрачными цветками. Серо-зеленые нагретые заросли источали сладкий медовый дух, и в этом горячем благоухающем воздухе, опьянев, летали бабочки. Падали на цветки, складывали крылья, впивались в соцветья хрупкими хоботками. Время от времени сладострастно раскрывали черно-алые и золотые перепонки.

Белосельцеву казалось, что она, окруженная печальными тенями, едва уловимыми, исчезнувшими голосами, уже почти освободилась от них. Вышла на солнце из тесного кокона, где в сладкой дремоте прошло ее детство, среди вишен, семейных чаепитий, девичьих мечтаний. Вот-вот она взмахнет разноцветными крыльями, красоту и легкость которых еще не ведала, и полетит, изумляясь новому своему воплощению. Но в эти минуты еще медлит, робеет, грустит. И он, Белосельцев, должен осторожно качнуть тонкий стебель, на котором она сидит, тихо дунуть, чтобы она полетела. И она это знает. Для того и привела его на эту печальную дачу, впустила в старый, заброшенный дом.

— Этот бурьян был здесь всегда, — сказала Даша. — Но я была маленькой, а он был до неба. Бабочки казались огромными, и я слышала, как шумят их крылья.

Он смотрел на нее, и была в нем нежность, желание ее охранить. Бережно вывести из печального мира теней. Не воспользоваться ее беззащитностью и неведением, а весь опыт длинной прожитой жизни, неистраченной веры и нежности посвятить ей. И, куда она в нем нуждается, ей служить.

Он протянул руку в бурьян, к лиловым пушистым соцветиям. Несколько бабочек, потревоженных его взмахом,

лениво взлетели и тут же опустились в цветы. Павлиний глаз, черный, с глухими красными отсветами, с драгоценно сияющим фиолетовым оком, опустился ему на пальцы. Он чувствовал щекотание крохотных цепких лапок, едва ощутил тяжесть. Бабочка сидела на его руке, как ручная. В Белосельцеве не было жестоких энергий, не было страданий и желчи, а одна только нежность. Бабочка не пугалась его. Быть может, так к святым в лесные обители приходили медведи. Чувства, которые он испытывал к Даше, были святы. Павлин не боялся его. Воспринимал как траву, как цветок.

— Ну вот, я показала вам мою дачу, — сказала она. — А теперь покажу мою Оку. Идемте купаться.

На минуту она исчезла в доме. Появилась опять с мохнатым полотенцем. По тесной горячей улочке пошли к реке. И печальный дом был сразу забыт. Каменистая дорога слепила своей белизной, словно была посыпана пшеничной мукой. Желтые пижмы на солнце горели и душисто пахли. Розовые мальвы у заборов отяжелели от обилия тучных цветов, сладостных тягучих ароматов. И вдруг среди белизны, сухого сияния старых тесовых оград блеснула река. Синева была ослепительной, неожиданно яркой, ошеломляюще сочной. Не синева, а лазурь, как на плащах и крыльях рублевских ангелов. Это был не цвет, а радостная могучая сила, переливавшаяся через край огромной, помещенной в центр мироздания чаши. Эта сила была обращена на него. Душа откликнулась на лазурь страстной радостью, как на долгожданное слово, которое он жаждал услышать. И слово это было: «Люблю!»

Он смотрел на лазурь, и она преображала его. Душа, молодая, наивная, озиравшись кругом, как озирается слепец, получивший обратно зрение. Его зрачки, утомленные созерцанием человеческих бед и безумий, замутненные биноклями, прицелами, приборами ночного видения, вдруг обрели первозданную зоркость. Трава стала вдруг зеленей, вспыхнула, словно на нее направили прожектор. В высоте

летнего неба он разглядел едва различимую медлительную птицу, ходившую плавными кругами. На кустах желтой пижмы рассмотрел крохотное слюдяное создание, прозрачное для лучей. Каждый камень на дороге обрел свою форму, лежал отдельно, обведенный малой тенью. На Дашу он боялся смотреть. Она шла рядом, в полупрозрачном сарафане, и под этим сарафаном, полным солнца, волновалось ее легкое молодое тело. Волосы ее прозрачно горели, он чувствовал их сияние. Лазурь продолжала прибывать, увеличиваться. Глаза ненасытно погружались в нее, словно через этот небесный цвет, если нырнуть в его глубину, можно было проникнуть к Тому, Кто царствует в мироздании.

— Вот моя Ока, — сказала она, словно дарила ему реку. Они сошли к воде, к ее холодной свежести, плеску и ветру, к несущемуся у берега прозрачному течению.

Шли по хрустящей гальке, по сочной траве, по мокрым, бьющим из берега ключам, а потом опустились у воды, на солнцепеке. Она кинула на землю полотенце. Быстрым взмахом сняла с себя сарафан. Осталась в легком желтом купальнике, золотистая, близкая, радостная, позволяя ему смотреть на себя. Освободила от легкой материи свое тело и то солнце, которое окружало ее под тканью.

— Сразу не станем купаться. Немного полежим. — Она опустилась на край мохнатого полотенца, оставляя ему другую, свободную бахромку.

Они лежали рядом. Белосельцев чувствовал ветренный холод реки, сухой жар солнца и близкое, исходящее от нее светящееся тепло.

— Никогда не была на той стороне, — сказала Даша, глядя через синий студеной простор на далекие заливные луга, тенистые кустарники, туманные старицы. — В детстве, помню, на берег выходили лошади, белые, черные, красные. Пили воду, плавали. Я их звала сюда, хотела, чтоб они

переплыли. А потом исчезли и больше не появлялись. Мама говорит, не было никогда никаких лошадей.

Он смотрел на далекий зеленый берег и видел красного купающегося коня, бурлящие под горячей кожей алые мускулы, синие бегущие волны. Голый, золотистого цвета наездник стиснул литыми пятками конские ребра, ловил на лету блестящую водяную струю. Он видел мир ее глазами. Она сгустила синеву реки до страстного райского цвета. Превратила небо, землю и солнце в огромную икону, на которую он радостно молился.

— А еще я помню, в детстве видела на реке пароход. Стояла здесь на берегу, и он вдруг приплыл, белый, большой, с музыкой, с флагами. Множество людей на палубе, машут, смеются. Когда я сказала об этом дома, надо мной смеялись. Сказали, что не может быть никакого парохода, река несудоходна, никогда здесь никто не плавал.

Икона, которую она ему показала, была полна солнечных нимбов, летающих ангелов, священных скачущих всадников. На этой иконе по синей реке плыл белый пароход, украшенный лентами, флагами, блестела медь оркестра, на палубе танцевали. Счастливые люди смотрели с воды на них, лежащих на берегу, махали, звали с собой.

— Мне ведь не могло все пригрезиться. Я все это видела. Значит, мне это показали, а от других людей это спрятали. Может, нам с вами снова покажут?

Он видел светлые кварцевые песчинки на ее ногах. Видел, как отпечатался на ее плече резной рисунок травы. Видел, как к ее волосам прицепилось крохотное пернатое семечко, распушив тончайшие лучи. Прежде ее не было в его жизни, он не видел ее в своей слепоте. Но вдруг, за какое-то благое деяние, ее ему показали. И он видит, любит ее.

— Посмотрите, какая ракушка. — Она протянула ему на ладони перламутровую створку раковины, которая была как малая ладья с серебристо-розовым дном. — Давайте ее

здесь закопаем. Положим в тайник. Задумаем желания, и пусть она здесь хранится, бережет нас.

У него не было никакого желания. Все желания были исполнены в разноцветном, перламутровом, как эта ракушка, мире, в котором она возникла из синей воды, изумрудной травы, из горячего солнца. Осуществилась его мечта, его заветное желание. И пусть она спрячет ракушку. Когда-нибудь, в немощи, в старости, придет на этот берег, тусклый, предзимний, с серой стальной рекой, с косым холодным дождем, падающим в жухлый бурьян. Найдет на берегу свой тайник, отроет ракушку и в ней, как в перламутровом зеркальце, увидит сегодняшний день, лазурь, золотой песок и себя, молодую, прекрасную и любимую.

Он понимал, что владеет несметным, неисчислимым богатством. Этим летним огромным днем, песчинками на ее ногах, отпечатком травинки на ее смуглом плече, перламутровой ракушкой у нее на ладони. И так велико было его богатство, таким благоговением была исполнена его душа, что он больше не мог оставаться с ней рядом.

— Я искупаюсь, — сказал он и встал. — А ты?

— Подожду. Плывите, а я стану на вас смотреть.

Он чувствовал, что она смотрит, как он идет. Наступал на рассыпчатый горячий песок, оставлявший нечеткий отпечаток. Скользнул стопой по мягкой влажно-теплой траве. Надавил на горячую скрипнувшую гальку. Опустил ногу в холодную, прозрачную воду, которая сразу завилась, закружилась у щиколотки, потянулась по течению стеклянными завихрениями и воронками, словно река разносила весть о его появлении. Рассматривал сквозь воду свои пальцы, окруженные цветными донными камушками, зная, что она, прищурясь против солнца, наблюдает за ним. И, чувствуя нагретыми лопатками, жарким затылком ее взгляд, взмахнул руками и ухнул в воду.

Холод, удар, перебой дыхания, зеленоватая тьма, в ко-

торой он пробирался, врезаясь в нее заостренными ладонями, слыша, как по ребрам, плечам, животу мчатся холодные крепкие струи. Удерживая дыхание, с открытыми глазами, плыл под водой, слыша, как сильно, жарко ухает сердце, гудят в ушах водяные переливы, летучие песчинки, невидимые рыбины — тихие гулы и посвисты подводных потоков. Поджав ноги, оттолкнулся от плотной глубины, вырвался на поверхность, в свет, в воздух, в солнечный взрыв, жадно, сквозь брызги и солнце, делая сладкий торопливый вдох. Знал, она видит с берега этот солнечный взрыв. Плыл и думал о ней, оставшейся на берегу.

Он заметил, что его сносит течением. Стремнина была сильной, холодной, тугой. Река катила его мимо отмелей, кустистых зарослей. Оглянулся на оставленный берег, увидел далеко, на солнце, ее желтый, как пижма, купальник. Она удалялась, и он, повернувшись против течения, стараясь удержаться, врезался в поток, противодействовал ему, боролся с рекой.

Устав бороться, он перевернулся на спину, отдавая себя потоку, его молчаливой силе, его безгласному стремлению.

Река несла его мимо песчаных дюн, серебристых кустов, травяных холмов. Он видел свою мокрую, поднимающуюся над водой грудь и высокое белое облако, застывшее над летней землей. И так сильно и жарко билось в его груди сердце, такое высокое и безмятежное было облако, такая безгласная, бесконечная, Бог весть куда несущая его, была река, что он стал молиться Творцу, вознося ему благодарственную молитву за чудо, которое ему даровано, за любовь, которую он, плывя по реке, испытывает к ней, оставшейся на солнечном берегу. Он благодарил Господа, что Тот раскрыл ему наконец истинное устройство мира, смысл его рождения, таинственный способ, коим можно избежать смерти и прямо отсюда, из реки, из густой лазури, перейти на небо, в это белое чудное облако, за которым начинается

рай. Там сидят у врат белогривые старцы, пропускают в небесный град вереницы земных пришельцев.

Он молился бессловесно и страстно. Малая голубая стрекозка, долетев до середины реки, норовила присесть ему на грудь. Трепетала перед глазами хрупкими блестящими крыльцами. И молитва его была услышана. Из воды, из лазури, из глубинных хладных потоков поднялся сверкающий столб, до неба, до солнца. Сбрасывая с себя водяные покровы, упирався ослепительно белыми стопами в поверхность реки, доставая золотой головой до белого облака, возник ангел, крылатый, могучий, с блестящим копьем. Воззрелся на него из небес ликующими глазами. Растворил румяные уста. Произнес громогласное слово. Оно было беззвучно, но рокотало, как гром. Было грозным, но излучало радость. Было обращено к нему, сделало его могучим, добрым, всеведущим. Он был услышан Творцом. Ангел спустился к нему среди сияющих вод, дабы сказать ему, что его бытие не напрасно, что прожитая в сражениях и муках жизнь была задумана Творцом и теперь наградой ему служит любовь. И пусть он будет счастлив среди родных раздолий, пусть не усомнится в благом устройстве мира. В урочный час ему снова будет дан знак, появится ангел, направит его стопы и мысли.

Ангел канул, оставив на реке два широких плывущих круга в тех местах, где упирались о воды его ноги. Белосельцев не изумлялся. Ангел ли это был, или выбросилась из воды большая серебряная рыбина — это был знак Творца, весть о бесконечном блаженстве. Он взмахнул руками и поплыл к берегу. Он вышел из воды далеко от того места, где она сидела. Медленно к ней приближался, чувствуя ее, невидимую, за кустами и изгибами песчаного берега.

Когда он подошел, она встала, переступая по песку светлыми ногами. Протянула ему руку, когда песок сменился острой галькой. Он помог ей спуститься к воде. Вместе во-

шли в реку. Она тихо ахнула, когда холодная вода обхватила ее горячее тело, колыхнула ее. От легкого толчка реки она оказалась у него в объятиях. Он обнял ее, чувствуя, какая нежная, легкая, еще неостывшая она в воде. Концы волос у нее намокли и потемнели. Плечи блестели. У ключицы, как в ракушке, скопилась вода. Ее близкие розовые губы улыбались. Глаза, под стать берегам и реке, зеленели, голубели, были перламутровые. Он обнимал ее, не чувствуя ее веса, а только бегущее вокруг них водяное течение. Целовал ее в губы, в плечи, в мокрые ямочки у ключиц, как целуют водяную кувшинку, ее холодную ароматную свежесть. Она обняла его голову, притянула, поцеловала в глаза.

Они возвращались на дачу по горячей, мучнисто-белой улице, мимо заборов, гамаков, самоварных дымов. Шли молча, не глядя один на другого. Она несла мохнатое полотенце и свой желтый влажный купальник. Он видел рядом ее цветастый сухой сарафан, наполненный солнцем, в котором двигалось, колебалось, просвечивало ее легкое тело.

Вошли в дом, в его печальные ароматы старинных варений и высохшей солнечной плесени. Она остановилась у широкой деревянной кровати, застеленной полосатым покрывалом. Над кроватью в тесовой раме висел натюрморт, лучистые фиолетовые астры. Он подошел к ней сзади, обнял, погрузил лицо в ее влажные волосы, чувствуя, какая тонкая, неведущая ткань сарафана. И эта ткань, как прозрачная разноцветная тень, взлетела и косо упала на пол, словно купа сухих цветов.

Он уложил ее на полосатое покрывало, закрыв глаза, неся под веками моментальный золотисто-белый отпечаток. Вытянутые, с напряженными пальцами ноги, розовую грудь, руку, прикрывавшую дышащий живот, приоткрытые губы и плотно стиснутые, как у испуганного ребенка, глаза.

И не было ни единого звука. Его зрение было опрокинуто внутрь, в темную жаркую глубину, где мчались подвод-

ные струи, сумеречные воронки. В них крутились карусели, падала и взлетала ладья, проплывал бело-розовый Кремль, гудела колокольня Ивана Великого, шевелил разноцветными мохнатыми чертополохами Василий Блаженный, манекенщицы выходили на подиум, неся над головами сверкающие люстры, превращались в небесный салют, в ночной ослепительный дождь, в разноцветный фонтан, и Москва казалась черной хрустальной вазой, куда поставили множество красных и зеленых цветов. И все это мчалось, переливалось в темных подводных течениях, в которых он плыл, врезался в глубину, все глубже и глубже, покуда хватало дыхания. И когда его не стало совсем и над ним замерцала слабая светлая точка, он оттолкнулся от донных глубин, устремился наверх, к точке света, которая разгоралась, наливалась силой и блеском и вдруг превратилась в огненный слепящий фонтан, из которого прынуло крылатое диво, с ликующими глазами, с отточенным блестящим копьем. Ударило в него могучим крылом, прочертило ему в глазах огненную дорогу и кануло, оставив по себе гаснущие искры и линии, как от промчавшейся небесной кометы.

Он лежал почти бездыханный, едва приоткрыв глаза, глядя на висящие фиолетовые астры, на скомканное полосатое покрывало.

Она едва слышно что-то сказала.

— Что? — не расслышал он.

— Неужели из-за этого столько всего случается?

— Из-за чего?

— Люди преследуют и убивают друг друга?! Разрушили Трою?

Он не ответил. Не было сил отвечать. Внутри у него была просторная солнечная пустота, и в этой пустоте, не заполняя ее, висели наивные фиолетовые астры.

Они лежали рядом, и он чувствовал, как ее рука ласкает его, осторожно и робко, неумело и нежно. Его лоб, плечо,

грудь. Его живот, колено, бедро. Словно она рассматривает, изучает его, видит впервые. Ее пальцы нащупали на плече твердый сухой рубец от старой афганской раны. Она накрыла рану ладонью, как накрывают дупло, в котором притаилась спящая птица. И рана откликнулась на ее прикосновение, не болью, не испугом, а сладостью.

Она приподнялась на кровати.

— Ты куда? — спросил он.

— Я сейчас.

С тихим стуком пробежала босыми ногами по половикам. Приблизилась к буфету. Растворила скрипучие дверцы. С тихим звяком извлекла большую белую тарелку.

— Вишен принесу. — Держа тарелку, не одеваясь, голая выскользнула в сад.

Он смотрел сквозь открытое окно, как в темно-зеленых вишнях белеет ее гибкое тело, как протягивает она руки к черным ягодам, срывает, кладет в тарелку. Ее заслоняли ветви, она белела в стволах, шелестела, качала листвой, собирая плоды. Однажды она изогнулась, стараясь дотянуться до ягоды, и он углядел ее гибкий наклон, протянутую руку, подмышку, заостренную грудь, изогнутое бедро и линию спины. Эта поза вызвала в нем мгновенную нежность к ней, острую любовь и влечение. Он подумал, что это и есть Рай, когда — теплый сад, черно-красные спелые вишни и любимая собирает в саду плоды.

Она вернулась, неся полную тарелку вишен. Села рядом с ним. Поставила холодную тяжелую тарелку ему на грудь. Брала ягоду, подносила к его губам, вкладывала сочную, черно-малиновую, с блестящей точкой ягоду ему в рот. Сама ела сочные ягоды, вынимая из влажных губ розовую скользкую косточку. По-детски стреляла ею в открытое окно.

Он глотал сладкий, начинавший бродить сок. Смотрел, как она улыбается ему своими испачканными, потемневши-

ми от сока губами. Наклонилась и поцеловала его рану. Сухой рубец порозовел, помолодел от ее поцелуя.

— Теперь ты отвечаешь за меня, — сказала она. — Во всех моих делах и поступках. Если ты оставишь меня, если отречешься, я погибну, сойду с ума.

— Люблю тебя, — сказал он. — Дай тебя поцелую.

За вечереющим открытым окном темнели вишни. Белела тарелка, наполовину пустая, с мазками вишневого сока. Лежала у него на груди ее легкая теплая рука. Мимолетно, с острым прозрением, подумал, что счастливее, чем теперь, он никогда еще не был и, видимо, больше не будет.

Они возвращались в Москву поздней ночью. Она спала рядом с ним на сиденье. Фары хрустально светили во тьму. Машина летела с ровным бархатным рокотом. Он вел бережно автомобиль сквозь ночные перелески, чувствуя рядом ее сон, ее теплоту и прелесть.

Думал, что смысл божественных усилий и чаяний, направленных от Божества к человеку, в том, чтобы человек достиг совершенства и испытывал те же чувства, что и он сейчас. Так же любил, прощал, испытывал нежность, благоговение к природе, к проносящимся лугам и деревьям, к спящим среди этих деревьев животным и птицам, к невидимым, живущим в окрестных городах и поселках людям, к ней, своей ненаглядной и милой, к Творцу, который попустил ему, своему смертному сыну, испытывать все эти чувства.

Въехали в Москву, в ночные улицы, по которым, не успокаиваясь и ночью, катились лучистые потоки машин.

Она проснулась, сонно потянулась на сиденье.

— Уже Москва? Как быстро доехали. Вези меня прямо домой.

Она указала ему путь, в район Кускова. Он подвез ее к дому с высокой аркой, проехал мимо сонных припаркованных машин, скамеек, газонов к самому ее подъезду.

— Спасибо. До завтра. — Она выскользнула из машины, скользнула к подъезду, хлопнула тихо дверь.

Он не уезжал. Представлял, как поднимается она в лифте, входит домой. На детской площадке, резной, деревянный, стоял медведь. Он тронул смешного выструтанного истукана. Подумал, что завтра, когда она выйдет из дома, сразу увидит медведя. Стоял среди темного сквера, и кошка, пробегая, сверкнула на него зелеными, слепящими, как фары, глазами.

Глава десятая

Утром они сидели с Сом Кытом на галерее в теплой розовой тени. Щурились на брызги колючего белого солнца в листве. Изучали истертую туристическую карту. Сом Кыт вычерчивал Белосельцеву предстоящий маршрут к границе, от Баттамбанга к Сисопхону, и севернее, к пограничной черте, а оттуда — в Сиенреап, к Ангкору. Тхом Борет, шеф безопасности, принес на очках два маленьких ослепительных солнца. Стиснул Белосельцеву руку своей твердой беспалой ладонью.

— А мы здесь подсчитываем километры, запасы продовольствия и пресной воды, — пошутил Белосельцев, ненавязчиво, сквозь смех изучая изможденное лицо, на котором при свете дня виднелись слабые оспины и надрезы, словно отпечатки древних ракушек на камне. — Сколько езды до границы?

— До самой границы нам вряд ли удастся доехать, — сухо сказал Тхом Борет. — По-видимому, только до Сисопхона или чуть севернее. Дальше ехать опасно. Идут бои. Действует несколько террористических банд. Обстреливают и взрывают машины.

Белосельцев продолжал изучать Тхом Борета. Казалось, твердая кремниевая оболочка его лица — лишь внешний,

недавно застывший слой, под которым, с трудом удерживаемая, кипит горячая магма. К ней, не окаменелой, невидимой человеческой сущности, хотелось добраться Белосельцеву.

Осторожно, чтобы не показаться навязчивым, не тревожить мнительного, исполненного подозрений Тхом Борета, Белосельцев расспрашивал его об обстановке в районе границы. Сверял свои собственные данные, полученные из посольских источников, с теми, что добывал в путешествии, в мимолетных разговорах и встречах. Его интересовали базы и лагеря «кхмер руж», находящиеся по обе стороны тайландской границы, и смеют ли вьетнамские войска, преследуя банды Пол Пота, пересекать эту границу, и как реагирует на такие пересечения тайландская армия. Он расспрашивал о поставках Пол Поту китайского военного снаряжения, японских сборных домов, американских полевых госпиталей, западногерманских мобильных кухонь. Он хотел по косвенным признакам узнать о степени вовлеченности в конфликт других стран. Об иностранных инструкторах, учивших диверсионной борьбе, минированию мостов, обращению с инфракрасными зенитными ракетами «рэд ай». Расспрашивая Тхом Борета, он запоминал названия и цифры, чтобы лучше понять тактику террористических действий. Противник, не считаясь с потерями, засылал в кампучийские джунгли боевые отряды. В горных пещерах устраивал тайные базы. Оттуда мелкими группами наносил удары, перехватывая на проселках одиночные машины, истреблял в деревнях активистов новой власти. И опять мучительно и тревожно подумал об итальянке, исчезнувшей из его поля зрения, растворившейся в зелено-синих далях, в розоватой пыли дорог, по которым ему предстоит проехать, чтобы найти ее в Сиамрепе, у каменной громады Ангкора.

Тхом Борет отвечал на расспросы подробно и внятно.

Произносил названия деревушек, речек и гор. Насыщал ответы статистикой потерь и разрушений. Был откровенен до известной черты, за которой начиналась область профессиональной секретности — замышлялись и длились неоконченные операции, уходили разведчики в стан врага, устраивались засады в горах. Шла изнурительная кровавая борьба. Белосельцев чувствовал эту грань и черту, не приближался к ней слишком близко. Сразу же отступал, когда натыкался на бдительную зоркую чуткость собеседника.

— Вы так хорошо знаете местность, мельчайшие горки и деревеньки, — сказал Белосельцев. — Вы родом из этих мест? Из Баттамбанга или Сиенреапа?

— Нет, — сказал Тхом Борет, ослепляя его маленькими стеклянными солнцами, и его лицо в мельчайших надколах напоминало кремниевый, прошедший обработку накопчик. — Я родился и жил в Пномпене. В этих местах пять лет назад я партизанил в отрядах «кхмер руж». Был командиром отряда. Поэтому мне и поручили этот район.

Белосельцев не удивился. Многие из бывших командиров «кхмер руж» порвали с Пол Потом. Прошли проверку вьетнамских спецслужб. Были включены в новую администрацию. Работали под контролем вьетнамцев.

— Простите мое любопытство. — Белосельцев, по роду профессии привыкший каждый момент своей жизни использовать для поиска информации, знал, что судьбы тех, кто поставлял информацию, тоже были информацией и свидетельством. Здесь, в этой израненной, продолжавшей воевать стране, в каждой отдельной судьбе, как клеймо, была выжжена катастрофа. Он повторил свой вопрос: — Как вы пришли в органы безопасности?

— В этих местах я воевал с американским режимом Лон Нола и первый вошел в Баттамбанг. Когда мы штурмовали город, мне приказали взорвать у монастыря мост через реку и отрезать гарнизон неприятеля. Я взорвал мост

вместе с караулом солдат. Когда мы сражались в джунглях, мне приказали напасть на колонну броневиков. Я сжег пять машин, сам из пулемета расстреливал убежавшие экипажи. Пол Пот пожал мне руку и назначил комендантом Баттамбанга. Мне приказали разрушить монастырь, в котором укрылись монахи. Я отказался. Мне приказали расстрелять врачей и раненых в госпитале, и я опять отказался. Я хорошо знал, что в таких городах, как Пномпень, Баттамбанг, засело много врагов народа, продажных чиновников, спекулянтов, американских шпионов, убийц, и мы их должны уничтожить. Но когда стали поступать приказы убивать инженеров, учителей, архитекторов, я отказался их выполнять. Меня арестовали, обвинили в связях с Вьетнамом и отправили в Пномпень, в Туолсленг...

Рассказ Тхом Борета был не исповедью, а перечнем неких сведений, которые, быть может, станут полезны другому. Белосельцев исследовал рассказчика, как археолог исследует извлеченный из раскопа кусочек оплавленной бронзы, восстанавливая по едва заметным признакам приемы металлургии, типы оружия, военный уклад древнего племени, ведущего сражения с соседями. И одновременно сострадал и сочувствовал. Понимал, что и сам он, в своем сострадании и сочувствии, является для Тхом Борета объектом наблюдения и исследования.

— Меня привезли в Туолсленг и поместили в отдельную камеру. Стали выведывать мои связи с вьетнамцами. Требовали, чтобы я назвал имена и явки. Мне показывали фотографии каких-то людей и спрашивали, знаю ли я их. Я никого не знал. Меня сначала просто били. Потом привязывали к кровати лицом вверх и жгли лицо и тело раскаленными железными палочками. Однажды ко мне привели вьетнамца. Спросили, знаю ли я его. Я его не знал. Тогда меня забили в колодку, закрепили недвижно руку и отрубили пальцы. Вылили на них флакон спирта, и я потерял рас-

судок. Несколько недель был в состоянии безумия. Когда опомнился, меня снова повели на допрос. Поставили передо мной человека с лицом, сожженным паяльной лампой, и спросили, знаю ли я его. Я ответил, что нет. Тогда они привязали меня к столбу, привели в камеру мою жену, с которой, воюя в джунглях, я не виделся несколько лет. Спросили, знаю ли я ее. Я сказал: да, это моя жена. Они раздели ее, привязали к кровати и спросили, стану ли я наконец говорить. Я умолял пощадить жену, потому что действительно ничего не знаю. Они клещами оторвали у нее сосок, я видел, как у нее брызнула кровь и жена закричала. Лицо ее стало как яма, полная смерти. Один из них достал маленькую стальную коробочку, раскрыл ее над грудью жены, высыпал на нее желтых сороконожек, которые, как только почувяли запах крови, кинулись и впились в ее окровавленный сосок. Это последнее, что я помню, — кричащую жену, ядовитых изогнутых сороконожек, впившихся в ее раны. Я потерял разум, был как безумный. Не знаю, почему они меня не убили. Меня освободили вьетнамцы. Когда я поправился, мне предложили бороться с Пол Потом. Я согласился.

Он умолк. Его кремниевое, оббитое на страшной наковальне лицо было бескровным. В очках дрожали два слепящих маленьких солнца, на которые невозможно было смотреть. Белосельцев думал, сколь беспощаден он должен быть к врагам, какую ненависть видят враги сквозь стекла его очков.

Во двор въезжала «Тойота». Шофер, опуская стекло, махал, приглашая садиться.

Двумя машинами, в сопровождении охраны, они двинулись через город, сменившийся полями, рощами, сквозь которые, параллельно разбитому шоссе, тускло блестела, струилась железнодорожная колея.

Белосельцев издали старался определить состояние дороги. Желтела полузаросшая насыпь. Мелькали маленькие аккуратные мосты. Солнце непрерывно бежало в стальном

натянута рельсе. И летели вдоль колен плавные, волнообразно-воздушные бабочки, неразличимые в цвете, с проблесками золотисто-белого, голубого. Белосельцев жадно смотрел на них, мечтал остановить машину, сойти с обочины на зеленую траву, подставить ветру сачок и легким взмахом вычерпать из теплого струящегося воздуха парящую бабочку, посмотреть, как в прозрачной кисее беззвучно трепещут ее бело-голубые крылья. Но машина колотилась на ухабах, шофер мучительно огибал колдобины, и сзади, повторяя их падения и взлеты, следовал Тхом Борет с охраной.

Придорожные села обнаруживали себя сначала учащающейся ездой велосипедистов, потом пешеходами с тюками, корзинами, мотыгами на плечах. Наконец близко к обочине возникало село, свайные хижины, пальмы, дым очагов и жаровен. Близость Нового года, его канун ощущались в нарядах, чистых, иногда ослепительно ярких одеяниях женщин, в цветах, украшавших дышла воловьих упряжек. На хижинах обильно, празднично висели красные флаги. В пальмах на высоких шестах волновались двухвостые змеи. На одном перекрестке толпа шумно играла огромной разукрашенной куклой, колыхавшей белой красноглазой башкой. Белосельцев махнул рукой тонкобедрой женщине, поймав ее молодой любопытный взгляд.

Но среди оживления и праздничности, словно легкие набегавшие тени, все чаще начинали мелькать люди в солдатской форме. Солдаты при виде их кавалькады еще издали начинали вглядываться, узнавали, подымали полосатую, преграждавшую путь перекладину. У перекрестков были отрыты траншеи, иногда пустые, но чаще с охраной, вооруженной пулеметами. Блеснула вороненым стволом, без чехла, зенитка. Белосельцев чувствовал, как по мере приближения к границе их захватывает нарастающее поле тревоги.

От шоссе в сторону железной дороги сбегали красноватые, вырезанные в зеленой траве проселки. Белосельцев

успевал взглядом скользнуть по ним, стараясь рассмотреть вдалеке мост или переезд, но машины, трясаясь и подскакивая, катили дальше, и под бдительным оком Тхом Борета остановка была невозможна. Внезапно задняя машина с охраной засигналила, остановилась. Тхом Борет махал рукой. Белосельцев, когда и их «Тойота» заглушила мотор, вышел, не понимая, что вызвало остановку.

С обочины, стачивая спуск, в сторону насыпи уходила проселочная дорога, окруженная яркой зеленой травой. На красной дороге, среди зеленой луговины, виднелся белый обугленный остов машины. Всматриваясь в мятую конфигурацию автомобиля, различая мазки копоти, изломы железа и синюю, начертанную на дверце эмблему, Белосельцев испытал молниеносную, затмевающую зрение тревогу, которая набежала на него, словно внезапные, среди ясного дня, сумерки.

Подошел Тхом Борет.

— Вчера подорвалась на mine. Вы помните итальянку из миссии ООН? Она ночевала в одном с вами отеле. Зачем-то свернула с шоссе, поехала по проселку. Здесь осталось много минных полей.

— Что с ней? — Белосельцев старался выглядеть спокойным, почти равнодушным, чувствуя, как колеблется, ломается, падает вертикаль, за которую он хотел удержаться, закрепить себя на этой пыльной обочине, но она ломалась, рассыпалась на хрупкие отрезки, и он терял равновесие.

— Сразу погибла. Ее отвезли в Баттамбанг, а потом в Пномпень. Машину сегодня возьмут на буксир, отправят в миссию ООН.

Вчера, когда они с Сом Кытом сидели на ночной веранде и смотрели на серебряный ковш, Анна Мария уже была мертва, лежала где-то рядом, накрытая простыней, под которой выделялись стопы ее ног, ее грудь, подбородок. Днем, когда он бродил по рынку среди шумных торговцев и испы-

тал беззвучный удар, опрокинувший его на лотки и прилавки, и над ним пронеслись невесомые прозрачные вихри — это была взрывная волна ее смерти, световая вспышка ее предсмертной тоски, обращенный к нему зов о помощи. Ее смерть оставила в нем невидимый оттиск. Он жил эту ночь, и утро, и эти часы дороги, испытывая необъяснимую боль и тоску, неся в себе больную вмятину.

— Я могу подойти? — спросил Белосельцев.

— Теперь неопасно. Саперы проверили местность. Единственный фугас. Непонятно, зачем она свернула к дороге. Она и шофер убиты.

Белосельцев спустился с обочины и один, без спутников, шагнул на красноватую пыль, в которой отпечатался ребристый протектор машины. Двинулся, видя перед собой приближающийся остов «Тойоты». И пока шел, опуская стопы на мягкую, сыпучую, как красный перец, пыль, мысли подсекали одна другую, торопились сложиться в картину, объясняющую этот взрыв и эту гибель. Картина разлеталась осколками взрыва, словно ее рисовал художник-кубист, и там, где недавно сиял таинственный, смугло-прекрасный лик итальянской женщины, идущей по весенним цветам, с венком на жемчужном челе, среди волшебных плодов и деревьев, там дробилось разноцветное, с обилием красного, из клиньев и осколков пятно, какое остается на лобовом стекле автомобиля, когда в него ударяется птица.

И первая мысль — ее убили специально, направили машину на мину, и уже никогда не узнать, кто уготовил ей этот проселок, кто накануне вживил в красную пыль фугас, кто, скрываясь в кустах, нажал дистанционный взрыватель.

И вторая мысль — его, Белосельцева, тоже должны убить. И сейчас из-под ног подыметесь красный взрыв, и его кровавые тельца смешаются с пылью дороги, и в посольство уйдет телеграмма о несчастной случайности.

И третья мысль — эта остановка у разбитой машины

сделана ему в назидание. Его секретная миссия разгадана. В нем раскрыли разведчика, говорят с ним языком взрывов, заставляют одуматься, принуждают повернуть вспять. Глаза Тхом Борета следят за ним с обочины, за каждым его движением, за выражением лица, стараясь углядеть признаки страха и паники.

И четвертая мысль — это он виноват, Белосельцев. Он знал о грозящей опасности, предчувствовал ее гибель. Отмахнулся от предчувствия, не помчался ей вслед, не догнал на дороге, не остановил на этой обочине, не запретил спускаться на этот красноватый проселок, по которому бесшумно, заматавая следы, прошел взрывник, насыпал над минным зарядом горстку красной пыли.

И пятая мысль — они больше никогда не увидятся, не будет их встречи в Сиемеапе, не встретят они Новый год, и чудо их встречи и близости кончилось чудищем красного косматого взрыва, растерзавшего ее прелестное тело.

Он приблизился к машине. Скомканный короб валялся на боку, словно железо побывало в огромном сжатом кулаке. В днище зияла дыра, виднелись блестящие кромки разорванных колесных дисков. Вокруг, на сожженной земле, валялись черные элементы механизма. Пестрел полусгоревший мусор каких-то коробок, пакетов. Сквозь вонь сгоревшей резины, кислый запах окалины просачивался едкий, больничный дух медикаментов.

Белосельцев не стал подходить к машине, страхась увидеть нутро, откуда было вырвано, пропущено сквозь режущие кромки молодое тело, а остановился перед ямой, выбитой в дороге, словно здесь выкорчевали глубокое корневище.

Смотрел на чашу, оставленную взрывом, на мелкие камушки, на пудру измельченного вещества, откуда излетела смерть. Видел золотистое окно, и прелестную обнаженную женщину, омытую водой, глазированной, с плещущей на плечи струей, ее стеклянные черные волосы, и взмах руки,

когда она отжимала мокрую прядь, и тень под мышкой, приподнятую грудь с высоким соском, на который из ковша, того, серебряного, поднебесного, лилась прохладная влага. Она переступала порог, и ее колено казалось смуглой морской раковиной. Теперь никогда он больше не коснется ее губ, не обнимет гибкую чудную талию, не увидит, как тает черно-красное вино в ее стакане, как горит крохотная лунная искра в винной капле, и ему вовеки не бывать в Сиракузах, на гранитной ветреной набережной, где старый рыбак выхватывает из моря розового осьминога и далекий форт на другой стороне пролива охвачен белой кромкой прибоя. Она стоит, отдавая ветру свои черно-синие волосы, он может протянуть к ней руку, погрузить ее в струящийся ветренный ворох. Их краткая встреча была чьим-то капризом. Кто-то по ошибке соединил их на миг и тут же от них отказался. Взял обратно видения под прозрачным пологом, цветные города и райские кущи. Оставил ему пыльную яму, в которой, как слабый туман, испарялось их неосуществленное будущее.

Он знал, что спутники его наблюдают за ним, ждут, что он станет делать. Опустился перед ямой на дорогу. Положил ладони на теплые пыльные кромки. Почувствовал телесное прикосновение и, закрыв глаза, минуту ждал, когда это телесное таинственное тепло проникнет в его плоть. Поднялся, не отряхивая с ладоней красноватую пыль, вернулся к машинам.

Они тронулись дальше, и ему померещилось, что вдоль обочины, не касаясь земли, прозрачный, не отбрасывающий тени, несется бесплотный дух. Отстает, исчезает вдали. Дрожание раскаленного воздуха. Растрепанные зеленые пальмы.

Они въехали в Сисопхон, в солнечную разноцветную пыль, увязая в запруженных улицах. Пробивались гудками, катили среди ленивых телег, колыхающихся воловьих го-

лов. В прохладной, с развеянными занавесками комнате встретились с председателем народно-революционного комитета, встревоженным, неуверенным. День назад его автомобиль обстреляли на дороге. Председатель неохотно и скупно, словно не зная, чем обернется для него эта беседа, объяснил, что взрывы дамб и каналов враги предпринимают для того, чтобы создать искусственный голод и таким способом направить народ в Таиланд на заработки. Там, в Таиланде, их перехватят и загонят в лагеря и военные центры.

Белосельцев слушал, стараясь в деревянных, невыразительных словах председателя отыскать драгоценную информацию о возможности большой войны. И одновременно все думал о взорванной белой машине, о красноватой воронке и о смуглом женском плече, на котором блестили сочные прозрачные капли.

Народ, говорил председатель, приходит в комитет и просит построить в селах школы, больницы, а враги являются из Таиланда и уводят за собой целые селения. Зачем строить школы, если завтра здесь начнут рваться снаряды и пойдут войска.

Когда они танцевали на сухих серебристых досках веранды, луна освещала ее, и одна сторона ее лица была в лунном сиянии, и он целовал ее теплую сияющую щеку, а другая половина была в густой тени, и только волосы были полны голубоватого прозрачного дыма.

Председатель, смелея в разговоре, возмущался тем, что бандиты не только стреляют, но и занимаются грабежом, контрабандой. Из Кампучии в Таиланд течет поток серебра, драгоценностей, старинной буддийской бронзы, скульптур из храмов. Бандиты проникают в старые храмы, откалывают молотками головы маленьким каменным буддам и в Таиланде продают их за доллары. Много ценностей уплывает из Кампучии в Европу и Америку.

Они сидели за столиком, касаясь кончиками пальцев, и

с ее ладони медленно и грациозно перебиралось на его ладонь стеклянно-прозрачное хрупкое существо с золотыми глазами. И теперь, в эти минуты, это существо еще живо, притаилось в листве огромного зеленого дерева, и он, Белосельцев, жив, смотрит на смуглого, черноволосого председателя, а ее больше нет, и им никогда не суждено поднять черно-красные стаканы с вином, прижаться друг к другу под душным пологом, и ее колено, гладкое, перламутровое, как раковина на отливе, и такая в нем нежность, такая острая к ней любовь, среди немолчного звона ночных азиатских цикад.

Председатель встал, прошел в угол комнаты, сдернул со стола покрывало. Белосельцев увидел лежащую навзничь обломанную статую с улыбающимся тихим лицом, желто-черные ритуальные колокольчики с отлитыми фигурами крылатых танцовщиц. Взял осторожно колокольчик, тряхнул и поставил. В воздухе долго и нежно продолжало звенеть.

Все это отобрано у бандитов, сказал председатель. Но главная беда крестьян, продолжал он, это обстрелы пограничных селений из тайландских орудий. Гибнут не только вьетнамские солдаты, которые заняли оборону, но и мирные люди, скот, посевы. Поэтому, после множества жертв, ожидая больших столкновений, власти решили убрать людей от границы. Эвакуировать все села на двадцать километров в глубь территории. А это для народа — большая мука. «Большая мука», — повторил переводящий Сом Кыт.

Они покинули Сисопхон. Шоссе в направлении границы быстро опустело, словно дул невидимый иссушающий ветер, гнал им навстречу редких испуганных велосипедистов, которые шарахались от их машин. Вдоль шоссе неуклонно, по железнодорожной колее, мчался маленький огненный сгусток солнца, словно вспышка новейшего оружия, прожигая пространства и дали.

Впереди запыхало. Они нагнали железную гусеничную громаду транспортера. На броне сидели вьетнамцы в проб-

ковых шлемах, в грязных намотанных на шею тряпицах, защищавших их от москитов. Транспортёр был американский, трофейный, захваченный в Южном Вьетнаме. Грыз гусеницами шоссе у тайландской границы. Белосельцев успел разглядеть соскобленную краску, где прежде было клеймо США, а в люке — устало-серое лицо водителя.

Чем ближе продвигались к границе, тем чаще попадались войска. Разболтанные пятнистые грузовики, тоже американские, везли зеленые снарядные ящики. Прокатила батарея пушек, щитки орудий были исцарапаны и избиты, завешены вялой, сорванной недавно листвой. Орудия меняли позиции, указывали на близость рубежа обороны. Проехала санитарная машина с крестом, рядом с водителем сидел солдат, голова его была забинтована. Они уже были в зоне опасности, в зоне сгустившейся тьмы.

Пространство впереди задымилось, наполнилось мерцанием, клубящимися живыми ворохами. Они вдруг въехали в пестрое, разгоряченное многолюдье, густо осевшее вдоль дороги. Катили среди утлого разбросанного скарба, курящихся костров и жаровен, словно очутились в таборе. Кочевники присели на краткий отдых, ненадолго коснулись обочины. И так неожиданно было появление этого скопища среди жарких безжизненных пустырей, что казалось, люди, и скарб, и повозки ссыпались прямо с неба, занесены порывом огромного ветра, сдувшего их с насиженных мест.

— Кооператив «Коуп», две тысячи жителей, — сказал Тхом Борет. — Переселяем от границы. Их все время обстреливали. Снаряды рвались прямо в деревне. От этого места до границы ровно двадцать километров.

Их машины медленно двигались, стараясь не наехать на груды сухих жердей, на расставленные по асфальту пожитки, на детей, испуганно замиравших, до черноты расширявших свои глаза. Пустые тарелки и миски светлели на пыльной земле. Груды трухлявых бревен были сложены у обочи-

ны. Две женщины, подняв гнилушку, несли ее куда-то в дрожащую даль. Вбитые в землю доски удерживали пузырящиеся синие пленки. Под ними, укрываясь от зноя, недвижно сидели люди. Казалось, утлый парусный флот, скомканный бурей, движется без путей. Катилась двуколка с легкими спицами, впряженный в нее человек, голенастый, с журавлиной шеей, бежал, подскакивая. На коляске в позе Будды сидел маленький старый бонза в желтой одежде, с бугристой бритой головкой. Пугливые, с проступающим рельефом ребер, ключиц и лопаток люди копали землю, но казалось, их труд направлен не на строительство, а на разорение. В нем чудилась бессмысленность и обреченность.

Женщина, босая, узкобедрая, заслонила собой двух грязных кривоногих голышей. Белосельцев поймал ее ужаснувшийся взгляд и сам ужаснулся тому, что мог вызвать у женщины это паническое выражение.

Люди, на которых он смотрел из машины, пребывали на солнечном пекле, а казалось, что они находились в зоне затмения. Солнце над ними было с черной, нарастающей раковиной.

— Стоп, здесь! — Тхом Борет остановил машину около строящегося дома, темного, на сваях, коробка, собираемого из старого дерева. Люди с пилами, молотками окружали строение, резали, колотили, строгали, и казалось, они строят в пустыне ковчег, торопятся успеть перед бедствием.

Их заметили, прекратили работу. Держали в опущенных руках инструменты. Тревожно следили за солдатами охраны, за их автоматами, гранатометами. Белосельцев чувствовал их робость, беззащитность, готовность по первому окрику куда-то бежать, от кого-то спастись. Вошел в их круг, стараясь осторожными жестами, мягким выражением лица успокоить людей.

Тхом Борет властно подозвал их поближе. Оставив пилы и топоры, они послушно сходились, усыпанные опилка-

ми, нечесанные, несмело топтались в тени от незавершенного строения, сквозь которое сквозила горячая испепеленная пустошь. Тхом Борет объяснил цель их приезда, представил советского журналиста. Люди закивали головами, тихий шелест пронесся и стих. Смотрели на Белосельцева, желая понять, что сулит им его появление.

Белосельцев чувствовал ненужность, неуместность вопросов, ничего не добавлявших к очевидной картине горя. Но ему была важна информация. И он расспрашивал о частоте артолетов, об уронах, потерях, погибших полях, урожаях. На месте их прежней деревни вьетнамцы строили укрепрайон, возводили траншеи, минировали дороги. Они не говорили ему о близкой большой войне. Эта война сочилась из их слезящихся темных глаз, из гнилушек старого дерева, из их немоты.

Тхом Борет кивнул самому старшему, понуждая его отвечать. И тихий глухой ответ был о рвущихся на деревенских дворах снарядах, о чадных пылающих хижинах, о растерзанных взрывом быках, о бегущих с полей землепашцах, о воющем нарастающем визге, ухающем за селом, о взрывах, поднимающих к небу ростки зеленого риса. Белосельцеву хотелось своей широкой грудной клеткой, плотным сильным телом заслонить впалую костлявую грудь человека, его понурые стариковские плечи, всю его хрупкую жизнь, которую стремились истребить, вырвать из почвы, лишить солнца и неба.

Его рассказ был об уездном начальстве, о сельском сходе, о поднявшемся тихом плаче, когда всем миром, разобрав жилища до последних щепы и гвоздя, захватив с собой белье и посуду, храмовые святыни и сохи, семена для посева и стареньких бонз, угоняя птицу и скот, торопились спастись от войны, которая рыла в полях траншеи, размещала в крестьянских дворах артиллерию, посылала из-за синего леса свистящие вихри, разрывала сиреневых ленивых буйволов на кровавые клочья. Война гналась за ними много веков, посылала им вслед боевые колесницы, стенобитные

машины, трубящих слонов. Догоняла тяжелыми танками, ревущими в небесах самолетами. Железная дорога, которую они ремонтировали по приказу вьетнамских солдат, мчала на них огнедышащие сгустки солнца, готовые их спалить.

Белосельцеву было тяжело их расспрашивать. Они полагали, что его интересуют их беды и он им может помочь. А его интересовали крохи боевой информации, которую он из них извлекал, расспрашивая о несчастьях и бедах.

Он услышал, как на дороге заурчало, залязгало. В клубах синей гари, качая пушкой, шелушась броней, прошел танк. Усталый танкист-вьетнамец, стоя по пояс в люке, хватал ртом воздух. Танк проехал сквозь табор, оставляя дымный висящий след, словно прорубил туннель. И в этот туннель, невидимые, пронеслись клубящиеся грозные силы, и народ расступился, пропустил их сквозь себя. Белосельцев писал в блокнот, слыша зловоние сожженной солярки, кислого металла и пороха, затмившие робкий дым очагов, запахах древесных опилок.

Они пошли вдоль табора дальше, остановились перед вбитыми кольями, на которых были укреплены щиты, заменявшие пол, а сверху, вместо крыши, трепыхалась синяя пленка. Стен не было, виднелись ворохи тряпья, старая швейная машинка. Два детских лица поднялись из ветоши, наблюдая приход чужих. Рядом с навесом стоял привязанный бык.

Он понуро опустил костлявую голову с белыми бельмами. Тонкая липкая слюна тянулась до земли с воспаленных, в красной коросте, губ. Его бока запали и шелушились, были покрыты язвами, на которых густо сидели мухи. Бык дышал, натягивая на ребрах кожу, и дыхание его было свистящим и сиплым.

Появилась женщина с ведром. Испугалась, увидев незнакомых. Поставила на землю ведро.

— Это вдова Бам Суана, — перевел слова старейшины

Сом Кыт. — Ее мужа убил тайландский снаряд, а бык заболел.

Белосельцев смотрел на животное. Оно свидетельствовало о большой войне. Бык был образом войны. Война, с белыми бельмами, больной слюной и коростой, несла истощение людям, животным, природе, свету солнца и звезд. Война отобрала у него молодую прелестную женщину. Война проникает в него бесцветной смутой, тоской, отнимая разум и силу. Война гонит его своим иссушающим ветром в сторону рубежей обороны, лазаретов, свежих могил. И нет сил отвернуть, направить стопы вспять, отряхнуть со своих рук и волос пепел войны.

— Она надеется, — переводил слова вдовы Сом Кыт, — может быть, бык поправится и она сможет на нем пахать. Она собирает целебную траву, делает из нее примочки, дает пить быку. Кажется, ему стало лучше. Пусть он останется слепой. Дочка будет идти перед ним и указывать дорогу. А сын станет править сохой.

Женщина подняла ведро, подошла к быку. Стала отжимать над ним мокрую тряпку, сгонять мух. Прикладывала примочку к дышащим горячим бокам. Бык ниже опустил голову. Белосельцев видел, сквозь бельма из бычьих глаз льются слезы.

Глава одиннадцатая

После поездки на Оку, после их близости, что случилось в пустом ветшающем доме с открытым окном, где темнели райские вишни, Белосельцев поминутно, и днем, когда виделся с ней, и ночью, во время кратких пробуждений, испытывал ровную непреходящую радость.словно солнце в зените остановилось посреди неба, над его головой, и, не отбрасывая тени, ясно и мощно светит, озаряя всю ближ-

нюю и дальнюю окрестность, и даже в колодце, в его прохладной, с кустом крапивы, глубине дрожит на черной воде золотой блеск солнца.

Ему казалось, что он молод и крепок. Мышцы его гибкие, сильные. Походка бодрa и стремительна. Он тщательно следил за собой. Пошел к дорогому парикмахеру и, выйдя больше часа, терпеливо наблюдая, как летают над его головой гребни и щетки, мерцают флаконы с лаком, шумят машинки и электробритвы, жарко дышат фены, сделал себе модную прическу, как перед давней поездкой в Париж, где на салоне авиационной техники была у него нелегальная встреча с конструктором боевых самолетов.

Он пошел в магазин и купил себе десяток новых дорогих рубашек и несколько шелковых галстуков. Собираясь с ней в театр, на новую постановку модного режиссера, он вставил в манжеты серебряные, с афганским лазуритом запонки. Долго повязывал галстук, выбирая должный размер узла, и когда они встретились перед вечерним подъездом, под фонарями, в шумящей толпе, он заметил, как восхищенно заблестели ее глаза, и она сказала:

— Ты благороден и красив, как английский лорд.

Он делал гимнастику, придерживался диеты, держал свои комнаты в безукоризненной чистоте. Промыл в коллекции бабочек запылившиеся стекла, и кабинет наполнился ослепительными первозданными цветами. Поджидая ее, он ставил в проигрыватель черный диск с фортепьянной музыкой Скарлатти. Слушал, любовался бабочками, и среди этой цветомузыки являлась мысль: он проживает сейчас самое важное, драгоценное время жизни, доставшееся ему не случайно, а по божественному разумению и промыслу.

В его отношении к ней присутствовала постоянная двойственность. Она была для него возлюбленной, которую он желал, которой гордился и восхищался, чувствуя над собой ее необременительное господство, духовное и физиче-

ское превосходство. И она была для него дочерью, о которой он неотступно заботился, тревожился о ее здоровье, о ее телесном и духовном благополучии. Развлекал ее, баловал, наставлял, боясь показаться скучным резонером. Непрерывно рассказывал ей о своих путешествиях, делился воспоминаниями, пугаясь её наскучить, но испытывая неодолимую потребность вслух, в ее присутствии, еще раз пережить случившееся, осмыслить прожитый век.

Он настаивал на том, чтобы она вновь поступала в университет. Искал знакомых на историческом факультете. Пытался через свои прежние связи выйти на историков и искусствоведов, которые могли бы стать для нее репетиторами. Купил ей два дорогих, роскошных альбома — «Живопись Босха» и «Русскую икону». Ждал случая вместе их просмотреть. Он тратил на нее деньги, радостно, не считая, транжиря свой небольшой скопившийся запас.

Днем они гуляли, изучали Москву, как огромную каменную книгу, перелистывая ее резные раскрашенные страницы. Например, однажды, сев в машину, они объехали все знаменитые московские памятники. Вдоль Тверской — Маяковскому, Горькому, Пушкину и Юрию Долгорукому. По бульварному кольцу — Тимирязеву, Гоголю, Есенину и Высоцкому. Клыковские — Жукову и святителям Кириллу и Мефодию. Восставшим рабочим — на Баррикадной. Особенно ее поразил памятник Достоевскому у старинных чахоточных клиник, стоявший среди густых деревьев, в больничном халате, с голым плечом, в ночных шлепанцах, словно он выскочил на ветер и дождь в приступе безумия.

В другой раз они объехали московские монастыри: Даниловский, Новодевичий, Донской, Андроников, Симонов, Крутицкое подворье, и, утомившись, отдыхали в Новоспасском монастыре, среди цветочных клумб, глядя на розовые стены, потупившихся проходивших мимо монахов, слушая медленные сочные звоны, словно душистые тяже-

лые копны опадали на землю с высокой растреллиевской колокольни.

Он показал ей Москву конструктивистскую, дома, похожие на военные корабли и танковые колонны, ворвавшиеся в хрупкий лепной мир ампирных особняков и церквей. Рабочие клубы имени Русакова и Зуева, клуб «Каучук», Академию Фрунзе, знаменитый дом Корбюзье, похожий на стеклянную лабораторию со множеством колб, пробирок и раструбов, строения братьев Весниных, Мельникова и Гельфрейха, напоминавшие эскадрильи инопланетных кораблей, ударивших в земную твердь и застывших своими гранями, призмами, иллюминаторами в известняках и ракушечниках мещанских домов, в церковных куполах, в аляповатых фасадах доходных домов.

Днем они путешествовали по Москве, вечером посещали театры и концерты, а к ночи он привозил ее к себе, и они доводили себя до обморока, до изнеможения, среди зеленоватых отсветов ночного дождя или жарких, врывавшихся в окно дуновений. В ней оставалось все меньше робости и неловкости, она становилась все женственней и смелей, с жадностью, ненасытностью овладевала любовным искусством, словно вычитывала о нем из какой-то неведомой рукописи, подглядывала на фризе древнего восточного храма. Она напоминала ему молодое, быстро созревавшее яблоко, набиравшее розовый сладкий налив.

Иногда, во время объятий, он подглядывал за ней, и его пугало быстро меняющееся выражение ее глаз. То радостно-круглых, разноцветных, сияющих. То узких и бешеных, без зрачков, с металлическим блеском под прикрытыми веками. То словно ослепших, остановившихся в смерти, залитых млечной безжизненной белизной. Или хохочущих, рысьих, сияющих в ночи, мерцающих зеленым свечением.

Свою машину он не держал в гараже, а оставлял во дворе под окнами, чтобы можно было среди ночи везти Дашу в

Кусково, куда она звонила маме, затворившись в соседней комнате, что-то устало и насмешливо ей объясняя.

Он лежал на кушетке, в темноте, которая по углам все еще трепетала, звучала, была наполнена крохотными мерцающими осколками недавнего ослепительного взрыва. Даша сидела, подтянув к груди колени, обняв их длинными сцепленными пальцами, опустив на них подбородок. Ее волосы спадали вниз, до самого покрывала. Она смотрела, не мигая, круглыми, черными, тревожными глазами, и в том, как она сидела, было что-то испуганное, лесное, рожденное тьмой непроглядной чащи, плетением древесных ветвей.

— Ты знаешь, что будет затмение Солнца? — сказала она. — Я боюсь.

— Конца света? Всемирного потопа? — Он усмехнулся, желая над ней подшутить, но не было сил. Таинственно мерцала в углах комнаты тьма, словно воздух был полон легчайшего шелестящего электричества, светящихся частичек, оставшихся от ослепительной вспышки. — Пусть думают об этом астрономы и пожилые любопытные дамы.

— Мама покупает разные журналы и газеты. Там печатаются предсказания. Ожидают всяких бед. Половина людей может сойти с ума. Могут начаться войны. Могут утонуть корабли и упасть самолеты.

— Половина людей и так сошли с ума. Войны не прекращаются ни на день. А если смотреть телехронику, то уже давно все самолеты упали.

— Говорят, во время затмения Солнца выбрасываются на берег киты. У них случается помрачение, начинается тоска. Целыми стадами они выбрасываются на скалы.

— Им показывают передачи НТВ. Они не выдерживают и выбрасываются. Поверь, это не связано с Солнцем. — Он чувствовал, что она встревожена, хотел ее обнять, успокоить. Но слишком сладко было лежать, слышать, как шумит, подобно морской раковине, затихающий

город и где-то высоко, над крышами, беззвучно мерцает. То ли голубоватая искра прошедшего ночного троллейбуса, то ли далекая гроза.

— Вчера шла к тебе, и на тротуаре, у нашего дома, появилось много новых трещинок. Отчего?.. И дерево, растущее на бульваре, где мы познакомились, пожелтело наполовину. Почему?.. Что-то должно случиться.

— Тротуар не ремонтировали, вот и потрескался. Дерево пожелтело, потому что скоро осень.

— Мама прочитала статью, где написано, что на Луне живут существа, как люди, только духи. Их видели космонавты, когда высаживались на Луне. Во время затмения, когда Луна находит на Солнце, эти лунные духи перелетают на Землю и творят зло.

— Твоя мама — таинственная женщина. В вашем роду были и остаются колдуньи. Литература, которую она читает, поддерживает в ней шаманские знания.

— Мне страшно.

Он протянул руку, погладил ей голову по теплым шелковым волосам, до плеча, до колена, чувствуя, как она качнулась, подалась к нему, желая прижаться.

— Я закопчу стеклышки, и мы пойдем с тобой смотреть затмение Солнца. Будет красиво, как в планетарии, и совсем не страшно. Там будет много зевак.

— Куда мы пойдем?

— На Поклонную гору. Там просторно, небо открыто. И есть часовня, для последней исповеди.

— Надо одеться в белые одежды. Все люди наденут саваны и придут на Поклонную гору встречать конец света.

— Перестань. — Он ее обнял, мягко положил на кушетку, стараясь расцепить ее гибкие пальцы, отыскивая среди опавших волос дышащие губы. — Скоро чудесная московская осень. Начало театрального сезона. Начинается светская жизнь. Я возобновлю знакомства, буду выводить

тебя в свет, к дипломатам, светилам науки. Ты станешь блистать.

— В белом саване, — сказала она уныло.

— Да что ты себя хоронишь! Завтра же идем в самый модный магазин и купим тебе роскошное вечернее платье!

— Какое? — оживилась она.

— Стил «принцесс»! Ведь ты же моя принцесса.

— Ты мой спаситель и утешитель, — сказала она, благодарная ему за его чуткую нежность. — Иди ко мне, я тебя обниму.

В черном окне стеклянно зашелестело. В комнату вместе с шумом дождя влетело холодное дуновение озона. Она обнимала его затылок, жадно целовала. Он чувствовал силу ее ног, задыхался в ее волосах. Успел разглядеть, как в ее сжатых, полузакрытых глазах промелькнул длинный электрический блеск, словно ночной разряд молнии.

Они пошли выбирать ей платье. Магазин, где они оказались, был стеклянным отсеком среди дорогого и нарядного торжища на берегу Москвы-реки, сразу же за «Хаммер-центром», где бронзовый легконогий Гермес, покровитель купцов и торговцев, отталкивался от земной сферы, сообщая ей незатихающее вращение.

В магазине, куда они вошли с Дашей, было безлюдно. На хромированных вешалках были развешаны дорогие французские, итальянские и английские платья. Пахло духами, сладкими лаками и какими-то тонкими раздражающими специями. Навстречу им вышел хозяин, старомодно-узнаваемый, в жилетке, с золотой цепью от карманных часов, лысый, с черными, загнутыми усами, словно сошел с торговой вывески начала века.

— Что господам угодно? — Он оглядел их своими выпуклыми коричневыми глазами, чуть красноватыми, как у спаниеля.

— Хотели бы выбрать даме платье, — сказал Бело-

сельцев, видя, как жадно заблестели у Даши глаза и она, робея, смущаясь, еще издали, не подходя, рассматривает наряды, перебирает малиновые, пурпурные, нежно-зеленые, темно-синие одеяния. — Стиль «принцесс», если можно.

— Ваша дама прекрасна, как принцесса Диана, — деликатно сказал хозяин, любезно поклонившись Даше, и тут же с тревогой посмотрел на Белосельцева, не позволил ли он себе лишнего этим комплиментом.

— Мы намерены жить долго, не нарушаем правил дорожного движения. Просто хотим купить платье, — сказал Белосельцев, забавляясь Дашиным видом, ее страстным нетерпением, женским восторженным любопытством.

— Вы не ошиблись, придя к нам. Наши платья сшиты по фасонам лучших модельеров мира. Версаче, Пако Рабанне, Гуччи, Армани. У нас покупают платья телевизионные звезды, жены банкиров, дочери министров. Думаю, ваша дама будет довольна.

За его спиной уже стояла улыбающаяся предупредительная девушка — продавщица. Белосельцев глазами сказал Даше, что она может приступить к выбору платья, и та устремилась к вешалке, зарылась в разноцветные шелковые ворохи. Обращивалась к девушке, спрашивала, сама снимала с хромированной стойки наряды, рассматривала их под светом ламп, вешала обратно.

— Пока ваша дама выбирает платье по вкусу, могу я вам предложить чашечку кофе? — Торговец, не дожидаясь ответа, сделал знак кому-то в сумеречной глубине магазина. И, словно по волшебству, запахло кофе, появился служитель с подносом. Расставил на столике чашки, сахарницы, стеклянную вазу с печеньями. — Красивые люди должны носить красивые платья, — сказал он и снова с легкой тревогой посмотрел на Белосельцева, не раздосадовал ли он его своими комплиментами.

Даша выбрала несколько платьев, и они с девушкой проследовали в примерочную, сверкнувшую зеркалами, запахнувшую свои бархатные гардины.

— Сегодня вы первые покупатели, — сказал хозяин. — Нет клиентов. Почему — не знаю. Может, затмение? Люди суеверны. Не желают делать покупки в опасные дни.

— А в чем опасность? — с досадой спросил Белосельцев. — Фальшивые деньги? Фальшивый товар?

— Люди суеверны, — печально вздохнул хозяин, прикрывая свои выпуклые, красноватые собачьи глаза. — У меня сегодня утром сдохли все рыбки в аквариуме.

— Значит, это были маленькие киты. Среагировали на затмение солнца.

Гардины примерочной распахнулись, и появилась Даша. Белосельцев тихо, сладостно ахнул — так хороша она была. В темном платье, почти черном, как южная ночь, с едва заметным лиловым оттенком и слабым мерцанием, словно в воздухе носится мельчайшая звездная пыльца. Открытые, бело-обнаженные плечи с худой стройной шеей. Легкие сборки у талии и длинные, прямые, ниспадающие складки. Ее светло-пепельные волосы были собраны сзади в тугий пук. Лицо сияло. И это было уже не девичье лицо, а лик молодой прекрасной женщины, знающей о своем совершенстве, о своей власти над любящим ее, восторгающимся ею мужчиной.

— Как ты хороша! — сказал он, подымаясь навстречу. — Как к лицу тебе это платье!

Она сделала несколько шагов, взволновав темный шелк, наполнив его таинственным колыханием, торжествующая, бог весть откуда угадавшая эту статью, прямому спины, приподнятый подбородок и прямой лучистый взгляд. Белосельцев подумал, что так в ампирных дворцовых залах, на царских балах, под солнечными хрустальными люстрами, появлялись молодые красавицы.

— Хочу заказать твой портрет, — сказал он, приближаясь. — Один большой, в золотой круглой раме, может быть, Шилову. И миниатюру, чтобы я мог носить ее на груди в золотом медальоне.

— Спасибо тебе, — сказала она.

Продавец печально и ласково смотрел на них взглядом преданной домашней собаки. Провожая до дверей, приложил руку к сердцу.

Они положили покупку в багажник машины и отправились на Поклонную гору наблюдать затмение солнца. В воздухе было туманно. Из влажных облаков едва моросило, и не было солнца. Поклонная гора, по странному замыслу превращенная создателями монумента в плоскую площадку, была полна народа. Из земли густо, плотно, с шипящим пузырящимся шумом били фонтаны. Мчался мимо угрюмый автомобильный поток. Триумфальная арка, затуманенная, отчужденно и сурово чернела чугунными изваяниями. В белой церкви служили. Шпиль монумента, раздражающе тонкий и нервный, как игла, вонзался в морозящий туман, и ангел на нем казался пронзенным, мучающимся на игле насекомым. Боевая техника минувшей войны — тяжелые танки, гусеничные самоходки, зенитки — влажно блестели. Люди стояли повсюду: под деревьями, у фонтанов, у церкви. Поднимали лица в беспросветное небо, словно ждали, что в тучах откроется прогал, и в этом прогале возникнет черный круг с ослепительной кромкой и огненной зубчатой короной, и случится нечто оглушительное и ужасное, как нашествие из Космоса, обрекающее город на гибель.

Белосельцев, держа Дашу за руку, как ребенка, который может потеряться в толпе, продвинулся ближе к церкви и остановился под деревом, тревожно дрожащим сырой листвой.

— Отсюда все будет видно? — Даша нервно огляды-

валась, смотрела в небо, переступала с места на место, словно хотела выбрать устойчивый участок земли, который не разрушится и не провалится вглубь.

— Ничего не увидим, — нарочито буднично ответил Белосельцев. — Промокнем под дождем и пойдем сушиться.

Он чувствовал, как она встревожена. Ее тревога, едва они ступили на гору, усилилась нервным, разлитым вокруг напряжением. Толпа, оставаясь на месте, колыхалась, роптала, словно на нее, как на воды, ложился ветер. Даша сразу стала несвободна, была захвачена этой общей тревогой, нервной вибрацией. Уже не принадлежала себе, а чутко ловила и повторяла колебания и волны толпы.

— Хоть бы очки народу раздали, а то глаза пожжем. Во до чего народ довели, через бутылку смотреть придется! — Хмельной здоровяк, растрепанный и помятый после утренней попойки, ухмылялся, потряхивал над головой темной пивной бутылкой, прикладывался к ней, делая булькающий глоток, облизывался мокрым языком. — А чем я не астроном? У меня со вчерашнего дня затмение!

— Вон какой туман понагнало, все небо в пелене. Это Богородица покров свой набросила, чтобы православных не ослепило, — громко, с благодарными интонациями произнесла чистенькая, церковного вида женщина в белом платьице, оглядываясь на соседей, словно проверяла, кто среди них православный и кому Небесная Заступница спасает зрение. — Это Князь Тьмы царствовать на землю пришел, Солнце затмевает, чтоб народ не увидел, какой он видом мерзкий.

— Говорят, в церкви батюшка молится о спасении Москвы. — Высокий худой старик в чистой белой рубашке, без галстука, посмотрел на стеклянную, золотую церковь, окруженную плотной толпой. Стал поднимать ко лбу костлявые пальцы, но остановился, передумал осенять себя крестом. Строго, беззвучно зашевелил выпуклыми губами: — Позд-

но хватились грехи замаливать. Глаза повырывает и языки отрежет. Давно пора!

— Хватит солнышко обижать! — Странный человек, длинноволосый, с золотой тесьмой на лбу, в белой холщовой накидке, с посохом, похожий на состарившегося Леля, обводил всех радостными блекло-голубыми глазами. — Солнышко само обидеть может. С солнышком надо на «Вы». Солнышко по-древнему — «Ра». Расея — страна солнца. Нельзя обижать Расею.

— Хоть бы Землю хорошенько трянуло. Да так, чтоб Америка под воду ушла. А то на нее, суку, управы нету. Хоть бы ее, суку, океан залил. — Нервный парень озирался затравленными черными глазами, словно боялся, что за эти крамольные мысли его схватят и поведут вон из толпы. — Америка сдохнет, а Россия стоять будет.

— Москва стоять будет, а про всю Россию нельзя сказать, — назидательно, пользуясь каким-то особым, ей одной доступным знанием, произнесла женщина в церковном платочке. — В Москве тайно великий праведник проживает. Все наши грехи на себя берет и у Бога отмаливает. Где живет, сказать не могу. Только что в районе Таганки.

— А по мне пусть ее, Москву, вдребезги разнесет. — Пьяный весельчак снова пригубил бутылку. — Пусть ее сверху дерьмом польет, а потом огоньком пожарит. Аккурат по Кольцевой дороге.

— Молчи, грешник! — строго оборвал его суровый старик и на этот раз осенил себя крестом, стукнув себя в лоб костяными пальцами. — После тебя людям жить, а ты им дерьмо сулишь.

Белосельцев с острым интересом наблюдал эту близкую к себе часть толпы, охваченной ожиданием затмения, которое в каждом порождало тревогу, и эта тревога, проявляясь по-разному, сливалась в общее, нервно пульсирующее беспокойство.

Тут же, рядом, опустив глаза, стояла молодая женщина, изможденная, в старушечьем облачении, в долгополом, мышинового цвета платье, в стоптанных мужских башмаках. Она то и дело вздрагивала, на ее горле бился голубой родничок. Она хватала себя худыми пальцами за плечи, волосы, грудь, словно ловила на себе невидимых, разбежавшихся пауков, с ужасом сбрасывала их на землю. Ее тихое безумие жило в ней, как зародыш, спеленатый и перевязанный путами, постоянно шевелилось, просилось наружу. Даша чутко, болезненно наблюдала за ней. Белосельцеву казалось, что между двумя женщинами установилась незримая нервная связь и они в толпе остро чувствуют друг друга.

Людская масса, стоящая под деревьями, вдоль клокочущих фонтанов, у монумента, около танков и пушек, взиравшая вверх, роптавшая в нетерпении, делилась между собой на несколько несливавшихся состояний. Здесь было много зевак, веселых любопытствующих бездельников, пришедших поразвлечься, понаблюдать за небесным аттракционом, обещанным через телевизионные объявления, как объявляют премьеру дорогого увлекательного фильма. Они жевали конфеты, сосали леденцы и мороженое, готовили пластмассовые дешевые фотоаппараты и любительские телекамеры. Некоторые из них имели при себе петарды и шутихи, кое-кто был навеселе.

Но были и особые, нервные, болезненно взвинченные персонажи, испуганные, нетерпеливые, жмущиеся к земле, чем-то напоминающие волков, на которых охотятся с вертолетов, когда нависает из неба грозное чудовище, истребляющее их неведомой смертью. Хоть их было и меньше, чем обычных зевак, но создаваемое ими поле господствовало, толпа казалась скопищем душевнобольных, собравшихся на прием к незримому вызвавшему их психиатру.

Было много серьезных и истовых лиц, в основном пожилых, женских, стянутых платками, какие бывают на цер-

ковных папертях и под сводами храмов. Некоторые из них шептали молитвы, иные заглядывали в молитвенники, у третьих в руках теплились свечи. Все они ждали знамения, грозного чуда, которое указывало на скорый конец света. Не исключали, что этот конец наступит уже через несколько минут, начнет гореть небо, проваливаться земля, рушиться здания, и сквозь туманный полог, прорывая его копытами, покажутся на небе три мистических всадника, красный, черный и белый, и небосвод станет сворачиваться, как горящая в печи береста.

Белосельцев, выделяя в толпе три этих типа, не знал, к которому из них причислить себя. Тревога, которую он ощущал, была тревогой за Дашу, но эта тревога за любимого человека сливалась в нем с общим болезненным нетерпением.

Он взял Дашу за руку. Рука была холодной, но в ней было легкое нервное трясение, словно билась испуганная, неуправляемая жилка. Эта дрожь, не связанная с пульсом, с ритмом дыхания, передалась ему, словно он держал за руку человека, подключенного к электричеству, и их обоих трясло одним током.

— Там, на небе, что-то ужасное! — сказала она. — Все клокочет и мечется!

— Ну что ты, милая. Просто туман плывет.

— Это духи, они сходят сюда! Они липкие, как лягушки!

— Нет ничего, просто дождик накрапывает. Хочешь, пойдем в машину?

— Нет, надо ждать! — обреченно сказала она.

Он вдруг почувствовал страх. Словно к сердцу прилип посторонний чужой комок. Отяжелел, стиснул сердце, как нарост. Природа этого страха была неясна. То ли он заразился им от Даши, то ли страх прилетел прямо с неба. Был материален. Прилип к сердцу, как кусок замазки, начал мягко душить.

Он посмотрел на часы, шел второй час. Даша взглянула

на свои маленькие часики. И все, кто был рядом, и поодаль, и внутри толпы, и дальше, — все стали смотреть на часы, и у всех одинаково под стеклом пульсировала секундная стрелка, сдвигалась стрелка минутная, а вместе с ней сдвигался огромный континент с Уральским хребтом, Енисеем, шахтами тяжелых ракет, со стоящими вдоль Транссибирской дороги городами.

В небе, за плотным сырым туманом, сияла лазурь, в ней горело высокое жаркое Солнце. Но уже приближалась Луна. Гравитация белой холодной планеты сливалась с силой притяжения огромного светила. Силовые линии скручивались, напрягались, тянулись к земле, стаскивая ее с орбиты, замедляя ее бег, выдавливая из невидимой лунки, куда ее закатали при сотворении мира. И земля сотрясалась, упиралась о невидимый уступ Вселенной, и ее жидкое ядро плескалось, как желток в яйце.

— Ты чувствуешь? — Даша сжала его руку. — Слышишь, как трясет?

Мировая вода надела на берега рек и морей, как в наклоненном тазу. Напряглась и дала трещину земная кора, а вместе с ней фундаменты зданий, склепы старых могил, корни лесных деревьев, и дождевые черви, испуганные трясением земли, полезли наружу.

— Слышишь? — повторила она.

Он слышал, как стали захлебываться моторы машин и турбины самолетов, замигали и погасли компьютеры, отключилась система управления атомной станции, командир ракетного расчета на подземном командном пункте вдруг лишился сознания, и повсюду: на заводах и в гарнизонах, в лабораториях и секретных хранилищах — замигали красные лампы и тревожно взревели сирены. Он увидел, как на газоне, где росли сочные, усыпанные бутонами георгины, вдруг мгновенно раскрылся огненный красный цветок. И он

почувствовал звериный страх, будто в нем проснулся ящер каменноугольных лесов.

— Господи! — громко, с плачущими придыханиями воскликнула богомольного вида женщина в белом платке. — Не суди мя, Господи, по грехам моим, а суди мя, Господи, по милосердию Твоему!.. Прими мя, Господи, во царствие Твое!..

— Да брось ты, мать, причитать! Один обман, никакого затмения! Лучше б в Тушине самолеты пошел смотреть! — Хмельной детина храбрился, глотал из горла, но был бледен, его пьяные глаза трусливо бегали, словно искали нору, куда можно будет нырнуть.

— Солнце, брат мой, жена моя, повелитель Ра! Пощади Москву! Пощади Расею! Мы с тобой, Ра, радуемся, роднимся, зарождаемся, радеем! — Мужчина, похожий на языческого Леля, с седоватыми кудрями, перетянутыми золотым обручем, воздел руки к морозящему небу, словно хотел пробиться сквозь туман, принять на ладони огненное солнечное яблоко.

— Давай, рвани эту долбаную Москву! — наливался свирепой яростью жилистый мужик в поношенной форме железнодорожника. — Полей ее напалмом, а потом негашенкой! — И его скуластое щербатое лицо дергалось гримасами ненависти.

Худосочную женщину в старушечьем облачении, похожую на нищенку, трясло. Худые руки ее ходили ходуном. Цепкими пальцами она хватала себя за волосы, плечи, грудь и живот, словно ощипывала себя самое, как птицу, выдергивала пучки перьев. Каждый щипок причинял ей невероятную боль, и казалось, под пальцами у нее, на месте выдранного оперения, появляется пупырчатая куриная кожа.

— Боже мой! — тоскуя, сказала Даша. Он обнял ее за плечи, безуспешно стараясь увлечь из толпы.

Стало заметно темнеть. Все было укутано сырой непро-

глядной пеленой, но он, словно открывшимся во лбу третьим глазом, прозревал сквозь облака.

Белое плещущее солнце, в котором, как в мартене, вскипают завитки и туманные волны, гуляют розовые тени, будто пенка в варенье. На этот плавающий, с жидкими краями круг надвигается черная кромка. Срезает слепящее солнце, словно в него вторгается режущий инструмент. Но срез не округлый, а прямой, будто солнце уходит за огромную непроглядную стену. Меньше круга, больше черной стены. В окружность солнца, словно во Вселенной доказывается геометрическая теорема, вписывается черный квадрат, непроницаемый в своей середине, охваченный по периметру ослепительными обрезками солнца. «Черный квадрат» Малевича нарисован в центре неба. От него в четыре стороны начинают расходиться ядовито-зеленые огненные столпы, словно в солнце сгорает медь. Концы столпов мохнатые, желто-красные, как павлиньи перья. Огромный зеленый крест, разлохмаченный по концам, с черной квадратной сердцевинкой, врезан в небо. Подобие иконы, где обнаруживается истинное устройство Вселенной — огромное пустое распятие, вокруг которого вращаются звезды, кружат светила и луны, зависают хвосты комет. И жутко смотреть на то, как разбегаются от распятия в бесконечность пурпурные облачка. Жутко от того, что распятие пустое. Что концы его мохнатые, как отрезанные павлиньи хвосты. И в центре вместо Спаса, вместо дивного лика, находится черный глухой квадрат. Жестокая заслонка, затмевающая истину.

Белосельцев услышал крик, близкий, истошный, как кричат роженицы, когда сквозь них проридается плод. Молодая, напоминавшая нищенку женщина упала и билась, издавая звериный рык. Глаза ее дико выпучились, словно у глубоководной, поднятой на поверхность рыбы. Рот, уродливый, нечеловеческий, похожий на разодранную пасть, об-

нажил длинные, заточенные резцы. И сквозь эти резцы и вывернутые губы, вслед за криком, валила розовая пена, как из огнетушителя, булькающая кровавая сукровь.

Вслед за ней в разных местах толпы вскрикнули похожие, страдающие голоса, словно шли массовые роды и младенцами были мохнатые, остромордые существа, выпадающие в густой слизи на газоны и дорожки. От этих жутких новорожденных врассыпную побежала толпа. Роняла зонты, шляпы, теряла фотокамеры и сумочки, оглашала Поклонную гору стенанием и визгом. Неизвестно кто, по чьему наущению включил свет в фонтанах, и они в сумерках, под моросящим дождем ударили кровавыми бурунами.

Белосельцев испытал ужас. Из земли, пробитой во многих местах, хлестала кровь. Триумфальная арка качалась, словно из нее рвались на свободу античные воины, вмурованные колесницы и кони. Танк, минуту назад зеленый, стал рыже-черным от окалины, на нем обозначились рубцы и пробоины, и в сгоревшем нутре повис обугленный, окровавленный остов танкиста.

На мгновение Белосельцев потерял рассудок. Проваливались города, из дымных ямин била жидкая магма. Тонули в Мировом океане подводные лодки. Над всеми континентами горели и падали самолеты.

Он очнулся от того, что Даша, бледная, бездыханная, упала ему на грудь. Прижал ее к себе, заслоняя от несущихся в воздухе головешек, железных метеоритов, раскаленных вулканических бомб.

Это длилось минуту и кончилось. Кругом гудела и веселилась толпа. Молодежь пускала в небо шутихи, цветные ракеты, взрывала негромкие петарды и хлопушки. Играла веселая бравурная музыка. Кто-то рядом кидал конфетти. Белосельцев, поддерживая Дашу под локоть, уводил ее из толпы, напрямик, по траве, под деревьями. Из неба, перечеркнутого разноцветными трассами, упала им под ноги

подбитая ворона. Поскакала, волоча сломанное крыло, оглядывалась на них ненавидящими синими глазками, раскрывала в черном клюве алый зев.

Они вернулись домой, и он уложил Дашу под теплое одеяло, желая, чтобы она согрелась и успокоилась. Подтыкал ей одеяло под ноги, вспоминая, как делала это когда-то бабушка. Испытывал к ней нежность и сострадание, тревогу за нее. Наклонился, желая поцеловать в лоб. Но встретил ее жадные розовые губы и едва не задохнулся от ее поцелуя, почувствовал боль и солоноватый вкус крови. Она притянула его к себе, и ее страсть была незнакома ему, торопливая, грубая, важная для нее одной. Словно этой страстью она хотела выжечь в себе недавние страхи, пряталась в ослепляющую и оглушающую страсть от невыносимых переживаний. И было в ее гибком голом теле нечто от молодой ведьмы, когда она наклонялась над ним, блестела невидящими круглыми глазами, жарко дышала, и ее волосы валились на него, попадали в рот, мешали видеть, дышать. Или когда она выгибалась гибкой длинной спиной и ее влажные плечи и бедра казались глазированными, как кувшин.

Он лежал без сил, слыша, как разлетается в разные стороны пространство, словно Вселенная после Большого Взрыва.

Она усмехнулась.

— Ты что? — спросил он.

— Ты подарил мне платье, как делают подарки дорогой куртизанке? Ты расплачиваешься со мной дорогими подарками?

— Как ты можешь так говорить! — испугался он и смысла ее слов, направленных против него, и весело-злых, насмешливых интонаций, делавших ее чужой, недоступной.

— Я у тебя на содержании? Стареющий богатый мужчина позволяет себе роскошь приобрести дорогую безде-

лушку? Боевой генерал получает в петличку маленькую небоевую награду?

Он испытал внезапную боль, словно лезвием резанули по сердцу, и глубокий надрез болел, кровоточил. Она взглянула на него и, должно быть, испугалась муки, которая была на его лице.

— Прости мои глупости... — Она положила ему ладонь на лоб. — Мне вдруг показалось... Ужасный день, ужасные переживания...

Она прижалась к нему, уткнулась ему в плечо, и он боялся пошевелиться, слыша, как ноет надрез в груди.

— У тебя есть альбом Босха, который ты купил для меня. Хочу посмотреть.

— Может, не надо сейчас? Давай посмотрим иконы.

— Нет, Босха, — твердо сказала она. Поднялась, прошествовала, обнаженная, к книжной полке, где лежал тяжелый фолиант. Вернулась с ним на кушетку.

— Дай мне что-нибудь выпить, мне холодно, — попросила она.

Он закутался в плед и, придерживая бахрому, достал из бара хрустальный графин с коньяком, хрустальные, с тяжелым дном стаканы, хрустальную вазу с конфетами. Все это принес на тахту.

— Налей мне, — сказала она, держа на голых коленях раскрытую книгу, и он, наливая, видел, как угол книги упирается ей в живот. В книге — увеличенный фрагмент картины: розовая, с белым вздутым брюшком жаба растопырила перепончатые черные лапки. И казалось, жаба карабкается ей на живот.

— Спасибо, милый, что ты так заботишься обо мне! За тебя! За нашу любовь!

Он выпил вместе с ней, и ему почудилось, что ее насмешливые, обращенные к нему слова были обращены и к

жабе, к ее розоватому женственному брюшку, к нежным перепончатым ножкам.

Она перелистывала альбом, знаменитые триптихи Босха. Из толстой книги, как из старинного расписного сундука, вылезали колченогие уроды, пупырчатые земноводные, отвратительные человековидные птицы, старухообразные рыбы. Лезли на тахту, как на отмель. Струились, ползли, совокуплялись, откладывали икру и яйца. Из синеватых водянистых икринок выпрыгивали колдуны в колпаках, из расколотых яиц высккивали карлики в рыцарских доспехах. Двигались, терлись один о другого, наполняя гостиную кишачим, скрежещущим, кричающим и визжающим скопищем. Усаживались на шкафы и на полки, заползали во все щели и трещины.

От выпитого коньяка голова у него кружилась. Он смотрел на Дашу и видел, с каким жадным вниманием она рассматривает альбом, как загораются ее глаза, как цепко хватают страницы пальцы. Она наклонялась к альбому, ее груди касались глянцевої страницы, на которой теперь была нарисована озорная веселая цапля. И казалось, что птица ловит клювом ее соски, норовит их поймать, словно это маленькие живые ракушки.

Белосельцев видел, что она больна. Таинственная, дремавшая в ней болезнь, разбуженная небесным затмением, разрасталась в ней, как ветвистое дерево, и на этом дереве, разноцветные, в перламутровых чешуйках, с хохолками, горбоносые, с разъятыми клювами, сидели уродливые древние птицы, духи исчезнувших миров, вызванных к жизни ее недугом.

— Не смотри! — Он пробовал отобрать у нее альбом, но она вцепилась в книгу, блеснула на него злобно глазами.

— Мне нравится! Не мешай! — Защищая книгу, она повернулась к нему голым плечом, тряхнула тяжелой перепутанной космой волос, занавешиваясь от него. И в этом сердитом движении опять почудилось ему нечто лесное,

сказочно-дикое, первобытное. Померещилось сходство с молодой ведьмой, прилетевшей на лесную опушку.

— Да, я ведьма, — прочитала она его мысли, и он почти не удивился ее колдовской прозорливости. — Я ведь тебе говорила, что в нашем роду все женщины ведьмы. Хочешь, сожги меня! Привяжи к столбу и сожги! Я буду гореть, а ты подбрасывай в костер сухие вязаночки! — Она засмеялась, и смех ее был чужой, переливчатый, русалочий, воспроизводивший журчание воды.

Там, на Поклонной горе, из липких туч стали падать на землю незримые сонмища. Пикировали бесчисленные эскадрильи духов, рожденных в расселинах мрачной Вселенной. Каждый впивался в людскую плоть, проникал в сознание и кровь. Люди расходились, унося в себе уродливых пауков, чешуйчатых ящеров, длинноносых глазастых птиц. И все это было когда-то, наблюдалось художником, который старательно всю свою жизнь рисовал бесконечный цветной кошмар.

Неустрашимый бред, где в темных подвалах двигались шелковистые мыши, верхом на них восседали монахи, из-под черных сутан выглядывали птичьи ноги, скалился в смехе веселый собачий рот и рука с коготками сжимала отрубленный сук, на котором, пронзенное, висело мертвое тело. Он все это видел на войнах: и горящий кишлак, где на белой, прозрачной от жара глине догорало детское тельце, и потного, дрожащего от боли пытаемого, сквозь которого прогоняли электрический ток, и черных зловонных грифов с растопыренными маховыми перьями, слетевшихся к одинокому дереву, где висел прибитый гвоздями солдат. Он все это видел, носил в себе. Ему показалось на миг, что в своей любви он освободился от ужаса жизни. Даша избавила его от кошмара, повела в рай. Но этот рай оказался населенным мертвецами без глаз, висельниками со следами удавки, был страшным пустырем, по которому голодные псы рас-

таскивали отрубленные руки и ноги, как овраг за моргом в Баграме.

Она листала альбом, при этом сама наполняла и подносила к губам коньячную рюмку. Выпивала, заедая конфетой. Размазывала шоколад по губам, кидала на пол серебряную бумажку.

— Ты ведь говорил, что я для тебя — инструмент познания мира. Астролябия, которая указывает на звезду путеводную. Компас, по которому выбирают маршрут. Помоему, ты ошибся. Выбрал не ту звезду. Хотел от меня избавиться — не получилось. Хотел прогнать, да не вышло! Сам меня присушил, платье мне иглой протыкал. Вот и присушил, мой хороший!

Он пил коньяк вместе с ней. Чувствовал, что пьянеет. Она была больна, с первого дня, с первой минуты их встречи. Ее болезнь показалась ему утонченной красотой, наивной восхитительной нежностью. Она тонко обманула его, создала волшебную иллюзию рая. Вовлекла в болезнь, и теперь он страшно болен. Его рассудок распадается на обезумевшие частички, похожие на муравьиные яйца, которые несут на спине проворные муравьи. Из каждого яичка проклеывается прожорливый остроносый птенец. Просовывает сквозь скорлупу мокрое от слизи тело. Во рту одного — голубой человеческий глаз. Другой проткнул кривым клювом утробу беременной женщины, нащупал в глубине эмбрион. Третий уселся на спину большой мертвой рыбе, впрыскивает в нее свое семя.

Она питала его безумие. Голая, раздвинув колени, показывала ему светлый лобок и смеялась. Ему захотелось ударить ее.

— Ты хочешь меня ударить? Ударь! Прогони меня! Прямо сейчас! Не то будет поздно! Пожалеешь! Сейчас прогони! — Она смотрела на него круглыми зелеными прозрачными глазами, напоминавшими солнечный омут с кув-

шинками, ряской, уходящими в глубину лучами, пузырьками серебряного воздуха, из которого с громким хлопом вырвется рыба голова, откроет костяной рот, утащит под воду трепещущую стрекозу. — Прогони меня! — смеялась она.

Он видел, что она больна. Ее болезнь проявлялась в том, что она утонченно, осознанно причиняла ему нестерпимую боль. Разрушала то, что создавала недавно в эти восхитительные дни его жизни.

— Наша первая встреча на Тверском бульваре! Святое место, не правда ли? Когда мы расстанемся или когда ты умрешь, я стану туда приходить. Сяду на скамейку и вспомню, как мы познакомились. Может, я стану проституткой и тогда прямо с Тверской, прежде чем уехать с клиентом, приду на бульвар, посижу на родной скамейке...

Он заглядывал в книгу Босха и видел Тверской бульвар: ампирные особняки, кора старинного дуба, чугунный фонарный столб. На скамейке сидят старушки. Их смешные добрые личики, похожие на ежиные мордочки. Улыбаются, добродушно судачат, отрывая маленьких сиреневых жаб. Те плюхаются на дорожку, выстраиваются одна за другой и потешной вереницей, увеличиваясь с каждым прыжком, отправляются к памятнику. Знакомый постамент со стихами и букетом красных гвоздик. Задумчивый поэт с бакенбардами держит за спиной печальную шляпу. Его огромный пеликаный клюв достает до земли, ловко склевывает смешных лягушат. Мимо проходит студентка в розовом платье, с портфельчиком. Прелестное фарфоровое личико, свобода и легкость движений. Объясняется тем, что между ног у нее находится прокладка с крылышками. Пританцовывает, припрыгивает, демонстрируя чудесное средство. В легком прыжке, напоминая Майю Плисецкую, приоткрылись оборки платья, и на один только миг обнажились коричневые, в ржавой плесени, дырчатые кости таза, остатки седых волос.

— А наша прогулка на речном трамвайчике! Когда у меня родятся дети, мы с мужем обязательно покатаем их по Москве-реке. Проплывая под Крымским мостом, я им скажу, что когда-то плыла здесь с почтенным седым генералом, который спас меня от злодеев, как Георгий Победоносец царевну. И пусть они сделают из конфетного фантика кораблик и пустят в реку в память о славном воине...

Он заглядывал в Босха и видел странный плывущий корабль, маленький уродливый бот, в котором стоял и качался закованный в броню исполин. На носу корабля красовался золоченый кабан. Исполин был пустой внутри, сквозь него дул холодный зловонный сквозняк. Из-под шлема вылетали дамские парики и колготки, лифчики и корсеты. Сквозь рот исполина из-под железных усов начинало просовываться и выдавливаться розовое женское тело, круглые ягодичи, спина, толстая молодая нога. На женский торс с кремлевской колокольни, верхом на весле, прыгал здоровенный детина, голый, парной, как из бани, опоясанный портупеей. Конец весла, мокрый, с резным набалдашником, торчал у него между ног.

— В Парке культуры ты совсем потерял свою седую голову. Когда ты забирался на карусели, билетерши тихонько спрашивали, а не случится ли у тебя инфаркт? Не придется ли тебя везти с каруселей прямо в больницу? Я их успокаивала. Говорила, что ты у меня еще крепкий, еще и с парашютом прыгнешь...

Парк культуры был местом казни. Повсюду сновали проворные палачи в капюшонах, мерцали огоньки погребальных свечей. Карусели, раскрашенные, размалеванные, были колесом пыток, на котором в колодках сидели мученики. В полете мокрых цепей хрустели кости, падали на землю отсеченные руки и ноги, извивались в раскаленных щипцах вырванные языки, стекали по клинку выколотые глаза. Веселый сказочный конь с нарядной дверцей в боку,

куда заходили дети и женщины, был склепан из меди, под ним пылало кострище, в раскаленной докрасна оболочке истошно стонали, а потом из ноздрей валил густой жирный дым, как из трубы крематория, и шуты на ходулях сновали в черном дыму. Ладья, летавшая взад и вперед, наполненная весельчаками и клоунами, имела острый, отточенный, как лезвие, киль. Мучеников выставляли под днище, и каждое колебание ладьи срезало головы, а сидящие на лавках ладьи играли на флейтах, залезали под юбки девицам, пили пенное пиво, и пастырь в нарядной сутане, с мордочкой хитрого лиса, благословлял стольный град.

— Там, на Оке, я показала тебе ракушку. Сказала, что это талисман, который я закопаю на счастье, и когда-нибудь мы придем, откопаем ракушку — и счастье повторится. Так вот, нет никакой ракушки. Когда ты уплыл, я ее разломала и выбросила. Просто тебя морочила...

В гнилых берегах неслась черная зловонная река, в радужных пленках нефти, с рыжей ядовитой пеной химических стоков. На отмелях валялись скелеты сгнивших рыб, линялые дохлые птицы, распухшие трупы коров, блестели россыпи консервных банок, колючие остовы разбитых машин. Он плыл в этой черной реке, видя, как при взмахах с его пальцев стекает лиловая слизь, рядом неотвязно качался и плыл утопленник, руки путались в зарослях женских волос, утыкались в холодную мякоть. Он проплывал сквозь белые скопления использованных презервативов, которые напоминали стадо липких медуз. Задышался, утыкаясь головой в жидкие раскисшие дерюги. Пытался добраться до берега, но по берегам дымно, чадно горели пожары, словно разбомбили нефтехранилища, и горящий мазут из раздавленных цистерн красными ручьями стекал к реке.

— Отдай! — Он с силой рванул фолиант, отнимая у нее Босха, разрывая пуповину, соединяющую ее с разно-

цветным неисчерпаемым адом, откуда валили нетопыри и нежити, влетали в ее распахнутое лоно.

Они сидели на тахте, среди пролитых коньячных рюмок и серебряных фантиков от конфет. Альбом с разодранной страницей валялся на полу. Она с изумлением осматривалась по сторонам, словно просыпалась от наваждения, пыталась понять, где она.

— Что-то мне нехорошо... Холодно... — Она передернула голыми плечами, прикрыла руками грудь.

— Пойди, возьми в шкафу теплый свитер... — Он без сил откинулся на подушку, закрыл глаза, слыша, как она встала, шатко прошла по полу, скрипнула дверцей шкафа. А когда открыл глаза, увидел: она стоит перед зеркалом, на плечах у нее — генеральский френч с золотыми погонами, орденскими колодками, яркими медными пуговицами. Она отыскала его френч в шкафу, нарядилась, примеряла перед зеркалом с потешными ужимками.

— Ну как, мне к лицу? Можно, я пойду на военный парад? Все будут отдавать мне честь: и летчики, и танкисты, и моряки! — Она прижала пальцы к виску, отдавая честь. Стала вышагивать по комнате, высоко подымая голые длинные ноги. Погоны на ее плечах блестели, ордена звякали. Проходя мимо зеркала, она жадно осматривала себя. — Вот что ты мне подари, а не какое-то там вечернее платье! Это я заслужила!

Ему было невыносимо. Тонкий надрез на сердце продолжал болеть. Тоска подымалась. Он устало закрыл глаза.

— Нет, ты смотри, смотри!.. — настаивала она. Проходя мимо проигрывателя, ударила кнопку, и грянула музыка, огненная, звенящая, как солнечная вода, падающая на яркие камни. Карибская самба — воспоминание о бразильских карнавалах, ночных варьете Сан-Пауло, о никарагуанских военных дорогах, по которым неслась машина, и Сесар Кортес, отложив автомат, включил кассетник, и мир

наполнился яростной красотой, обольстительной женственностью, неутомимой любовной страстью. Оба они водили плечами, перебирали ногами, подпрыгивали на сиденье, слушая самбу. — Ты никогда не видел, как я танцую!..

Она приблизилась к тахте и стала вскидывать ноги, почти доставая кончиками пальцев его лица, поводила плечами, отчего ее груди тряслись под расстегнутым френчем, сильно крутила бедрами, выставляя вперед свой влажный живот с темным углублением пупка и золотистым клинышком лобка.

Ему захотелось ее ударить. Она угадала его страдание, и это вызвало в ней острое наслаждение. Со смехом она упала на него, стала целовать, тормошить, бить ему в грудь кулаками, продолжая и лежа танцевать, совершая свои неистовые телодвижения.

— Ну что же ты, что же! — побуждала его она.

В своей тоске и бессилии он оттолкнул ее, сбросил с кушетки, услышав, как громко стукнуло ее тело о пол. Этот глухой безжизненный звук, напомнивший ему стук мертвых тел, когда их, раскачав, кидали в кузов военного грузовика, отрезвил его. Он наклонился над ней. Обнял под генеральским френчем ее вздрагивающие, худые плечи, гладил спутанные длинные волосы, повторяя:

— Милая, милая!..

Самба продолжала сверкать и звенеть. Даша плакала, прижималась к нему мокрым лицом. И он так любил ее, так винил себя, так старался и не мог ее защитить.

Притихшую, больную, он отвез ее в Кусково, высадил у подъезда. Передал ей сверток с купленным платьем. Посадил в лифт. Слушал, как уносит ее вверх, в бесконечность, удаляет от него, втягивает в длинный, уходящий ввысь раструб, куда ангелы на картине Босха сопровождают души умерших и в далеком, среди сужающихся голубых колец просвете, превращенная в свет, исчезает душа.

Вышел на улицу, в сырой ветреный сумрак. Резной медведь на детской площадке поджидал его, как тотемный зверь. И опять, проходя мимо, Белосельцев коснулся его резной деревянной лапы.

Глава двенадцатая

Они катили по безлюдной дороге к границе. Белосельцев смотрел, как хлыст антенны сечет близкие горы, зеленые косматые леса. На обочине, вылезая кормой на асфальт, возник танк. По осевшему в рытвину корпусу, по желто-ржавому цвету Белосельцев издали понял, что танк подбит и сгорел. Тут же, зарывшись гусеницами в землю, ржавела боевая машина пехоты. Чуть в стороне, на обугленных скатах, осел транспортер.

Тхом Борет остановил машину, все вышли. Белосельцев рассматривал сгоревшую технику, остановленный порыв наступления, напоротившийся на встречный порыв. Где-то здесь, у дороги, находился полпотовский противотанковый расчет. Погибая, он отметил рубеж своей гибели телами сожженных машин.

— Вот здесь, у этой черты, мы должны повернуть обратно, — сказал Тхом Борет. — Дальше ехать нельзя. Дальше мы не сможем обеспечить вам безопасность.

В этих словах была тревога за его безопасность, и едва различимая угроза, побуждающая его прекратить путешествие, и указание на неизбежную опасность, которой он себя подвергает, и почти отсутствующий, неразличимый намек на тот красноватый проселок с лункой взрыва, уничтожившего итальянку.

Белосельцев, ссутулив плечи, мучаясь жаждой, проводя сухим языком по колючим губам, смотрел перед собой на шоссе. Ему казалось, от пыльной обочины, от развалив-

шихся танковых гусениц через избитый асфальт проведена невидимая черта. Тот предел, до которого его довела удача, позволив исполнить намеченное. Информация о дороге собрана, угроза войны установлена, степень ремонтных работ, позволявших восстановить дорогу, выявлена. Новые данные ничего не прибавят к увиденному. Из-за черты дул твердый неслышный ветер, враждебные неясные силы чем-то грозили. Слово еще длился тот недавний удар гранатомета, развернувший танк толчком в лобовую броню. Он чувствовал это давление своим усталым, измученным телом. Ему следует сейчас повернуть и двинуться обратно в Пномпень. Через сутки он окажется в знакомом отеле, пропитанный пылью ядовитых растений. Душ, свежее белье, вкусная еда в ресторане. Отчет в посольстве. Шифровка в Москву. Его подымут широкие белые крылья лайнера, унесут в небеса от этих джунглей, от разбитого танка, от невидимой роковой черты. И будет московский май, сирень Большого театра, и только в снах, через много лет, ему привидится плачущий бык как образ обреченного на смерть континента.

— Дорогой Сом Кыт, — Белосельцев вглядывался в осунувшееся лицо кхмера, на котором проступали острые кости скул, а в углах покрасневших глаз скопилась мокрая пыль, — мне кажется, нам следует продолжить путь и достигнуть границы. Иначе картина будет неполной. Какой журналист упустит возможность вести репортаж из тех мест, откуда бьет огонь артиллерии? Весомость каждого слова увеличивается на вес снаряда. Поэтому, дорогой Сом Кыт, мне кажется, мы должны просить любезно сопровождающего нас Тхом Борета сопровождать нас и дальше, к границе.

Он видел, Сом Кыт смотрит перед собой на асфальт, на ту же черту, незримо преграждавшую путь. На тот предел, где завершается их путешествие и можно разворачивать колеса домой, в безопасную сторону, к печальной одинокой

жене. Доклад в министерстве. Похвала за удачный вояж. Возможное повышение по службе. И незачем рисковать из-за странной прихоти малоизвестного ему человека, чья профессия тонко сокрыта под личиной журналиста.

— Я тоже думаю, что нам следует побывать на границе, — обратился Сом Кыт к Тхом Борету. — Иначе впечатления будут неполными.

— Дальше ехать нельзя, — твердо сказал Тхом Борет. — Таково условие программы. Дальше имеющимися средствами охраны я не могу обеспечить безопасность. В вечернее время прекращается движение на трассах. Я не могу взять на себя ответственность. Программа полностью выполнена.

— Дорогой Тхом Борет, — Белосельцев чувствовал, как кожаные сухие ремни стягивают ему щеки и губы, но старался улыбаться, — вы же знаете, что никакая программа, даже столь тщательно и разумно составленная, не сможет учесть всех экспроптов и неожиданностей.

— Затем и составлялась и утверждалась программа, чтобы избежать неожиданностей, — твердо настаивал Тхом Борет. — Я ответствен за программу и не могу гарантировать вам безопасность.

— Дорогой Тхом Борет, после того что вы испытали в жизни, понятие «безопасность» приобретает сомнительный смысл.

— Я не вправе принимать решение сам, — колебался Тхом Борет. — Я должен связаться с вьетнамской комендатурой по радио.

— Так сделайте это, — почти приказал Сом Кыт. — Сделайте это от имени Министерства иностранных дел.

Тхом Борет направился к машине, где блестел жгут антенны, — вызывать по рации Баттамбанг. Белосельцев вспомнил картинку из давнишней, в детстве читанной сказки: развилка пути, на обочине белый камень, богатырь на

коне водит копьем по земле, на камне веющие, начертанные кем-то слова. Нет ни копья, ни камня, лишь разбитый, сгоревший танк, горстка усталых солдат, но все тот же рубеж, отмеченный на дороге чьим-то извечным копьем.

Солнце пекло, попискивала рация. Тхом Борет вызывал Баттамбанг. Белосельцев, желая укрыться от зноя, спрятать свое изнуренное тело, подошел к танку. Ухватился за теплую скобу, за облупленную крышку люка. Влез внутрь танка.

В танке было сумрачно, душно. Выгорело все дотла. Будто влетела и взорвалась шаровая молния, единой вспышкой испепелив все живое и плавкое. Он устроился на сиденье водителя среди торчащих обугленных рычагов, рыжей осыпавшейся окалины, в которой валялась окисленная оружейная гильза. В сумрак вонзался, тонко, струнно дрожал луч солнца сквозь маленькое, прожженное в броне отверстие. Огонь кумулятивного снаряда пробил сталь, прожег в ней канал, вдунул в танк смертоносный пылающий шар. Белосельцев наклонил голову, поймал зрачком круглый прожог в броне, поместил глаз в то место, где просвистело веретено плазмы. Его живое ухающее сердце находилось в том месте, где некоторое время до него билось сердце сгоревшего человека. Его живые ноги упирались в пепел и прах, бывший некогда человеческой плотью. И он, живой, не уберегший от смерти женщину, обремененный добытым знанием о близкой большой войне, не понимающий мира, не ведающий его концов и начал, смотрел сквозь пробоину на голубые азиатские горы, на курчавые далекие заросли, на медленную тихую птицу, парившую под белой тучей. И думал о Родине.

Он видел ее внутренним оком всю сразу, словно пролетал над ней в серебристой пустоте, как крылатое семечко, бесконечно малое в сравнении с ней, огромной. И одновременно был больше нее, нес ее в себе, обнимал, окружал сво-

ей жизнью, был ее хранителем. Из сожженной брони, сквозь скважину, в которую струйкой дула смерть, он своим встречным дыханием посылал ей слова любви. Желал ей жизни вечной. Желал ей мудрости, доброты. Желал великого трудолюбия и терпения в неусыпной работе, затеянной предками по преобразению жестокого мира, в котором бесчисленные работники гибли в огнях и бедах, спасая ее от бед и огней. И если впереди ее вновь ожидают сражения и множество жестоких врагов начнут ее терзать и ломать, он, ее плоть и кровь, до последнего дыхания станет ее защищать, и нет для него иной судьбы, кроме судьбы его милой Родины.

Вылез из танка, отряхивая с ладоней мелкую рыжую пудру сгоревшей стали. Направился к машине, где Тхом Борет совещался с Сом Кытом. Оба они вместе с солдатами отбрасывали длинные предвечерние тени.

— Я получил разрешение доехать до пограничного пункта, — сказал Тхом Борет. — Надо ехать сейчас. Скоро начнет смеркаться.

— Мы заночуем у вьетнамских солдат, — пояснил Сом Кыт. — Для бесед с вьетнамцами у вас будет вечер. А потом отправимся в Сиенреап.

— К сожалению, я не смогу сопровождать вас в Сиенреап, — сказал Тхом Борет. — Охрану обеспечат вьетнамцы. Им сообщили о вашем приезде. Надо ехать. — Он повернулся к машинам.

Это была удача. Ему, Белосельцеву, как никому из советских, предоставлялась возможность оказаться в расположении воюющих вьетнамских войск. Воочию наблюдать, чем является борьба вдоль границы. Какие признаки сулят обратить ее в большую войну.

Они катили, подымая сухую солнечную пыль, навстречу приграничным предгорьям. Подъехали к лесной опушке, сквозь которую дальше, в джунгли, уходила сырая дорога.

Под зеленым пологом, у вечерних красных стволов, стояла палатка. Замер закиданный ветками транспортер, развернутый пулеметом вдоль трассы. Туда же смотрели расчехленные, в земляных капонирах пушки. Из палатки, где висели антенны и слышалось бормотание радики, вышли вьетнамцы, без шлемов, в легких рубашках, сандалиях. Двинулись к ним навстречу, улыбаясь, протягивая для рукопожатий руки.

— Тхеу Ван Ли, — представился Белосельцеву вьетнамец, легкий в движениях, гибкий в плечах и поясе, юношески моложавый на расстоянии, а вблизи — со следами долгой усталости на смуглом, сухом лице с пергаментными трещинками у глаз и у губ. Он говорил по-вьетнамски, видел, что Белосельцев не понимает его, и растерянно оглядывался на остальных. Сом Кыт пришел на помощь.

— Ему только что сообщили из штаба, что мы едем. Он рад принять гостей.

— Это и есть граница с Таиландом? — Белосельцев отвечал на рукопожатие, улыбался вьетнамскому офицеру, а сам озирался на черные, обугленные сваи, темные ямы с гнилой недвижимой водой, на синий опрокинутый остов автомобиля и алебастровую, с облупленной краской, скульптуру слона.

— Таиланд, Таиланд! — понял вопрос вьетнамец, указывая на слона узкой гибкой рукой.

Тхом Борет и Сом Кыт показывали офицеру бумаги, объясняя ему цель приезда. Белосельцев, чувствуя на себе взгляды сидящих на лафете артиллеристов, шагнул под деревья.

Алебастровый слон был истрелян, изодран осколками. Нарисованная коврая попона облезла, иссеченная рубцами и метинами. Синий длинный кузов «Кадиллака» хранил в себе последний, устремленный к границе рывок, желание ускользнуть и умчаться. Лежал перевернутый, с расплюснутым задом, получив в хвост удар свинца и огня. В ямах,

на месте сожженных хижин, мокли головни, и над ними, над золотистой тухлой водой, роились москиты.

Белосельцев смотрел на границу, изгрызенную танковыми гусеницами, истоптанную пехотой, простреленную, продырявленную границу войны. Одну из многих, расплавленных, разрезанных автогенном. Вся карта мира накалялась красными, пропущенными сквозь континенты границами, возвещающими передел мира.

Сом Кыт отвлек его:

— Нас приглашают пить чай.

Его стоическое невозмутимое лицо, усталое, освещенное низким, цвета сурика, солнцем, вдруг показалось Белосельцеву родным.

Они вошли в просторную палатку с утопанным полом. Кругом были расстелены лежаки с марлевыми сетками. Стоял низенький, наспех сколоченный стол, деревянные плоские плахи вместо стульев. Чернели сталью сложенные в углу автоматы. За брезентовой перегородкой тихо бурлила рация, связист монотонно выкликал позывные.

Сом Кыт бережно, дорожа каждым словом, переводил:

— Хозяин приглашает отдохнуть с дороги. Рис уже варится, а пока освежимся чаем.

Повинуясь командирскому взгляду, солдат принес закопченный, снятый с костра котелок. Тхеу Ван Ли вытряхнул в него пачку зеленого вьетнамского чая.

Белосельцев пил, наслаждаясь горячим дымно-чайным ароматом, напоминавшим юношеские лесные прогулки. Вьетнамец улыбался, видел, что гость получает удовольствие.

— Он говорит, что рад нашему прибытию, — переводил Сом Кыт, осторожно отпивая из кружки. — Благодарит, что мы посетили их воинскую часть.

— Вдали от дома хочется видеть родные места, не так ли? — Белосельцев кивнул на открытку с видом вьетнамских гор, прикрепленную к брезенту палатки.

— Он говорит, что надеялся увидеть дом через пару недель. Но пришел приказ, и их часть остается на месте. Придется подождать с возвращением домой.

Это был слабый намек на то, что в этом районе границы происходит концентрация войск. Утомленные боевыми действиями войска не отводятся в тыл, не выводятся из Кампучии, а, напротив, остаются на месте, получают свежие подкрепления. Но это был только намек, нуждавшийся в многократной проверке.

Он отдыхал от дорожной тряски, от потрясений длинного дня. Горечи и потрясения дороги отдалились, остались за незримой чертой, у которой колебалась его душа, томилась предчувствиями, а потом, преодолев страхи, перепорхнула черту.

— К сожалению, эти последние дни не проходят спокойно, — сказал вьетнамец. — Весь день шли бои, проводилась важная операция, но к вечеру она все еще не закончена.

— Какая операция? — спросил Белосельцев, преодолевая усталость и лень.

— Части атакуют хорошо оборудованную секретную базу, — сказал вьетнамец. — Есть потери, но к вечеру база еще не взята. Если эту базу не взять, она может стать помехой для крупномасштабного наступления.

Напиток, который пил Белосельцев, был восхитительный, утолял жажду, возвращал бодрость и свежесть. Фраза, которую произнес офицер, могла подтверждать изначальный намек на то, что готовится крупное наступление, прорыв границы, и невзятая база, оставаясь в тылу, может сорвать наступление.

— Что за секретная база? — спросил Белосельцев, но не настойчиво, а как бы вскользь, продолжая пить чай, благодаря Сом Кыта за его прилежную помощь.

— Он говорит, разведчики обнаружили в горах хорошо оборудованную засекреченную базу, — сказал Сом Кыт. —

Там собраны запасы продовольствия, пресной воды. Укреплена артиллерией, минными полями. Таиландское радио сообщало, что Пол Пот вместе с группой западных журналистов прилетит на эту базу. Сделает заявление, покажет, что его правительство действует не в Таиланде, за рубежом, а на территории Кампучии.

— Он полагает, что на базе могут находиться какие-нибудь крупные птицы?

— Он не знает. Несколько дней назад туда из Таиланда прилетал вертолет.

И внезапный острый азарт — с вьетнамскими войсками проникнуть на базу. Со штурмующими батальонами оказаться в самом центре политической и военной борьбы. Выхватить из этого центра драгоценный опыт. Осмыслить его в виде кратких агентурных донесений и аналитической справки, связанной с возможностью вьетнамо-таиландской войны. Никто из разведчиков не проникал так глубоко в недра этой борьбы. Никто, кроме него, Белосельцева, не доставит в Центр столь уникальную боевую информацию.

— Сом Кьт, — Белосельцев обернулся к кхмеру, внимательно слушавшему, перевернувшему чашку донцем вверх, — быть может, это и есть та база, на которую в сопровождении прессы задумал прилететь Пол Пот? В последнем заявлении из Бангкока он утверждал, что его правительство отнюдь не правительство в изгнании, а национальное, действующее с территории Кампучии.

— Пол Пот трус. Он не полетит под пули. Спектакль с базой можно устроить на территории Таиланда. Джунгли везде одинаковы.

Солдат внес котелок, в котором белоснежно, овеваемый паром, мерцал рис. Поставил в центре стола, разложил перед всеми палочки. Белосельцев достал из сумки бутылку водки. Налил водку в чашки, пронося бутылку сквозь прозрачный рисовый пар. Вьетнамские и кхмерские лица были

в красных, струящихся сквозь открытый полог отсветах. Тхеу Ван Ли протянул к чашке гибкую руку, готовясь произвести любезный тост за гостей.

Он почти поднял чашку, когда далеко, приближаясь, буравя воздух, свертывая его в свистящую спираль, что-то пронеслось над деревьями и ахнуло, тряхнуло стволы. Взрыв, перепончато лопнув, медленно затихал шуршанием опадавшей листвы, хлюпаньем липких комков. Вновь зашвистело и шлепнуло, словно чмокнула огромная пробка. Тугой спрессованный удар прошел сквозь брезент, и Белосельцев ощутил лицом давление взрыва.

— Таиланд!.. — Тхеу Ван Ли вскочил, делая успокаивающий охранительный взмах рукой.

Они вышли наружу. Белосельцев смотрел на открытое за стволами деревьев пространство, откуда они недавно приехали. Малиновая вечерняя земля, темно-синий асфальт дороги. В лесу, то ближе, то дальше, скрежетало и рушилось. Раскалывались и хрустели деревья, будто кто-то огромный ломился вслепую к опушке. Продрался, взметнул два высоких взрыва, разбухавших, толстевших, опадавших дымом и грязью. Артиллерия плотно стреляла несколько минут, снаряды рвались на брошенных крестьянских полях, словно перетряхивали их в поисках последней укрывшейся жизни.

Артналет прекратился внезапно. Стало тихо. Только птицы, сметенные с веток, полетели из джунглей, молчаливые, красные на солнце.

Вернулись в палатку. Тхеу Ван Ли смущенно улыбался, как бы извиняясь за прерванный ужин. Поднял чашечку с водкой. Тост был за дружбу братских стран и армий, за удачу в личных делах, за скорое возвращение домой. Белосельцев видел, что локти на рубашке вьетнамца аккуратно заштопаны, голая в сандалии нога расчесана в кровь от укусов лесных насекомых, а глаза без улыбки, усталые и тре-

вожные, обращаются к отгороженному отсеку, где посвистывала рация и слышался голос радиста.

Они поужинали, отдыхали в сумерках. Когда стемнело, солдат принес и засветил три коптилки из сплюснутых гильз, расставил их по палатке. Возникло три отдельных освещенных пространства, и в каждом совершалось свое. В дальней области света два солдата, вьетнамец и кхмер, разбирали и чистили автоматы. Протягивали к светильнику холодно-блестящие детали, передавали друг другу, словно обменивались чем-то лучистым, окружавшим их пальцы. В соседнем колеблемом шаре света сидел Тхом Борет, углубился в чтение каких-то бумаг, сосредоточенный, суровый, стиснув бумажный листок обрубками пальцев.

Третья коптилка, сжимая латунными кромками обгорелый фитиль, поднимала прозрачную летучую сферу, в которой сидел он сам, Тхеу Ван Ли и Сом Кыт, заключенные в таинственный, готовый оторваться от земли и воспарить летательный аппарат, использующий энергию света.

— Хочу, чтобы война быстрее закончилась и вы вернулись к своей семье, к любимым и близким. Отдохнули наконец от войны. — Белосельцев видел, как благожелательно, не понимая, слушает его вьетнамец, дожидаясь, когда дойдет до него смысл перевода.

— Он говорит, что у него нет семьи, нет любимых и близких. Отец и мать, сестра и два брата погибли от американской бомбы. А жениться он не успел. Нет ни дома, ни жены. Все время воюет.

— Где же он воевал? — Белосельцев всматривался в иссушенное лицо вьетнамца, из которого суховей войны выпил живые соки.

— Сначала воевал под Ханоем, был зенитчиком, отбивал налеты американцев. Они подбили тяжелый бомбардировщик, его друг был убит, а сам он получил ожоги от напалма. — Вьетнамец, следя за словами Сом Кыта, притро-

нулся к пуговице на своей линиялой рубашке, словно хотел ее расстегнуть и показать ожог. — Потом он воевал на тропе Хо Ши Мина. Его зенитный пулемет стоял на грузовике. Он сопровождал войска на юг сквозь джунгли, прикрывая их от воздушных атак. Там он вывел из строя один вертолет, но попал под бомбежку, и его контузило... — Вьетнамец в подтверждение слов Сом Кыта коснулся своей головы, словно ощупывал невидимый бинт. — После госпиталя его послали в пехоту, и он брал Сайгон. Они вели бои на военно-воздушной базе, и он видел, как улетали последние транспорты с американцами. Там, в одном из ангаров, он подорвался на мине, и ему перебило ногу... — Вьетнамец сморщился, качнул коленом, словно оно заныло. — Потом, во время войны с Китаем, его перебросили в Ланшон. Он участвовал в рукопашных боях с китайцами, и ему проткнули плечо штыком. Здесь, в Кампучии, он брал Пномпень и с боями дошел до границы, но пока не был ранен... — Вьетнамец улыбался, оглядывал свои руки и ноги, отыскивая на своем израненном теле места, которых бы не коснулись металл и огонь. — Он уже мечтал вернуться домой, но поступил приказ оставаться на месте. Сюда прибывают войска. Говорят, скоро пустят железную дорогу, и боеприпасы станут поступать беспрепятственно. Кто знает, не придется ли ему повидать Бангкок.

Он умолк. Они летели в бесшумной сфере света, отрываясь от брenneй, изрытой траншеями земли.

Белосельцев управлял этой прозрачной сферой, уносил этого изнуренного, бездетного и бездомного человека туда, где не было пуль и снарядов, а стояли разноцветные небывалые города и по улицам, вдоль золоченых пагод и узорных дворцов летали волшебные бабочки.

Из-за брезентовой шторы вышел радист. Шагнув в их летучую сферу, разрушая ее, позвал офицера. Тхеу Ван Ли быстро встал и ушел за экран, где стояла рация. Все ждали

его появления, ловили лаконичные, похожие на междометия слова.

Он вернулся и что-то сказал.

— База не разгромлена, хотя ее взяли в кольцо, — перевел Сом Кыт. — Завтра будет решающий штурм.

— Мне нельзя с войсками на базу? — спросил Белосельцев, заранее ожидая отказ.

— Он говорит, это опасно. Нельзя рисковать жизнью гостя.

— Я не гость, я журналист, и мое прямое дело — вести боевой репортаж.

— Он говорит, что туда через болото можно проехать только на танке, а все танки ушли. Едва ли удастся забросить гостя в район боев.

Вьетнамец, сожалея, разводил руками. Белосельцев не настаивал. Ему почему-то казалось, что завтра обстоятельства сложатся так, что он попадет на базу. И он суеверно, прибегая к своим секретам и заговорам, молил кого-то, кто управлял его путеводной звездой, помочь ему оказаться на базе.

— Если гости собираются рано вставать, они могут лечь отдыхать, — пригласил их ко сну Тхеу Ван Ли.

Он уступил Белосельцеву свое самодельное походное ложе под марлевой сеткой. Белосельцев благодарно улегся. Побежали видения дня: белый кузов разбитой машины, розоватая теплая яма, маленький бонза, сидящий на легкой двуколке, плачущий бык, истрелянный алебастровый слон. И последним видением были мохнатые столбы разрывов и летящие из джунглей молчаливые красные птицы.

Утром они простились с Тхом Боретом, отпустили его с охраной в Баттамбанг, где ему предстояли выезды на места террористических актов, допросы, расследования, скольжение по кромке между жизнью и смертью, с ожесточенной душой, в которую никогда не вернется мир.

Тхеу Ван Ли вызвался их проводить по проселку до

моста, охраняемого взводом солдат, по опасному отрезку дороги, среди лесистых холмов, по которому шли подкрепления штурмующим базу войскам. К палатке подкатил закопченный зеленый джип, обтянутый по торцу и по крыше брезентом, с открытыми бортами и измызганными стальными сиденьями. Втроем они уселись в джип. Охрана в «Тойоте» двинулась следом. Артиллеристы у пушек махали им вслед.

Утреннее солнце влажно брызгало из листвы. Дорогу под колесами перебегали рыжие, горбатые, похожие на сусликов зверьки. Джунгли против солнца казались дубравой. Белосельцев, отдохнувший за ночь, пережил мгновенную радостную иллюзию: он катит по русским местам, где-то под Задонском, дубы, песчаная разъезженная колея, из-за кроны вот-вот покажутся ржавые главы собора, запылит, запестреет палисадниками русский городок. Иллюзия быстро пропала, но радость не проходила. Не нужна ему никакая база, дело его завершается, еще один, последний отрезок пути, Ангкор, великолепие восточного храма, а потом — обратно, в Москву. После вчерашнего напряжения он дорожил этой необъяснимой утренней радостью.

Джип продувало ветром. На приборной доске, зиявшей незастекленными отверстиями, еще виднелась полусодранная наклейка с американской девицей. Два вьетнамских солдата, раздвинув колени, выставили в разные стороны автоматы.

— Дорогой Тхеу Ван Ли, — Белосельцев ударялся на ухабах о твердое плечо офицера, — вы ветеран трех войн. Разгромили трех неприятелей. Видели сверкающие пятки трех удиравших армий. Наверное, интересную книгу могли бы написать.

Вьетнамец, пока говорил Белосельцев, не понимая, дружелюбно улыбался. Тихо рассмеялся, когда перевод Сом Кыта стал ему понятен.

— Он говорит, — улыбался, переводя, Сом Кыт, — во Вьетнаме почти каждый мужчина мог бы написать такую книгу. К сожалению, за эти одиннадцать лет он не научился хорошо писать, зато научился хорошо стрелять. Когда он вернется домой и отмоет руки от пороховой гари, он возьмет бумагу и ручку. Не книгу писать, а просто учиться.

— Вы не хотите остаться в армии?

— Он не хочет. Устал воевать. Хочет поехать в родную деревню, где у него остались родственники. Хочет жениться. Хочет родить детей. На том месте, где взорвалась американская бомба и убила отца, он посадит мандариновое дерево. Пусть цветет, пусть дети под ним играют, пусть куры клюют зерно. На войне он неплохо изучил моторы. Видал много разных машин, целых и взорванных. Грузовики, самолеты, вертолеты, танки. Американские, советские, китайские. Будет работать механиком.

— Я вас понимаю, — кивал Белосельцев. — Пусть будет так, как вы хотите!

Передернуло, колыхнуло воздух прозрачной тугой волной. Над капотом машины со свистом и воем что-то пролетело, страшно и огненно, вытянув из леса мохнатый клин дыма. Лопнуло в стороне от машины короткой вспышкой, оставив в воздухе опадающую копоть. Второй молниеносный удар, и мохнатая искристая головня промерцала раскаленным глазом, превратилась у обочины в шаровой удар света, в тупой грохот взрыва. Машину бросило, шофер безумно крутил баранку, разворачивая джип поперек дороги. Ветер от крутого виража и взрывной волны ударил в открытый борт. Тхеу Ван Ли растопырил руки, заслоня собой Белосельцева, с силой отталкивая его назад, дальше от леса, помещая себя между ним и зелеными кущами, из которых все еще тянулись вялые дымные трассы.

— Базука! — крикнул вьетнамец, толкая спиной Белосельцева, выдавливая его из машины на землю, за колесо,

на пыльный грунт. Махнул солдатам, ударил очередью наугад по опушке, нырнул вперед, навстречу трескам, скрываясь в зарослях.

Белосельцев на земле, заслоненный резиновым скатом, видел «Тойоту», съехавшую в кювет, Сом Кыта в позе стартующего бегуна, прыгающих навстречу стрельбе солдат. Успел осознать мгновенную картину случившегося: удар гранатомета из джунглей, их промах, взрывы на безлесом пространстве, бросок вьетнамцев навстречу стрельбе и засаде, и вот он один возле джипа, заслоненный колесом и кюветом, из машины торчит ствол автомата, Сом Кыт смотрит на него, машет рукой, прижимая его к земле, а в близких перепутанных кустах треск стрельбы, чмокающий взрыв гранаты. Сердце его стучало, открытому рту не хватало дыхания, и глаза, округляясь в подлобье, обретали панорамное зрение, видели одновременно и небо и землю, пространство и сзади и спереди. Страх, слепой и горячий, прошел сквозь него, как судорога. Вначале стиснул мускулы в неподвижные комья, а затем распрямил их, толкая прочь с обочины, в чистое поле, подальше от стрельбы и взрывов. Но уже включались иные, контролирующие страх системы и силы. Вновь собирали его в личность. Он выхватил из машины ствол автомата, беря под прицел опушку.

Стрельба удалялась в глубь леса. Было безлюдно. Только в стороне белела рубашка Сом Кыта. Резким жестом он побуждал Белосельцева лежать.

Стрельба гасла, словно лес своей вязкой древесной жизнью рассасывал энергию боя и она блекла, замирала в джунглях. Стихло. Только что-то чуть слышно звенело, то ли малая невидимая птица, то ли в придорожных камнях чешуйчатая тварь.

Сом Кыт оказался рядом. Быстро, тревожно оглядел Белосельцева с головы до пят, словно хотел убедиться, что тот цел, не решался его оцупать.

— Надо вот так лежать. — Он все-таки надавил на плечо Белосельцева, с неожиданной силой и властью прижимая его к земле, возвышаясь над ним, заслоняя, как вьетнамец в машине.

Белосельцев осторожно снял с плеча его руку.

— Мне кажется, там все уже кончилось.

Из леса, прорываясь сквозь заросли, появились солдаты, вьетнамцы и кхмеры. Держа автоматы, растягивались вдоль опушки, занимая оборону, готовые стрелять, защищаться. Следом, под защитой их автоматов, показались четыре солдата, неся пятого. Двое — за ноги, у голых щиколоток, и двое — ухватившись за ткань рубахи у плеч, так что руки волочились по земле. Во всей провисшей, непружинящей, послушно-безвольной позе пятого была безжизненность.

Еще издали вглядываясь в убитого, Белосельцев, ужасаясь, угадал в нем Тхеу Ван Ли. Солдаты вышли на дорогу, держа убитого на весу. Тот висел — голова на сторону, пальцы чертили на земле две пыльные бороздки. Со спины, с рубахи, из-под ремня капала кровь.

На дороге залязгало, загрохотало. Появилась колонна бронетехники, огромный, нелепый, похожий на старый комод американский танк и гусеничные транспортеры с мятыми бортами, открытыми люками, торчащими пулеметами. Колонна стала, подняв красную пыль. Вьетнамцы высыпали на дорогу, окружили убитого.

Тхеу Ван Ли лежал на обочине, у блестящего трака танка. Казалось, его худое маленькое тело в полете разбилось о громадную слепую преграду, рухнуло на дорогу. Вьетнамские офицеры выслушивали доклад очевидцев. Рокотали и чавкали горячие моторы машин.

Белосельцев смотрел на убитого, на его лицо, блевшее среди солдатских башмаков. Эта смерть, мгновенно случившаяся, приоткрыла простой механизм мира, задернутый пологом человеческих переживаний, сомнений, множествен-

ностью поступков, красотой леса и солнца, упований на чудесную, присутствующую в мире тайну. Все это пропало, и открылся примитивный, удерживающий мир механизм, наподобие деревянного винта в ткацком стане. Это примитивное устройство делало ненужными и бессмысленными все усилия постигнуть мир, отгадать его, в великом напряжении духовных сил сформулировать его смысл и закон. Делало ненужным душу и ум.

В своей жизни он видел много убитых. Застреленного кабульского муллу. Сгоревших в Саланге солдат, проводивших колонны с топливом. Казненных моджахедов, лежавших у глинобитной стены в длинных белых одеждах. Та медсестра в Кандагаре, смешливая и прелестная, чья рука вдруг случайно коснулась в машине его руки, задержалась чуть дольше, и он смотрел на ее цветастое, невоенное платье, искал повторного прикосновения. Она приехала на пост у дороги осмотреть больного солдата, и на мелкий окоп обрушился шквал огня, реактивные снаряды били из зарослей. В дымной яме, где только что лежала она, тлели ошметки одежды, висел обугленный клочок ее разноцветного платья. Уже тогда, после этих смертей, возникло бесцветное, похожее на безумие прозрение — простой деревянный винт, заложенный в основание мира.

Прозрение кончилось, деревянный змеевик исчез, затуманенный переживаниями его потрясенной души. Он вдруг осознал, что эта смерть имела прямое к нему отношение. Он — почти причина ее. Тхеу Ван Ли умер потому, что он, Белосельцев, жив. Вчерашним своим появлением в военной палатке, где был радушно принят, где вьетнамец угощал его чаем, уступил свое ложе, поместил вместе с собой в прозрачную сферу света, он, Белосельцев, уже поставил его под пулю. Та пуля, которая ждала Белосельцева, притаившись в автоматном стволе, попала не в него, а во вьетнамца. Вьетнамец, кинувшись навстречу стрельбе, толкая Бело-

сельцева за машину, уступал ему уже не постель и не полог, а свое место в жизни. И что ему теперь делать? Чем благодарить за спасение? Кого благодарить? Как воспользоваться сбереженным местом в жизни? Тхеу Ван Ли похоронят в красной земле Кампучии, а он, отделенный от него навсегда, улетит в Москву, станет дальше проживать свою жизнь, мотаясь по воюющим странам, будет писать донесения и сводки, получать чины и награды, и не будет в его жизни по-ступка, коим он заплатит вьетнамцу за жертву.

Растерянный, он смотрел на близкое неживое лицо, окруженное пыльными башмаками солдат. Не знал, как ответить на эти вопросы. Это состояние исчезло, сменилось другим.

Эта единичная насильственная смерть в единичной, не менявшей картину войны перестрелке входила в ряд бес-счетных, во все времена, смертей — на войнах, на эшафотах, в застенках, имевших свои объяснения, свои великие или малые цели, своих свидетелей, певцов и поэтов. Постепенно великие цели, именуемые Богом, Отечеством, служением царю и народу, распадалась и меркли. Гасли царства, улетучивались религии, исчезали идеи и верования. Неужели история, требующая непрерывных жертв, неужели эти жертвы — всего лишь Броуново движение народов и армий, варево краткосрочных идей и учений, которые теснят друг друга, бесследно пропадают, заманивая людей своей обольстительной, мнимой формой? Неужели и эта смерть канет бесследно, ничего не изменив на Земле? И живущее в каждой душе безотчетное стремление к благу, желание видеть мир вместилищем этого блага никак не связаны с ведущейся в джунглях борьбой, с его появлением на этой дорожке, с ударами базук из засады, с легким броском вьетнамца в сторону стреляющих куц, с этим неживым, выпитым, с приоткрытыми губами лицом? Мир, меняющий свои очертания, есть только бесконечно длящийся абсурд?

Он почувствовал, как что-то изменилось вокруг. Забе-

гали, заметались офицеры. Зазвучали команды. Солдаты, скопившиеся у обочины, стали разбегаться, рассаживались в боевые машины, втискивались в десантные отсеки транспортеров. Сом Кыт, оставаясь подле убитого вьетнамца, сказал:

— Начался штурм базы. Получен приказ направить бронетехнику на прорыв укреплений.

Солдаты охраны подняли убитого Тхеу Ван Ли и осторожно понесли к джипу. Белая «Тойота» съехала к обочине, открывая дорогу ребристым гусеничным машинам, над которыми поднялся едкий синий дым. Стальные двери в корме ближнего транспортера были раскрыты, солдаты теснились на боковых сиденьях, поставив автоматы у ног, смотрели на Белосельцева сквозь голубую гарь. Белосельцев чувствовал напряженный вектор, направлявший колонну вперед, к невидимой грозной цели, пронизывающий груды теплой брони, изношенные, брызгающие маслом дизели, исстрелянные стволы, вовлекающий в это движение командиров, водителей, сидящий в отсеках десант. Этот вектор пронзил и его, давил ему в спину, подталкивал к транспортеру, к открытой корме, к металлическим сиденьям, на которых было одно свободное место — для него. Ему казалось, что его засасывает в глубь транспортера, что действует загадочная незримая помпа, втягивающая его в тугой свиток пространства, которое, сужаясь и скручиваясь, устремляется из-под света и солнца в тесный, сумеречный, окруженный сталью отсек. Он противился этому давлению, оглядывался на Сом Кыта, на ожидавшую его «Тойоту», но его затягивало в эту воронку, как малую, попавшую в водоворот песчинку. Воля его подчинялась напряженному, пронизывающему боевые машины вектору. Вздохнув, словно отталкиваясь от берега, он шагнул к транспортеру, сел на отшлифованную лавку, потеснил худых солдат. Двери отсека захлопнулись, и машина, качнув кормой, с ревом пошла.

Белосельцев сидел в душном металлическом коробе аме-

риканского транспортера, стиснутый солдатами вьетнамской армии, двигался в кампучийских джунглях в направлении Таиланда. Он видел близкое узкоглазое лицо, край панамы, удаленную спину механика-водителя, тянувшего и толкавшего рычаги управления. Сквозь узкую бойницу влетали фонтаны грязи, ворохи разорванной зелени, и было неясно, куда идет транспортер, по дороге или по бездорожью, в колонне или в одиночку. Белосельцев, как только отдал себя во власть незримой силы, втянувшей его в нутро транспортера, уже не принадлежал себе. Не пытался привнести в это слепое движение мысль, желание, самостоятельное живое чувство. Они все, здесь сидящие, не принадлежали себе. Были вовлечены в огромный безымянный виток, который, как планетарный циклон, медленно накрывал континенты, проволакивая сквозь мир войны, боевые армады, движение флотов и армий. Они двигались по малому отрезку этого огромного завитка, менявшего границы мира, перемещавшего народы, засевавшего землю смертями и бедами.

Сквозь рывканье мотора, уханье и лязг гусениц он услышал стрельбу: негромкие разрывы «безоткаток», редкие аханья минометов, чирикающий стрекот пулеметов. Все это держалось вдалеке, удалялось, а потом вдруг надвинулось, накрыло машину близкими ударами, грохотом. Транспортер стал вилять, качался с боку на бок, по его броне проскрежетала очередь, словно провели зазубренным острием.

Встали. Корма распахнулась. Сильные молодые тела выдавили Белосельцева из машины, толкали его, бежали врассыпную, залегали у гусениц, ослепшие от солнца, слепо начиная стрелять.

Белосельцев стоял на траве, в драной колее, у заляпанной мокрой брони и видел обширную поляну, изрытую окопами, брустверами, уставленную дощатыми бараками, деревянными вышками, окруженную высоким волнистым лесом. Эта поляна напоминала диораму, когда художники

желали изобразить многомерное сражение, и в подсвеченном мерцающем воздухе совершалось одновременное разрозненное действо. Под ногами, у кормы транспортера, валялся алюминиевый мятый таз с остатками какого-то варева, белое, измочаленное траками бревно с раздавленным станковым пулеметом. Над поляной, под разными углами, с разных высот, перекрещиваясь, сталкиваясь, превращаясь в водопады огня, в острые длинные искры, в слепящие ртутные шары, в комя дыма и пламени, летели трассы. Плевались огнем пулеметы, харкали и скрежетали базуки, мелко и огненно били автоматы, навешивали кудрявые дуги подствольники, метали колющие маленькие солнца гранатометы. Все это перемещалось, грохотало, чавкало. Остро попадало в мягкую плоть, с хрустом вонзалось в твердое дерево, колотилось в гулкую броню, колыхалось звуком, светом, теньями дыма, полупрозрачными в дыму и свете фигурками людей, которые косо бежали, исчезали, ныряли в окопы. Вновь возникали над брустверами, выставляя оружие, посылая очереди, залпы, огненные удары, перечеркивая поляну пучками лучей, создавая огненную разбегавшуюся геометрию боя.

Он стоял в рост, вращая в орбитах глаза, видя все сразу: и то, что было у него за спиной, и то, что, невидимое, совершалось в подземных блиндажах и дотах, будто кто-то наделил его этим панорамным зрением, поставил у кормы транспортера, заставляя созерцать, обещая защиту от снаряда и пули, возлагая на него одну-единственную задачу — смотреть и запоминать. Находясь под охранительным покровом Того, Кто взирает на него с небес, Белосельцев пошел вслед за колыхнувшимся транспортером, задыхаясь от вони солярки, заслоняясь от летящей из-под гусениц зеленой жижи.

От края поляны бежал вьетнамец, заостренный, гибкий, в белесой панаме, оборачивался назад, взмахивая рукой, зазывая за собой атакующих. Граната ударила ему в панаму, гулко лопнула, отломала ему голову, превращаясь в

красный глазированный взрыв. Секунду он продолжал бежать, неся на плечах огненное яйцо, рукой зазывая солдат. Упал, и безголовая шея дергала красными жилами.

Кхмер в зеленом картузе выскочил из окопа, грозил пистолетом, подымая солдат в атаку. Устремился вперед, открывая кричащий рот. За ним никто не поднялся, но навстречу из леса выполз танк, тяжелый пулемет в упор продолбил его блистающими штырями. Было видно, как наполняется металлом его худое, дрожащее тело, опрокидывается, пузырится на спине, пропуская сквозь себя крупнокалиберную очередь. И когда он упал, в воздухе, где он только что был, розовело росистое облачко.

Двое, вьетнамец и кхмер, сцепились в рукопашной, без стволов, без ножей, раздирали друг на друге одежды, рвали пальцами губы, вцеплялись в волосы. Визжали, скалились, вращались волчком. Ударами растопыренных пальцев кололи друг другу глаза, били ногами, волчком крутились на траве, делая стремительные кувырки. Они бились насмерть, и другие солдаты не вмешивались в их битву, огибали их, бежали вперед, стреляя из автоматов.

Двое вьетнамцев добивали штыками кхмера. Кололи его, вонзая заостренные лезвия. Выхватывали окровавленную блестящую сталь. Снова вонзали по очереди в живот, в пах, в горло, поддевая штык-ножом рвущуюся плоть. Умиравший кхмер страшно, тонко кричал, замирая на секунду при каждом новом ударе, и крик его был похож на вопль убиваемого охотниками зайца.

Казалось, невидимый баталист щедро показывает ему картину войны, раскадрованную на бесчисленные малые сцены. Каждая несла в себе отдельную технологию убийства и обий, присутствующий во всех одновременно дух войны. Он шагал за транспортером, за его стучащим пулеметом, в синем дыме ядовитой солянки, наступая на ребристую, взрезанную гусеницами землю.

Танк неуклюже перебирался через бруствер, наводил орудие на длинный дощатый барак. Оттуда к нему потянулся дымный скрученный шнур, огненный косматый репейник коснулся брони. Танк задрожал, будто по его железной коже пробежала судорога, а потом из двух люков ударили искрящиеся фонтаны и гулким ударом свернуло набок башню. Танк горел, из люков повалил жирный дым. Это улетал в небо превращенный в черную сажу экипаж.

Человек, охваченный пламенем, завернутый в огненную рубашку, бежал от танка. Упал в сухие метельчатые тростники, сбивая огонь. Шумно, жарко горели подожженные им тростники, ветер клонил горячие метелки, сдувая с них язычки пламени и маленьких испуганных птичек.

И было неясно, кто Тот, что все это ему показывает. Как ему, Белосельцеву, обойтись с этим знанием. Куда, в какие неоткрытые земли он идет за стреляющим транспортом. Почему не прилетит свистящая пуля, не погасит солнце, не прервет эти зрелища.

Снаряд из танковой пушки вломился в ствол пальмы, размочалил белые щепки. Дерево стало скрипеть и стонать, нагибаться, пернатые листья махали, как огромные зеленые руки. Пальма надломилась и рухнула, торчал пень с белоснежными щепами, похожими на переломанные заостренные кости. Белосельцев заметил, как из веток вылетела большая черно-желтая бабочка, словно душа убитого дерева.

По поляне бежала женщина, черноволосая, в цветастом платье. За ней гнались вьетнамцы, она ускользала у них из-под рук, делала зигзаги и петли, а они упорно преследовали ее, загоняли в дощатый сарай.

Среди секущих огней, шаровых молний, грязных и дымных взрывов вдруг возникли велосипедисты, похожие на вереницу журавлей. Почти не касаясь земли, неся на спицах размытое солнце, велосипедисты крутили педали, мчались один за другим, неуязвимые для очередей и гранат. Просколь-

зили краем поляны, исчезли в лесу, одинаковые, в зеленых картузах, с автоматами за плечами, дружно крутя педалями.

Транспортер остановился у деревянного барака. Пулеметчик на башне посылал во все стороны короткие неприцельные очереди. Белосельцев отступил от кормы и вошел в барак.

Вдоль стен стояли кровати. На них лежали, сидели раненые. С перевязанными головами, с забинтованными руками, с поднятыми на подвесках негнувшимися ногами. Над некоторыми висели флаконы капельниц. Среди барака стоял врач в белом халате, лысоватый, с черной бородкой. Он и раненые, те, кто сидел, поднимали вверх руки. Вьетнамские солдаты ходили вдоль кроватей, наставив автоматы. Пахло лекарствами, несвежей одеждой, хлоркой.

Белосельцев оглядел пространство госпиталя, пронизанного солнечными лучами из узких окон. Снова вышел наружу. Транспортер пошел, и он, словно привязанный к нему невидимым тросом, двинулся следом. Когда он огибал упавшие веревки, на которых сушилось белье, и стальная машина месила гусеницами простыни, рубахи и юбки, он увидел белую «Тойоту». Она подскакивала на ухабах, мчалась через поляну к нему. Сом Кыт, бледный, перепачканный грязью, выскочил навстречу:

— Как вы могли?.. Здесь убивают!.. Вас могли застрелить!..

Он кинулся к Белосельцеву, с силой затянул его в машину. Что-то крикнул шоферу, и «Тойота» развернулась, помчалась обратно. Проезжала мимо госпиталя.

— На одну минуточку!.. Постойте!..

Белосельцев выскочил, заглянул в открытую дверь. Все раненые были убиты. Торчали на подвесках забинтованные ноги. Мерцали флаконы капельниц. Но теперь все лежали, недвижимые, среди заляпанных кровью простыней. Доктор, задрав бородку, лежал на полу с красной дырой в голове.

Глава тринадцатая

Белосельцев был потрясен случившейся в ней переменной. Даша была больна, глубинно, неизлечимо. Ее болезнь коренилась не в тканях плоти, не в расстройстве органов, не в дефекте сознания. Ее болезнь коренилась в Солнце, в Луне, в гравитационных полях Вселенной, в древнем недуге сотворенной жизни, в которую из мироздания упала малая ядовитая капля. С тех пор гуляла в земном белке, порождая уродливые формы: отравленные грибы, наросты на деревьях, безногих слепых уродцев, собак с кошачьими головами, рыб с женскими грудями, ослепительных красавиц с волчьими сердцами, его, Белосельцева, ночные кошмары, от которых он вскакивал с криком, видя горящую травяную поляну и бегущего по ней человека с оторванной головой, сжимавшего автомат Калашникова.

Даша была больна болезнью, прилетевшей из Космоса. И чтобы излечить ее хворь, он должен стать космонавтом, надеть скафандр, улететь на Луну, и там, блуждая по пыльным мучнистым равнинам, спускаясь в черные скалистые кратеры, обнаружить норы лунных существ. Держа на весу огнемёт, впрыскивать в эти норы пылающий аэрозоль, выжигать вместе с визжащими лунными духами Дашину болезнь. Так огородники опрыскивают из пульверизаторов листья капусты, умертвляя жирных коротконогих гусениц.

Но он не мог стать космонавтом. У него не было скафандра. Не было ранцевого огнемёта. Он должен был искать иные рецепты, иные лекарства.

Он оживит свои прежние военные связи. Отыщет знакомых медиков, в секретных лабораториях изучающих психотронный эффект, трансляцию мыслей на расстоянии, строящих парапсихологическое оружие. Эти умные, серьезные люди листают древние магические рукописи, конструируют электронные генераторы, опускают волшебниц и магов на

дно океана и в подводных лодках за тысячу километров принимают от них послания. Эти врачи осмотрят Дашу, установят диагноз ее лунного недуга, поставят заслон между нею и духами тьмы. Даша поправится, и они снова вместе уедут на Оку, будут лежать на солнечном берегу у студеной лазурной реки, и она на ладони поднесет ему перламутровую ракушку с крохотными песчинками солнца.

Или нет, он не станет прибегать к сомнительным, непроверенным средствам, а обратится к древнему опыту знахарок, ворожей и шаманов. Повезет Дашу на север, в тундру, и там, в дымном, натопленном чуме, она будет лежать, обнаженная, на оленьих шкурах, узкоглазый шаман, грохоча в бубен, станет танцевать над ней магический танец, заклинать духов северной туманной луны, курить душистую трубку, набитую мхами и травами, класть ей на грудь амулет, вырезанный из моржового бивня, испещренный тайными знаками. Даша, исцеленная, блестящая от целебного трескового жира, выскользнет из чума на глазированные снега, под грохот бубна побежит вокруг чума, проламывая упругой стопой лунную корочку льда.

Но нет, он не станет, пусть даже в минуту высшего смятения, нарушать заветы святоотеческих старцев, предаваться колдовству, ворожбе. Он пойдет к православному батюшке, к оптинскому священнику, поставит Дашу на колени посреди солнечного тихого храма. Под пение хора, среди неярких свечей и лампад, батюшка накроет ей голову золотой епитрахилью, прочитает очистительную молитву. Храм, наполненный солнцем, витающими под куполом голубыми ангелами, седобородыми праведниками и апостолами, исцелит Дашу. Пресвятая Богородица в малиновых долгополых одеждах опустит над Дашей свой дивный покров, заслонит ее от злых духов, сбережет ее чистую душу.

Но если не помогут лекари и целители, молитвы и заговоры, новейшие лекарства и древние отвары и зелья, он

возьмет Дашу к себе. Будет денно и ночью подле нее, в самые страшные минуты ее недуга. Станет терпеть ее болезнь, отвлекать эту болезнь на себя, выманивать ее из Дашиной потрясенной души, завлекая ее в свою душу. И пусть он погибнет от ее болезни, пусть сойдет с ума, но она подле него исцелится. Как погиб его дед, земский врач, служивший в области Войска Донского, заразившийся в тифозном бараке, — сам умер от тифа, но погасил эпидемию.

И этой жертвой, этим беззаветным служением он совершит свой последний жизненный подвиг. Выполнит божественное предназначение. Угадав волю Творца, уйдет с земли, исполняя заповедь страдания «за други своя». Оставит жить Дашу в ее молодости, красоте.

Так думал Белосельцев, вспоминая минувший день, готовясь ко дню завтрашнему.

Назавтра был вернисаж, открываемый усилиями Дашиной мамы, которую звали певучим именем, напоминавшим вытянутое горло восточного кувшина, — Джулия. На вернисаж модного художника созывались его не менее именитые товарищи, искусствоведы, критики, репортеры телевидения и газет. Даша помогала маме устраивать зал, готовить фуршет, закупать напитки и бутерброды. На этот вернисаж был зван Белосельцев, который отправился туда с нежным щемящим чувством, полный решимости осуществить свой жертвенный план — предложить Даше переехать к нему, пользоваться всем, чем он располагает, а главное — его неусыпной заботой, бережением, жертвенным служением, чем будет преодолен ее недуг, произойдет исцеление.

Вернисаж проходил в особняке, в арбатских переулках, в старинном танцевальном зале с колоннами, лепниной, люстрами и местом для оркестра. У подъезда было тесно от лимузинов, возвышался фургон телестудии, из которого вываливались резиновые кабельные жгуты, змеились вверх по ступеням, в двери особняка. Вдоль этого змеиного туло-

вища, стараясь не наступить на живые опасные связки, Белосельцев проследовал в особняк.

В просторном наивно-ампирном зале былолюдно. Расхаживали, раскуривали сигареты и трубки, стояли группами или в нарочито показном одиночестве. Гудели, громко и возбужденно вскрикивали, раздражались залиvistым смехом. Подносили к губам пластмассовые стаканчики с вином и водкой. Совали в рот изящные сооружения из хлеба, лепестка ветчины, маслинки, пронзенной крохотным деревянным копьем. Двигалась телекамера, заглядывая своим любопытным глазом в бородатые лица, выпученные глаза, в хохочущие и жующие рты. Останавливалась и внимательно, с интересом и непониманием рассматривала главный предмет вернисажа — инсталляцию, изобретенную маститым художником, снискавшим славу в европейских и американских кругах.

На стене, среди зеркал и лепнины, была прикреплена пузырчатая, складчатая пленка, неопратно обвисшая, соединенная множеством красных и синих трубок с металлическими газовыми баллонами, стоящими у колонн. Над всем этим, как охотничий трофей, была прикреплена к стене голова быка, обрубленная по шее, с выпуклыми черностеклянными глазами, косматым загривком, кольцом в носу. Вся инсталляция называлась «Бычьи легкие». Красные и синие трубки соответствовали кровяным артериям и венам, трахеям и бронхам. Баллоны с газом содержали атмосферу, которой дышит бык. И вся затея, как это значилось в письменном, приклеенном к стене пояснении, повторяла знаменитый опыт Леонардо да Винчи с раздуванием бычьих легких.

Белосельцев все это бегло и с раздражением осмотрел, выискивая Дашу среди чужой и неприятной публики. И вдруг увидел ее.

Она стояла у столика с винами и закусками, в темном,

великолепном, вчера ей подаренном платье, прекрасная, с голой шеей, округло выступавшей, жемчужно светящейся грудью. Ее волосы были собраны на затылке в тяжелый пук, укрепленный высоким костяным гребнем. Лицо сияло, улыбалось. Зеленые, расширенные глаза хохотали. Она внимала какому-то крупному рыжеволосому мужчине, чокаясь пластмассовым винным стаканчиком. Увидала Белосельцева издали, через головы. Осветилась радостью. Махнула широким приглашающим жестом, приподняв в голой руке стаканчик, став на минуту похожей на античную деву с факелом.

— Как я рада, что ты пришел! — Она быстрым сильным пожатием стиснула его пальцы, и он почувствовал их жар, их трепещущую нервную силу. — Это очень близкий мне человек! — представила она Белосельцева рыжеволосому собеседнику. — «Мой генерал», так я его называю... А это Натан, очень известный художник.

— Мы говорили с Дашей о том, что ей надо позировать, — сказал Натан, дружелюбно поклонившись Белосельцеву. — Она великолепна. Я бы хотел написать ее портрет в стиле магического реализма и повезти этот портрет в Австрию. У меня осенью большая выставка в Вене.

— Я дала согласие, — сказала Даша. — Ведь ты говорил мне, что хотел бы видеть меня на портрете. Большой портрет для Натана, для его венской выставки. А миниатюру для тебя, для твоего медальона. Вы сделаете миниатюрную копию для моего генерала, Натан?

— О да, миниатюрную копию для генерала! — усмехнулся рыжеволосый художник.

Белосельцев остро, ненавидяще, поражаясь своему злому чувству, взглянул в упор на близкое, в рыжих веснушках, с рыжими жирными бакенбардами и вихрами лицо. Станным образом оно напоминало бычью голову, укрепленную на стене, — такое же крупное, с жестким загрив-

ком, с коротким влажным носом, вывернутыми, жарко дышащими ноздрями, которыми он, казалось, обнюхивает Дашу. Пускает в нее горячие струи воздуха, распираемый душной, набрякшей силой, липкой слюной, kloкочущей перламутровой слизью. Даша заметила его отвращение, но оно не огорчило, а развеселило ее.

— Не правда ли, — обратилась она к Белосельцеву, снова сжимая ему руку быстрыми горячими пальцами, — Натан похож на вавилонского быка, только кольца в ноздрях не хватает... Натан, это платье подарил мне мой генерал. Не правда ли, оно мне идет! — Она отступила на шаг, медленно, плавно поворачиваясь. И художник, пока она поворачивалась, оглядывал ее с ног до головы жадными выпуклыми бледно-голубыми глазами, расширял большие, красноватые от обильной крови ноздри, словно вдыхал запахи, исходящие от ее волос, обнаженных плеч, стянутых тканью бедер.

Сквозь людское скопище к ним подошла невысокая изящная женщина со следами начавшегося увядания, которое она стремилась восполнить обилием серебра на запястьях, в ушах и на пальцах, глубоким вырезом юбки и обильным, смело положенным гримом, от чего глаза ее казались ромбическими, словно карточная масть бубей, но не красная, а залитая мерцающим беспокойным блеском. По сходству с Дашей Белосельцев понял, что это Джулия, ее мама, чей голос он несколько раз слышал по телефону.

— Это Виктор Андреевич, — радостно представляла Белосельцева Даша. — Я хотела, чтобы вы познакомились и друг другу понравились.

— По-моему, мы понравились друг другу еще до знакомства. У вас очень приятный голос, — сказала Джулия, поднимая тонкие, прочерченные тушью брови, под которыми ромбовидные глаза воззрились на Белосельцева насмешливо и испытующе. — Девушкам в Дашином возрасте свойственно обзаводиться кумирами. Это может быть актер,

или знаменитый художник, или боевой генерал. Помню, у меня был кумиром молодой Караченцов. Следовала за ним по пятам, прохождению ему не давала. А потом вдруг в минуту забыла. Ах эти легкомысленные девичьи души!

Белосельцев чувствовал исходящие от нее невидимые длинные иглы, как колкие лучи хризантемы, которые не жалили, а лишь остро щекотали, ощупывали его. Он вдруг вспомнил, что Даша называла мать колдуньей. Почувствовал в этих прикосновениях болезненную энергию, родовое, гулявшее в их крови безумие, которое он воспринимал как болезнь.

— Даша, пойдй помоги мне! — сказала дочери Джулия. — Развлеки нашего критика Медиано, он раскапризничался и хочет уйти. Очаруй его, как ты это умеешь. Нам нужна его публикация!

Деланно улыбнувшись Белосельцеву, она увела Дашу. Ее появление, ромбовидные, наполненные болезненным блеском глаза и то, как она использовала Дашу, ее привлекательность и общительность, среди этих капризных, многозначительных и изломанных людей, больно задело Белосельцева. Ему стало страшно за нее, за себя. Захотелось немедленно увести ее — на воздух, в темнеющие арбатские переулки. Выбрать какое-нибудь милое нелюдное кафе. Сидеть с ней за столиком под деревом, в котором горит зеленый, окруженный листвой фонарь. Пить вино, рассказывая ей о своих странствиях, сжимая ее послушные длинные пальцы. Но Даши не было. Постояв с минуту подле рыжего, похожего на курчавого бизона художника, Белосельцев отошел, двигаясь в разношерстной толпе.

Публики было много, и казалось, она неуправляемо и хаотически движется, переходит с места на место. Но на самом деле она перемещалась среди нескольких неподвижных центров, которые, как ядра притяжения, влекли к себе посетителей, создавали поле внимания.

В центре одного такого поля находился известный и когда-то очень модный поэт, чьи поэмы казались верхом политической смелости и поэтического откровения. С тех пор поэт поблек, ушел в выхолощенные поэтические эксперименты, время от времени осторожно, с гарантированной для себя выгодой и безопасностью поддерживая власть.

В центре другого круга пребывал эксцентричный знаменитый политик, лидер партии, которая пользовалась устойчивой поддержкой у психически неустойчивых избирателей, у экзальтированных надрывных патриотов, у женщин с душевными расстройствами, тяготеющими к спиритизму, и у той группы населения, которая находит себя в однополой любви. Политик говорил очень громко, магнетически притягивая к себе резким смехом, странными, неприятными жестами.

Тут было много молодых лысых женщин, чьи белые выскобленные черепа были как огромные птичьи яйца, делали их похожими на инопланетян. Хрустящие пластмассовые оболочки, крупные пластмассовые браслеты и серьги придавали им сходство с большими гибкими насекомыми, чьи ножки и усики соприкасались, ласкали и ощупывали друг друга, выделяя клейкие ароматические капельки.

Здесь можно было заметить дипломатов с темными бородами, в очках, говоривших на средиземноморских языках, знающих толк в русском постмодерне, вносящих в вернисаж дух мирового эстетизма. Все общество художников, критиков, поклонников искусств напоминало живой кишашщий планктон, состоящий из сине-зеленых водорослей, мельчайших рачков и креветок, светящихся фосфором моллюсков, среди которых двигались разнообразные рыбы с узорными плавниками, резными хвостами, выпученными телескопическими глазами. Рыбы питались планктоном, но планктона не становилось меньше, он льнул к рыбам, кото-

рые медленно плыли, оставляя в густом бульоне светящийся след.

И конечно, в самом центре внимания находился устроитель инсталляции, именитый художник, лукавый плут с хитрыми, веселыми глазками, лысоватый, с седыми пейсами, проворный, подвижный, в бархатном малиновом камзоле, с пышным кружевным жабо, похожий на придворного горбуна, чьи злые шутки приходилось терпеть из-за августейшего благоволения к шуту.

И все это озарялось блицами, освещалось телевизионными лампами, во все это просовывалась любопытствующая телевизионная камера, посылая добытые впечатления в змеящийся жирный кабель, утекавший на улицу.

Белосельцеву было плохо. Все здесь были больны. Ему казалось, что на хорах, за гардинами, притаились врачи в белых шапочках, санитары в халатах приготовили долгопoley, с длинными рукавами рубахи, бинты и веревки. Кинутся на собравшихся, станут валить, пеленать, за руки за ноги вытащат на улицы, где с сиренами и мигалками начнут подъезжать кареты «Скорой помощи».

Он хотел найти Дашу, хотел ее увести. Она мелькнула на другом конце зала, смеющаяся, прелестная, окруженная внимавшими ей мужчинами. Белосельцев кинулся к ней, пробираясь в толпе. Но дорогу ему преградил тучный, круглобокий, как кит, человек в холщовом просторном сюртуке, курчавая голова которого была выстрижена голыми бороздками, и в ухе качался золоченый паук. Даша исчезла. Он выглядывал ее, обходил толпу. Увидел ее за колонной, подымавшую с кем-то пластмассовые винные стаканчики. Бросился к ней. Но натолкнулся на двух гибких, как обезьяны, женщин с голыми, до самого крестца, спинами, которые курили одинаковые длинные сигареты и бритые головы которых были выкрашены в ядовитые синий и красный цвета. Женщины не сразу его пропустили, окружив запахом

странных духов, похожих на горькую плесень. Когда он пробился к колонне, Даши там не было, только два подвыпивших журналиста негромко смеялись и матерились.

В третий раз он увидел ее совсем близко. Она внимательно на него смотрела. Он заторопился к ней, делая на ходу умоляющие жесты. Но она резко, гибко отвернулась, качнулась в сторону, и там, куда она откачнулась, возникла рыжая шевелюра, набрякший бизоний затылок, выпуклые яркие глаза художника, похожего на вавилонского курчавого быка. «Похищение Европы», — беспомощно подумал Белосельцев, испытыв приступ дурноты, похожее на обморок предчувствие. Кинулся было к дверям, но двери захлопнулись, в них громко провернулся снаружи ключ. В зале заиграла странная музыка, напоминавшая сильные вздохи, стук сердца, урчание желудка, икоту. Висевшие на стене обвислые пленки стали шевелиться, колебаться, как ткань воздушного шара, в который поступает газ. Взбухали, пенились, выдавливались из стены в зал. Люди, шумно восклицая, отступали от них. Пузырей становилось все больше и больше, словно стена вскипала, превращалась в клокочущую грязную пену. Огромные легкие, наполненные воздухом, поступающим сквозь сильные трахеи, надвигались на людей, теснили их. Те со смехом, но и со страхом плотно сбивались, а пузыри доставали их, обхватывали и облегали колонны, заполняли пространство под потолком, поглощали люстры. И вот уже завизжала какая-то женщина, затянута в зыбкую глубину пузырей. Начал брыкаться, взмахивать руками какой-то перепуганный старичок, которого проглатывало зыбкое воздушное месиво. Веселье и изумление толпы сменилось ужасом. Все жались по углам, прятались за колонны, пытались выломать двери. Но их везде находили пузыри, сдавливали, лепили глаза, заклеивали лица. Вся толпа оказалась в огромной пенистой слюне, истекавшей из чьего-то бездонного рта.

Поэт задыхался, карабкался по пузырям, некоторые лопались под его тяжестью, но другие заливали его пеной, как из пожарного брандспойта. Политик отбивался от бесчисленных воздушных шаров, выхватил колючую авторучку и принялся энергично колоть пузыри. Они лопались с неприятным звуком, и газ, вылетающий из них, был с едким запахом тухлого яйца.

Белосельцев испытал ужас, словно попал в желудок огромного существа и его переваривали, заливали ядовитым желудочным соком, отделяли от костей ткани, расщепляли клетки, высасывали витамины. Он бил кулаком в пузыри, но кулак ударял в пустоту, залипал среди прозрачных пленок.

— Господа, теперь вы можете себе сказать, что побывали в легких быка! — раздался смеющийся голос устроителя инсталляции. — Это был вдох!.. А теперь быстрый выдох!..

Музыка оборвалась. Воздух из пузырей куда-то излетел. Оболочки опали. Некоторое время еще пузырились на полу, как приземлившиеся парашюты. Превратились в ошметки разорванной грязной резины, на которой топтались растерзанные, несчастные посетители. Посреди зала на постаменте победно возвышался смеющийся карлик в малиновом камзоле, звенел крохотным серебряным колокольчиком.

Белосельцев выскочил из открытых дверей на улицу. Ему померещилось, что мимо промчалась машина, сквозь стекло он видит Дашу и сидящего за рулем рыжего живописца. Не на чем было их догонять. Не было сил гнаться за ними. Не было адреса, по которому он мог бы их разыскать.

Чувствуя на лице раздражение и ожог, словно по щеке пробежало жальщее мохнатое существо, Белосельцев побрел домой, переживая свое несчастье.

Он понимал, что оказался в огромной ловушке. Попал в волчью яму, вырытую у него на пути. Он искал путь к Богу, пробирался сквозь завалы и дебри прожитой жизни.

Ему хотелось напоследок, перед тем как закрыть глаза, увидеть Божественный Лик. И на этом Лике обнаружить знак одобрения, поощрения ему, Белосельцеву, угадавшему Волю Божью. Сквозь все заблуждения, все страсти и похоти жизни открывшему божественный закон бытия.

Он испробовал путь стоицизма. Путь древнего римлянина, созерцающего из своих предместий, как горит его Вечный город. Как варвары насилуют в храмах весталок, сдирают золотые ризы с богов. Но его вовлекли в последний ненужный бой, когда империя пала и время его сгорело, как пергаментный свиток, на котором серебряной латынью была начертана поэма его героической жизни. Старый легионер, в старинных рубцах и шрамах, он снова снял со стены свой избитый в сражениях щит. И был разгромлен. Не убит, но опозорен бесчестьем. Видел, как мимо окон его виллы проносят на копье окровавленную голову друга. И боги от него отвернулись.

После убийства генерала Ивлева, в чьей смерти он был повинен, он пребывал в тупой неподвижности, как мумия, которую пропитали смолами, укутали бинтами, залили балзамом, уложили в глухой саркофаг. И он покоился в нем, погруженный в тысячелетия, медленно истлевая, — добыча для будущих археологов, кладбищенских воров, осквернителей старых могил.

Но вот появилась Даша. Как ослепительный луч, пробежавший по тусклым равнинам, по сырым предзимним лесам и свинцовым водам. И они загорелись дивным сиянием. В лесах поднялись золотые иконостасы. В полях стало просторно от света и серебра. Воды превратились в лазурь, на которой каждая белая чаечка, каждая сухая тростинка драгоценно сверкали. И осень его жизни стала огромным храмом, в котором реяли ангелы, молились святые и праведники и в глубоком куполе неба был начертан Божественный Лик.

Но чьей-то злой волей храм был разрушен. Оказался

размалеванной яркой фанерой, под которой копошились разноцветные черви, вскипали гадкие резиновые пузыри, и ему на лицо из черных липких небес, как из гнилого болота, падали мокрые жабы, сыпались ядовитые личинки, бежали мохнатые быстроногие пауки. Возжелавший Рая, он оказался в Аду. Возлюбивший Бога, он оказался в мохнатых зловонных объятиях, и чудище, харкая кровью, вонзало ему в грудь длинные зубья, выгрызало живое сердце.

Он не понимал, как устроен мир. По какой спирали движется в нем душа. Он каждый раз начинал движение, наивно доверяя миру, воспринимая его как восхитительную перламутровую раковину, из которой, среди морской пены и брызг, родилась прекрасная дева с распущенными золотыми волосами. Он погружался в раковину, в ее жемчужные лабиринты, в сияющую глубину, в которую вовлекали его таинственные гулы моря. Надеялся пронырнуть сквозь лазурь в иную, блаженную жизнь, выйти на райский берег. И на одном из витков спирали вдруг обнаруживал, что нет никакой ракушки, нет теплого перламутра, а он находится в черной зловонной трубе, сквозь которую несется железный сквозняк, хлупает ядовитый поток, пронося полусгнившие трупы разбухших людей и животных.

Так было с Дашей, с его к ней любовью.

Он вернулся домой, страдающий и несчастный. Он был в яме, в черной дыре. Эту яму нельзя было забросать и засыпать, потому что она была вырыта в нем самом.

За окнами в небе мерцало. Собиралась гроза. Над крышами белая плазма охватывала край черной тучи, и казалось, мигает огромный, залитый бельмом глаз. Он задернул шторы и, желая исцелиться, прибежал к испытанному, чудодейственному средству. Сел перед коробками бабочек. Разделся по пояс, подставляя лоб, лицо, грудь тончайшему излучению, многоцветной волнистой энергии. С крохотных драгоценных экранов били в него лучи. Как цветные игол-

ки, проникали в нервные, пораженные страданием центры. Успокаивали, умягчали. Но черная, открывшаяся в нем дыра бесследно поглощала лучистую энергию. Бабочки гасли, словно перегорали экраны. Их выводила из строя гроза. И боль и ужас его оставались.

Один, без друзей и без близких, он сидел в своем кабинете, такой же одинокий, как скифская баба на вершине степного кургана. Пережил свое время, стал прибежищем хищной птицы, опустившейся на его плоскую голову, чтобы почистить о стертый камень кривой окровавленный клюв.

И, спасаясь от смерти, чувствуя, как темные воды смыкаются над его головой, он кинулся туда, где было ему светло, где еще не начались его странствия, где не был сделан роковой выбор, толкнувший его по дорогам войны и печали, — в юность, в волоколамские снега, темные глухие деревни с маслянистым светом лампадки. Тетя Саша сидит за столом, волоколамская седая вдова. Половик чуть краснеет. Кот на теплой лежанке. Самовар мерцает, отражая ночную синь. Рюмочка наливки с темной рябиновой ягодкой. Тетя Саша, захмелев, положила на стол свои вдовьи сухие руки. Поет старинную песню про удалого охотника, про охотничьи годы в лесных островах, про красную девицу, повстречавшуюся лихому наезднику. И он, еще юноша, в предчувствии огромной, ему предстоящей жизни, так любит эту чудную песню и поющую тетю Сашу, весь родной окрестный мир с редкими огоньками селений, веря, что на родной стороне, среди любимых родных людей будет ему хорошо и счастливо.

«В островах охотник... — пытался вспомнить слова Белосельцев, — цельный день гуляет.... — вызывал он из памяти вдовий чуть надтреснутый голос. — Если неудача... — силился он снова увидеть мятый бок самовара, отражавший синее ночное стекло, — сам себя ругает... — набредал он среди бесчисленных, услышанных в течение

жизни слов, прочитанных стихов, подписанных приказов и смертных приговоров, — сам себя ругает...»

Его осенило: он сам во всем виноват. Он, охотник, разведчик, посланный Господом Богом с секретным опасным заданием — разведать, что же такое жизнь, из каких основ и законов она состоит, по каким дорогам она пролегает, какие угрозы мирозданию в ней таятся, — он, разведчик, провалил задание, не разведал жизнь, не представит Господу добытый план и чертеж. В своем неведении, в своей роковой неудаче виноват только сам. Весь свой гнев должен направить на себя самого. Принять наказание и муку. Этой мукой была его любовь к Даше. Ее болезнь. Ее вероломство, которое уже сгубило его, но может сгубить и ее. И чтобы она не погибла, он, погибший, должен ее спасти.

Одержимый этой внезапной идеей, он принялся ей звонить. Телефон молчал, не подходила ни она, ни Джулия. Он выскочил из дома, сел в машину, пытался ее завести. Но грозовые разряды, полыхавшие над Москвой, повредили зажигание. Бросил машину, помчался к метро.

Он кружил возле ее дома, то уходя к дороге, выслеживая редкие ночные машины, ожидая, что одна из них остановится и из нее выйдет Даша. То возвращался сквозь гулкую арку во двор, в заросший деревьями сквер, где, безжизненная, отсыревшая, пустела детская площадка с песочницами, лесенками и деревянным медведем, поднявшим резную лапу. Клубились тучи, их охватывали белые беззвучные вспышки, словно за тучами мигала огромная испорченная реклама. Вдруг налетал шумный, холодный ветер, сильно гнул вершины деревьев, и оттуда начинали валиться сучья. Он поднял отломанную тополиную ветку, оторвал от нее черенок, машинально сунул в рот. Тополиная горечь вдруг на мгновение отрезвила его: это он, Белосельцев, почти прожив свою жизнь, стоит несчастный в подво-

ротне московского дома, ждет любимую женщину. И Бог вместо женщины шлет ему разрушительную грозу.

Он ревновал, поражаясь глубине и качеству боли, которую природа вложила в это необычайное, доселе неведомое ему чувство. Оно напоминало острую зубную боль, но эта боль была повсюду: в сердце, под черепом, в кровеносных сосудах и тканях, в каждой страдающей клеточке. Она же была и в воздухе, его окружавшем. Болела тьма, ветер, песчи-ница, асфальт под ногами, по которому разбегались в раз-ные стороны трещинки боли.

Он вспоминал ее последний, из-за колонны, взгляд, зоркий, внимательный, насмешливо-беспощадный, отсы-лавший на страшную пытку. Вспоминал рыжего, румяно-веснушчатого художника, озиравшего ее выпуклыми, же-лающими, жадно-бычьими глазами, когда она поворачива-лась в легком вихре. Представлял, как рыжий мужчина го-лыми, сильными, в светлой щетине руками снимает с нее платье, через голову, пропуская сквозь струящийся шелк ее поднятые руки, открывая ее колени, живот, свободную неза-щищенную грудь. Как комкает, мнет эту грудь в огромных ручищах, валит ее на тахту, давит тучным, с могучими лопат-ками, телом, нависает над ней вывернутыми ноздрями, мок-рыми губами, невидящими, налитыми страстью глазами. Эти страшные картины вызывали у Белосельцева стон, тихий звериный вой. Он бил рукой о каменную стену, сдирая в кровь кулак, и боль рассеченной ткани была ничто в срав-нении с ужасной, протыкающей его насквозь ревностью.

Он подходил к стоящему на задних лапах деревянному медведю, напоминавшему языческого идола. Молился ему, как тотемному зверю, чтобы не случилось несчастье. Чтобы Даша появилась невредимая, усталая, милая и он по ее гла-зам, по легкой насмешке, по быстрому поцелую понял, что ничего не случилось, беда его миновала и они снова, уже наутро, окажутся вместе, пойдут на какую-нибудь выстав-

ку, или в музей, или в театр, а потом, как бывало, поужинают в каком-нибудь милом кабачке и отправятся к нему на Тверскую. Он молился медведю, прижимаясь лицом к его деревянной груди. В черных шумящих деревьях полыхали зарницы, и казалось, в глубине деревянной колоды мерно ухает сердце.

Он увидел, как в черном проеме арки полыхнули фары и остановилась машина. Некоторое время стояла, подмигивая желтым поворотным огнем. Дверь открылась, и вышла Даша. Белосельцев узнал ее в сумерках, издалека, по неуловимым очертаниям, колебаниям темного ветра, доносившим до него мучительное знание о ней. Машина двинулась, прочертила хвостовым огнем красный след, и Даша осталась в подворотне одна. Стояла, среди зарниц, холодного сквозняка, шума деревьев. Пошла, нетвердо ступая, покачиваясь, выходя под свет фонаря, в своем новом платье,правляя волосы, уже не собранные в пучок, а рассыпанные, залетающие ей в лицо.

Он шагнул в пятно зеленоватого света, которое она перебрала, словно мелкую воду.

— Ты? — узнала она Белосельцева. — Что ты здесь делаешь?

— Где ты была? — Он хотел быть смиренным, чутким, по-отечески заботливым, слегка сердитым и огорченным, но прощающим, благосклонным. Но эти рассыпанные, неопрятные волосы, которые еще недавно были собраны в аккуратный золотистый пук, а потом чьей-то торопливой рукой распущены, но это не застегнутое на две верхние пуговицы платье, которое недавно так сияло на ней, подчеркивало шелковым вырезом ее стройную белую шею, но теперь было смято чьей-то грубой, неосторожной рукой, — все это вызвало в нем слепящую ярость, и голос его стал скрипучим, болезненным, похожим на крик. — Где ты была все время?

— Ты же знаешь, я была у Натана, в мастерской...

Позировала ему... Будет очень красивый портрет... Ты останешься доволен... — Она всматривалась в него, усталая, вялая. Шатко стояла в пятне зеленоватого света. — Я очень устала...

Она шагнула, свет упал на ее лицо, и он увидел ее распухшие синеватые губы, синяк на голой шее, пятна на голом плече. Она была мягкая, выпитая, испачканная. От нее исходил запах вина, духов и еще чего-то сладковатого, ядовитого и тлетворного.

— Ты спала с ним!.. С этим быком, скотиной!..

— Не говори глупости. — Она качнула рукой, словно отмахивалась от него, просила пропустить ее к дому. — Ничего не было... Просто позировала... Ты же сам хотел... Ты меня отпустил...

— Не лги! Ты от меня убежала! Села к нему в машину и укатила! Верхом на этом рыжем еврейском быке!

— «Похищение Европы», — слабо усмехнулась она, и он увидел, как распрямились ее плечи, заблестели глаза, тверже стали ноги, словно она среди зеленой зыбкой воды нащупала опору. — Ты ведь сам меня отослал... Тебе это было важно... Хотел, чтобы мы уехали... Может быть, в этом была особая любовная хитрость... Я где-то читала, что слабеющие мужчины отдают своих женщин молодым, более сильным самцам и от этого получают эротическое наслаждение...

В ней, опустошенной и вялой, вновь приоткрылся источник энергии, злой и веселой. Эта сила стала пробуждаться, расти, вставать на гибкие когтистые лапы, выгибать гладкую упругую спину, готовясь к прыжку.

— Может, в этом состояла игра?.. Но уверяю, ничего у нас не было...

— Врешь! — Он поразился дребезжащему скрипучему звуку своего стариковского вскрика.

Он чувствовал, как срываются в нем все тромбы, взбухают жилы, вскипают старые ожоги и раны. Дурная черная

кровь кидается в глаза, в ноздри. Он лопается изнутри. Острая, едкая боль хлещет ему в желудок, в прорванные легкие, пузырится в ноздрах и в горле. И она, видя его страдания, веселится, радостно питается этим страданием, и ее глаза, обычно круглые, вдруг приобрели ромбовидную форму, как картежная масть, но не красная, а залитая мерцающей хохочущей тьмой.

— А вдруг ты прав?.. И я ему отдалась!.. Что здесь такого?.. Разве я не свободна?.. Разве я чья-то жена? Разве кто-то меня купил?.. Водил меня по дешевым ресторанам, оплачивал карусели в парке, купил какое-то платье... Говорят, что так английские путешественники покупали любовь туземных женщин. Бусы, ленты, кусочки цветной материи... Ты ведь у меня путешественник... Открыватель земель... Любимец туземных женщин....

Он пытался остановить себя, удержаться на краю оползня, ухватиться за последний куст, последнюю торчащую из склона былинку. Но склон оползал, вялым жидким языком сволакивался вниз, в черную пропасть, куда уже рухнули все выстроенные на горе дворцы, все возведенные храмы, все висячие сады и хрустальные цветные фонтаны. Оползень, черный, как вар, вялым парным языком стягивался вниз. И он, жалкий, обреченный, хватался за сухую былинку полыни, слыша, как трескаются ее слабые корни, как летит на голову грохочущий камнепад.

— Подожди, — бормотал он, пытаясь схватить ее за руку. — Не то говорю... Я не прав...

— Нет, ты прав!.. Ты все так говоришь!.. — Она смеялась, прямо, ярко глядя на Белосельцева своими ромбовидными глазами. — Я легла с ним в постель... Ну, это была не постель, а топчан... Старый, облезлый, с твердыми колючими пружинами... Не сравнить с твоей мягкой душистой тахтой... Ты ведь такой эстет... Цветные простыни, пересыпанные лепестками роз... Негромкая музыка... А этот,

как бык вавилонский, прямо на соломе... Грязный топчан... Какие-то рыжие пятна...

— Замолчи! — Он провалился в липкую черную пустоту, хватаясь за вырванный стебель полыни, свой последний букетик любви. — Ни слова!

— Почему?.. Я хочу говорить!.. Ты решил, что я — твоя вещь? Нашел меня на дороге, отмыл от грязи и сделал своей? Ты мой благодетель? Добрый папаша? Кормишь меня сказками, нравоучениями, книжной белибердой про рай земной, про вечное блаженство?.. Мне это не нужно. Терпела, а теперь не хочу. Я свободна. Пойду в проститутки, по объявлению, по вызову. Ко мне подкатывался один сутенер, сказал, что у меня товарные ноги... Или по найму поеду в Турцию, в публичный дом... Или в Ливан, в Париж, в Сингапур, там отличные дорогие дома терпимости... Я тоже хочу путешествовать, не тебе одному... Ты объехал мир и сеял повсюду смерть, а я поеду дарить любовь!..

Он понимал, что она больна и болезнь ее проявляется в том, что она радостно мучает его. Чем больнее и страшнее ему, тем веселее и счастливее ее ромбовидные колдовские глаза.

— Давай сейчас замолчим... Ты пойдешь к себе... Отдохнешь, а завтра на светлую голову мы встретимся и поговорим...

— У меня светлая солнечная голова!.. Не нужно никакого завтра!.. Слушай сейчас!.. Я проститутка!.. Ведьма!.. Законченная дрянь!.. Поехала к Натану сама!.. Он сказал, что у меня красивое платье... Спросил, какой фирмы... Я сказала, что забыла, пусть поищет фирменный знак... Он стал искать... На рукавах, на воротнике, на подоле... Я помогала ему, сама сняла платье... Так уже получилось, милый, что я постелила его на топчан... Оно немножко помялось... Я его потом постирала, видишь, оно уже почти высохло... Действительно очень красивое, удобное платье... Спасибо тебе!.. Там не было простыни, вот оно и сгодилося...

Она хохотала, приподнимая шелковый темный подол. В небе слепо полыхнуло, наполнило арку белым электричеством, словно влетела беззвучная шаровая молния. Ударила ему в грудь, выжигая сердце, превращая его в жгучую вспышку ненависти.

— Дрянь! — Он схватил ее за ворот, рванул, растерзал треснувшую легкую ткань. — Мерзкая дрянь! — ударил ее по лицу, слыша хрустнувший, хлюпнувший звук. Она отшатнулась, вскрикнула, придерживая на голом плече драный лоскут. Он побежал в арку, на улицу, под черное небо, в котором вдруг загорелся край тяжелой тучи, словно наклонялось к нему огромное, бутристое лицо негра, убитого под Лубанго шальной пулей из пролетавшего джипа.

Ослепленный, пораженный безумием, он мчался под землей в хрустально-стальном вагоне. Ухватился за хромированный поручень, по которому пробежали холодные электрические молнии. Вагоны неслись в черном туннеле, в непрерывном вираже, по спирали, унося его все глубже к центру земли, отрывая от поверхности, где случилось его несчастье, прошла его земная жизнь, во время которой он совершил какой-то страшный грех, неотмолимый проступок. За что и был наказан — ввергнут в ад. Пустой вагон, сделанный из стекла и металла, мчал его в преисподнюю. Он мчался под землю, к месту вечных мучений, на которые обрек его Бог. Вместо дивного Рая, чудесных плодов, наивных кротких животных, вместо золотистых волос и любимых розовых губ, на которые любовался у волшебной лазурной реки, он был ввергнут в ад. В железную сердцевину земли, где горел, как в кузнечном горне, красный адский огонь, тянулись со всех сторон красные шкворни и клещи.

Он мчался в метро в слепоте и безумии, ожидая, что вагоны вонзятся в чью-то страшную подземную пасть, чмокающую кровавой слюной. Но они остановились на озаренной мраморной станции. Не зная ее названия, заблудив-

шись среди перронов, матовых плафонов, неподвижных скульптур и мозаик, он поднялся на поверхность земли.

Китай-город был едва узнаваем при полыхании зарниц, словно в небе замыкались огромные провода, возгоралась ослепительная дуга. Площадь казалась натертой маслом, на котором подскакивали, перевертывались, скользили поздние пешеходы. Какая-то женщина хватала себя за подол, пыталась удержать на себе платье, но ветер, как насильник, срывал с нее одежду, заголял толстые ноги, обнажал круглые ягодицы, и она, раздетая, с криком, придерживая жирные болтающиеся груди, убегала во тьму. Старичок, похожий на пойманную в паутину муху, дергался, кувыркался, шевелил тонкими сухими конечностями, а в него ударяли со всех сторон порывы твердого ветра, держали на месте, и кто-то невидимый выпивал из него жизнь, а потом отпустил, и сухая оболочка улетела, как мусор. Памятник Кириллу и Мефодию озарялся ядовито-серебряным блеском, словно в головы святым всаживали электрические молнии, и их черепа и лица разбухали от боли, глаза выпучивались ртутным светом, из кричащих ртов валил белый дым. Одиноким автомобиль мчался сверху, от Старой площади, ошалело светя огнями. Ветер качал его из стороны в сторону, отрывал от земли. Машина на повороте качнулась, ее кинуло на парапет. Разбрасывая искры, с металлическим скрежетом она ушла в соседнюю улицу. За стеклом мелькнуло безумное, белое от ужаса лицо шофера. Там, куда умчалась машина, качались золоченые церкви, хрустели купола. С них, как зола, сыпалось сусальное золото, его гнало по асфальту, словно поземку, и вдали, в золотой метели, туманилась Красная площадь.

В чем был его грех, что возмездие преследовало его по пятам, там, под землей, у входа в преисподнюю, и здесь, на земле, где начинался вселенский ужас? В чем была его не-

искупимая вина перед Господом, что он так жестоко его карал?

Белосельцев пересекал площадь, как палубу в штормовую погоду, наклоняясь вперед, втыкая голову в твердый холодный ветер. Деревья сквера сгибались под ветром, словно их давило сверху чугунной плитой. Трещало, хрустело, будто по вершинам шел громадный бульдозер, вспыхивал синим ножом, срезал макушки, раскалывал до основания стволы. Задрожала под ногами земля, лопнули в глубине корневища, и дерево стало падать, вытаскивало наружу косматые земляные клочья. Открылась берлога, в ней ворочалось что-то косматое, черное, живое. В утробе земли что-то шевелилось, хрипло дышало. По всему скверу рушились и ломались деревья. В черных берлогах ворочались косматые проснувшиеся медведи. Вылезали, вываливали мокрые языки, косолапо бежали мимо Белосельцева один за другим вверх, к памятнику героям Плевны, к Политехническому музею.

Ему казалось, что Москва побиваема молниями, сокрушаема ураганом, посыпаема прахом. Господь разрушает город, валит его святыни и храмы, наказывает жителей за то, что живет среди них страшный грешник — он, Белосельцев. Это его ищут падающие с неба беззвучные молнии, его озаряют ослепительные вспышки, на него рушатся кривые стволы.

Ему казалось, если он угадает свой главный грех, если раскается в нем, испросит у Бога милости, то Господь остановит разразившуюся вселенскую бурю, пощадит Москву и ее обитателей. Быть может, пощадит и его.

Те августовские московские дни, когда рушилось государство, войска покидали Москву, слабые духом властители металась между Кремлем и Форосом и их ловили, как зайцев, вязали, отвозили в тюрьму, он, генерал разведки, не поднял по тревоге спецназ. Не кинул его по гранитным ступеням к белоснежному дому на набережной. Не взял под

стражу разрушителей Родины. Устранился, не выступил. Испугался тысячных толп. Отдал на растерзание страну.

Или позже, в дни октября, когда танки стреляли по Дому Советов, и тела баррикадников кровянили асфальт, и на синем экране кривлялись осатанелые лики, он не пришел к защитникам, не взял автомат, не стрелял по цепям десантников. Лишь издали смотрел, как мелькают под солнцем трассеры и летит над Москвой черная копоть пожара.

Он, Белосельцев, вскормленный государством, поставленный на защиту страны, не вступился за нее в трудный час. Отдал на поругание врагам.

Он бежал по Варварке, получая в спину удары огромного кулака. Ветер вдувал в каменный желоб твердые тромбы воздуха, в котором было трудно дышать, как под водой, а потом возникало безвоздушное пространство, и он задыхался в вакууме. Рассудок его был поражен. На куполах, при свете зарниц, сидели мохнатые, похожие на обезьян существа, вцепились в кресты, кидали сверху горсти золотых денег, и они рассыпались у него под ногами. Сверху, от крыш, свинченная ветром, прынула стая птиц. Ее разбило о землю, некоторое время он бежал среди трепещущих крыльев, переломанных черных перьев, давя ногами живое.

Ему казалось, что ветром его швырнет в небеса, проташит сквозь кровли, сквозь темные душные тучи, промчит сквозь клубки молний, сквозь черную, усыпанную звездами бездну и он, живой, взятый на небеса, предстанет перед грозным Судией, который спросит за самое страшное его преступление.

Он выбежал на Красную площадь. Ее вид был ужасен. Брусчатка ходила ходуном, пульсировала, как клавиши, словно в них давили огромные пальцы. По всей чешуйчатой черной поверхности ходили желваки и вздутия, как по утробе беременной женщины, в которой содрогался плод. Казалось, вот-вот у подножия Спасской башни откроется ло-

но и в слизи и сукрови появится страшный младенец — огромная, как пузырь голова, белые бельма, скрюченные мохнатые лапы. Ветер из неба, из бесконечных пространств, зародившись в самых темных углах Вселенной, раздувал до земли деревья на кремлевских холмах. Вырывал их с корнем, переносил через стену. Лопнули, осыпались два зубца. За ними треснула и стала валиться стена. Белосельцев с ужасом следил, как бежала по стене длинная ломаная трещина, словно стена не умещала в себе содержимого и кроме дворцов и соборов в Кремле появилось нечто еще, непомерно-огромное, взбухающее, раздвигавшее храмы, ломавшее стену. Колокольня Ивана Великого наклонялась, качалась, на ней ухали и стонали колокола.

Площадь проваливалась. Место, на котором держалась империя, подпятник, в который упиралась земная ось, раскалывались. Земная жизнь завершалась. Летели в небе кости царей, вытряхнутые из гробниц. Ветер выдавливал воду из реки до черного дна, на котором становился виден перевязанный проволокой, убитый накануне банкир. В небе, при вспышках зарниц, на красном петухе, как на мотоцикле, летели два еврея Шагала, блестя башмаками и золотыми цепочками.

«Господи, ну подскажи мне грех, за который столь страшно караешь! Назови мое злодеяние, за которое казнишь!»

Вместо ответа хлынул ливень. Словно взорвали плотины, и тяжелая, как свинец, вода рухнула на площадь, разбиваясь с шумом и громом. Под ноги ему упал косяк морской рыбы, перенесенный по небу. Рыбины бились, трескали, ходили на головах и хвостах, и их сносило к Васильевскому спуску. Проволокло со скрежетом остов утонувшей подводной лодки. И вдруг сквозь ливень из земли, из могилы Сталина, ударил столб света, как колонна, уходящая в небо. В кратких вспышках молний становился виден мавзолей,

прозрачный, как из стекла. В нем, среди красных роз, лежал Ленин.

И вдруг его осенило: он ударил Дашу, и этот удар вызвал гнев Господень, трясение земли и потоп. Этим ударом нарушилось равновесие мира, и мир стал падать. Москва погибала и рушилась от того, что он в своей гордыни и ревности нанес ей пощечину, и эта пощечина, как крик в горах, породила лавину крушения.

«Господи, покажи, что я угадал!.. Поддай мне знак!»

Знак был подан. Дождь сменился градом. Градины с костяным стуком, как бильярдные шары, ударяли в брусчатку, разбивались вдребезги. Несколько градин ударили его по спине, словно куски кирпича. Одна угодила в голову, оглушив. Его побивали камнями, но не как пророка, а как злодея и святотатца. Он прижался к стене ГУМа, глядя, как по площади скачут огромные градины, покрывают ее белым панцирем. Стало холодно. Наступила зима. Река замерзла, отпечатав на льду ямы и вмятины ветра. У стен, под елями, блестели сугробы. Ночной «Мерседес», вылетев из Спасских ворот, буксовал в сугробе, пульсировал лиловой мигалкой.

«Значит, я угадал!.. — радовался Белосельцев, дыша морозным паром. — И надо скорей домой... Позвонить... Попросить прощения... Восстановить равновесие мира...»

Он торопился к себе, на Тверскую. В него впивались невидимые руки, дергали за полы, не пускали. Подставляли ножку, и он больно шлепался на скользких наледях. На Дмитровке перед ним провалилась земля. Черная парная дыра вдруг стала открываться под ногами, и он едва отскочил на ломаные плиты асфальта, глядя, как сползает в ямину чья-то забытая машина и разверзается бездонный конус пропасти. У края, среди гнилых труб, провисших кабелей, открылся черный чугунный квадрат на ржавых болтах, из-под которого вырывался пар и слышалось глухое дрожание. «Черный квадрат» Малевича», — отшатнулся он от входа

в ад, от бездонного кратера, сворачивая в переулки. Выбежал на просторное место где-то в районе Лубянки. Здесь страшно, ярко горел дом. Ревели пожарные машины. Выпадали из окон охваченные пламенем люди. Тонкие лестницы тянулись в шар света.

Мокрый, продрогший, избитый градом, перепачканный землей и пеплом, он добрался до дома и кинулся звонить Даше.

Услышал голос Джулии.

— Пожалуйста, простите... Это я, Белосельцев... За поздний звонок... Нельзя ли Дашу?..

— Это вы, вы?.. Что вы сделали с девочкой?.. Что вы с ней сотворили?..

— Прошу вас, нельзя ли Дашу... Я потом объясню...

— Что вы с ней сделали?.. Воспользовались ее молодостью и невинностью... Обольстили... Надругались... Старый сатир!..

— Джулия, я вас очень прошу... Попросите Дашу...

— Она отравилась!.. Пришла от вас и наглоталась таблеток... Бедная моя девочка!..

— Как отравилась?.. Умерла?..

— Бедная моя девочка!.. Вы заставили ее отравиться!..

Вы преступник, садист!..

— Где она?

— В больнице... Я вызвала «скорую помощь», и ее увезли... Так мучилась, так страдала...

— В какую больницу?... Куда?..

— В Склифосовского. Моя милая, добрая девочка!..

Джулия говорила надрывным, рыдающим голосом, но Белосельцеву, потрясенному, опрокинутому, казалось, что она хохочет и ее ромбовидные глаза дрожат адреналиновым блеском.

Он кинулся вон из дома. Сел в свою машину, которая вдруг завелась. Полетел в Склифосовского.

Буря прошла, утягивая за собой в другие города и земли черный разорванный воздух, полыхающие зарницы, пучки молний, тяжелые, переполненные ливнем и градом тучи. Москва была мокрой, липкой, словно с нее содрали шкуру. На проезжей части валялись огромные отломанные суки. По обочинам, как завалы, громоздились вырванные с корнем деревья, раздробленные в щепы стволы, косматые земляные коряги. Машина мчалась сквозь путаницу сорванных проводов, некоторые из которых искрили, как бикфордовы шнуры. Людей не было видно. Но повсюду попадались обезумевшие, с горящими глазами собаки, словно оборотни, в которых превратились жители. Казалось, Москву разбомбили, но прошла над ней не армада бомбардировщиков, а упал и взорвался метеорит, расшвырял тысячи деревьев, повалил столбы. Асфальт и стены домов были посыпаны мельчайшим металлическим пеплом, от которого исходила едва заметная ядовитая радиация.

«Я виноват!.. — казнил себя Белосельцев, ужасаясь разрушениям, которые он причинил Москве. — Она умирала, и природа содрогалась от ужаса, теряя ее!..»

Он молил, чтобы она уцелела. Чтобы грех, который он совершил, отозвался не на городе, а только на нем, Белосельцеве. Подкатил к больнице. Навстречу, по эстакаде, съезжала «Скорая помощь», крутя фиолетовой вспышкой. Он кинул машину у входа, вбежал в приемный покой. На лавках у кафельных стен сидели люди, согбенные, с ободранными, окровавленными лицами, стенали, охали. Их поднимали под руки, уводили в тускло освещенный больничный коридор.

— К вам привезли больную!.. — Белосельцев обратился к пожилой сестре, которая что-то писала в толстую больничную книгу. — Она отравилась таблетками... Даша Княжая... Восемнадцать лет... — Он ждал, что сестра от него отмахнется, погонит прочь, обремененная заботами о пострадавших в буре людях. Но, видимо, вид у него был

столь несчастный и умоляющий, что пожилая женщина в белом колпаке посмотрела на него взглядом блокадницы, узнающей себе подобных. Полистала свой блеклый фолиант. Сказала:

— В отделении активной терапии... Четвертый этаж... На лифте... — Она указала куда-то в тусклый коридор.

Белосельцев попал на этаж, напоминавший огромный предбанник или прачечную. Под мертвенными люминесцентными лампами валялись комья мокрого перепачканного тряпья, стояли эмалированные грязно-желтые ванны с мутной жижей. Повсюду виднелись флаконы, жбаны, стеклянные трубки, клистиры. В палатах с распахнутыми дверями на железных койках корчились люди. Стонали, булькали, хрипели, харкали. Другие, трупно-синие, голые, неприкрытые, словно в морге, лежали, запрокинув лица к люминесцентным светильникам. Казались утопленниками, всплывшими при луне. Между ними ходили здоровенные санитары с волосатыми руками, с голой потной грудью. Звякали тазами, елозили мокрыми швабрами.

Белосельцев ужаснулся, подумав, что здесь, в этом аду, среди грубых мужиков, омерзительных зловонных ванн и сосудов оказалась его Даша.

— Скажите, — остановил он невысокого утомленного доктора. — Где-то здесь моя родственница... Княжая... Даша... Она отравилась таблетками...

Доктор взглянул на него все тем же взглядом блокадника, вынужденного делиться с ближним ломтиком хлеба. Устало сказал:

— В промывочной... В тяжелом состоянии...

Белосельцев вошел в палату в тусклом мокром кафеле, отражавшем яркие обнаженные лампы. Посреди палаты стоял длинный стол, накрытый клеенкой. На столе, спиной вверх, голая, под слепящими лампами, лежала Даша. Санитар, огромный детина, ставил ей клизму, яростный, весе-

лый. Держал в руках стеклянный, похожий на шприц инструмент. Давил рукоять, вгоняя в дрожащее тело воду сквозь хромированный длинный штырь. Белосельцев видел, как напрягаются мускулистые кулаки медика, как убывает в шприце вода, как мучается, содрогается Даша.

Это зрелище было ужасно. Напоминало все того же Босха, иллюстрации к Дантову «Аду». И мученицей под сводами ада была его Даша, а мучителем был не этот здоровенный детина, а он, Белосельцев, кинувший ее на эту мерзкую розовую клеенку, среди липкого кафеля, жбанов, флаконов, тошнотворных хлопьев и запахов.

Ее ноги были уродливо расставлены. Спина болезненно искривлена. Длинные волосы свалились и неопрятными старушечьими космами свисали со стола. Он не должен был на нее смотреть. Не должен был видеть ее срам, позор и унижение. Он помнил ее восхитительное обнаженное тело, когда она пробиралась сквозь вишневые кущи, тянула загорелую руку к созревшим ягодам. Помнил ее горячее смугло-блестящее плечо, к которому пристали солнечные песчинки. Помнил ее розовый локоть с резным отпечатком травы. Прелестная, перламутровая, среди облаков, зеленых лугов, она приближалась к нему, ступала в синюю воду, щурилась солнечными глазами, улыбалась розовыми губами. Он держал ее в объятиях, слыша, как река касается их обоих прохладными летучими струями, целовал у ключицы ложбинку, полную блестящей воды.

Теперь ее чудное тело было осквернено. Над ним надругались. Санитар что-то весело и цинично сказал другому, выдирая из Даши блестящий штырь. И тот другой, молодой, ловкий, с длинными, как у обезьяны, руками, подставил эмалированный таз, подтолкнув его брезгливо ногой.

И, видя ее оскверненное тело, его смрад и позор, Белосельцев вдруг почувствовал, как остро любит ее, как бесконечно она ему дорога, какая щемящая боль и нежность в

нем к ней, его любимой и ненаглядной. Стоя посреди палаты, молил Бога, чтобы она уцелела. Отдавал ей свои силы и жизнь. Обращал к ней, лежащей ничком на мокрой клеенке, свои упования, благоговение, молитвенные слова, обещая Богу, если она уцелеет, принять безропотно любое его наказание. Давал обет отказаться себе во всех удовольствиях, лишиться себя всех наслаждений. Уйти в монастырь. Поставить на берегу холодной северной реки обетный крест. Посвятить остаток дней тяжким трудам и молитвам. Лишь бы Даша осталась живой.

Вошел врач. Щупал Даше пульс. Прикладывал к ее худым лопаткам тоненькую слуховую трубку.

— Доктор, как она?.. — умоляюще спросил Белосельцев.

— Опасность миновала. Очень слаба. Душевное расстройство. Желудок-то мы ей промыли, а вот кто ей душу промоет?.. Жаль, наша молодежь пропадает... — И он посмотрел на Белосельцева пронизательными, усталыми глазами божка, ведающего концы и начала.

Глава четырнадцатая

Остаток дня, до туманного знойного вечера, они катили мимо сел, пальмовых роцц, рисовых полей с первыми редкими пахарями. То влетали в предпраздничные толпы с флагами, лотками, огромными, из папье-маше, пустотелыми куклами. То вновь оказывались среди волнистых отступающих гор, пернатых, млеющих пальм. День тянулся нескончаемо. Казалось, машина, подскакивая на ухабах и выбоинах, тянет за собой невидимый огромный прицеп, в котором разместилась поляна, сыплет искрами подбитый танк, мчит-ся на горящем быке мальчишка и лежит на полу убитый доктор, в очках, с задранной черной бородкой. Белосельцев чувствовал, как следуют за ним по пятам эти видения, не

отпускают, больше никогда не отпустят. Все жизненные силы и соки окаменели, остановились, словно натолкнулись на огромный, закатившийся в грудь валун, вздыбились и замерли, распирая невыносимым тупым давлением.

Они въехали в вечерний, красно-солнечный Сиереап, добрались до отеля, огромного, ветшающего дворца. На-спех простились, разбрелись по душным просторным номерам с мраморными ванными и позолотой, помнящим богатых туристов из Америки и Европы. Белосельцев медленно и брезгливо стягивал с себя потную, грязную, пропитанную кровью и копотью одежду, словно сдирал обожженную кожу. Кидал ее на пол, оставаясь голым. Но и голое тело, в ссадинах и комариных укусах, было покрыто коростой, исходило зловоние, запах солярки, медикаментов и крови.

Шлепая по каменным плитам грязными стопами, он пошел в ванную, глядя на блестящий кран, с ужасом думая, что в нем не окажется воды. Повернул вентиль, хлынула обильная струя. Включил душ, встал под теплый шумящий водопад.

Вода бежала по голове, плечам, смывала пот, пыльцу ядовитых растений, ружейный нагар, пленку сгоревшей солярки. Окружала его избитое тело тончайшей сверкающей оболочкой, словно помещала в защитный стеклянный состав, заслоняя от внешних воздействий, растворяя его тоску и растерянность.

Утром он проснулся и медленно, не сразу осознавал реальность огромного пустынного старомодного номера, с альковами, статуэтками и пейзажами в золоченых рамках. Из-за штор бледно и косо сочилось солнце. Снаружи с металлическим эхом играла музыка. Этот мембранный, резонирующий в громкоговорителях звук породил мгновенную иллюзию московских праздничных толп, поющих на углах репродукторов. Но это длилось мгновение. Сиереап, буддийский Новый год.

Он снова принял душ, побрился. В его саквояже оставалась последняя чистая рубаша. Осторожно облачился, чувствуя, как на локтях натянулись и заболели ссадины. Вышел в коридор, в полутемный холл в надежде увидеть Сом Кыта. Но того еще не было.

Администратор отеля, немолодая, с бывшей красотой женщина, улыбнулась из-за стойки печально. На стойку вскочила длиннорукая сутулая обезьянка. Зацурилась, замигала на Белосельцева, стала грызть ногти. Женщина тронула обезьяну гибкой, еще красивой рукой. Снова слабо улыбнулась Белосельцеву.

Он вышел из отеля. С высокого каменного портала осматривал пустынную гулкую площадь, наполненную пружинно-металлической музыкой. Далеким пестрым пунктиром катили велосипедисты. Вьетнамский патруль двигался в тени пальм.

Сзади кто-то тронул его за локоть. Он оглянулся. Обезьяна, бесшумно подкравшись, вложила свою чернопалую руку в его ладонь. Его поразило это человекоподобное прикосновение сухой горячей руки, в котором было сочувствие, утешение. Так и стояли рука об руку. Обезьяна переливала в человека свои безымянные, от природы текущие силы, исцеляющие, успокаивающие. Одна жизнь помогала другой. Потом обезьяна отняла свою лапу, забыла о нем, кособоко покатила по ступеням. Мягко, с чуть слышным шлепком, скакнула на пальму, тонко заскулила, грозя кому-то невидимому.

Он поднялся в номер. Тоска и растерянность вернулись. Он улегся плашмя на кровать, лежал лицом вверх, стиснув веки, чувствуя ноющую боль внутри, слушая непрерывную, назойливую азиатскую музыку, похожую на яростное визжащее колесо. Ему казалось абсурдным пребывание здесь, в безвкусно роскошном номере, с неостановимым, необратимым проживанием минут, которые в конце

концов приведут его к смерти, где наступит безличностное, бессмысленное существование первичных молекул, потраченных на сотворение тела, а душа, как теплый выдох, не согреет ледяной неодушевленной природы. И ему не дано узнать то вещее слово, ту лучезарную, доходящую до Бога молитву, не дано совершить волшебный благой поступок, дарующий бессмертие, продлевающий существование по ту сторону тьмы.

Он выбрал войну и политику. Профессиональный разведчик, отдал себя во власть грозным, разрушительным силам, связал с ними свою волю, судьбу. Эти жестокие силы повели его по миру, привели в этот гостиничный номер и как бы на время оставили, отлетели. Смотрят, выжидают, что станет он делать, отпущенный на свободу, лежащий навзничь на скомканном, из китайского шелка, покрывале, на лазоревых птицах, цветах.

Он сделал, что должен был сделать. Выполнил разведзадание. Собрал уникальные данные о железной дороге, о ее способности превратиться в магистраль, питающую большую войну. В памяти, в блокноте, занесенные потаенными кодами, хранятся данные о мостах, о локомотивных депо, о топливе и воде, высказывания вьетнамских военных о продлении боевых операций, картины уничтожения базы. Эти сведения пополняют копилку подобных сведений, добытых из зон иных конфликтов, с полей иных сражений. С годами увеличат непомерно свой объем и свой груз, но не приведут к простому и ясному знанию, объясняющему жизнь.

Надо прервать эту гонку, прервать накопление сведений. Оказаться одному в какой-нибудь тихой избе и, глядя на желтые лютики, на синюю русскую реку, понять, зачем родился и жил. Что есть жизнь, данная ему то как свет, то как бойня. То как любовь, то как великая печаль и уныние.

Он лежал, чувствуя сквозь веки бледное жидкое солн-

це, без прошлого и без будущего, на шаткой ускользающей грани свободной воли, не умея ею воспользоваться.

Он вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. Открыл глаза — никого. Снова закрыл. И снова ясное ощущение, что комната не пуста, что в дальнем полутемном углу, где висит зеркало, кто-то присутствует и наблюдает за ним. И этот кто-то, погруженный в серебристую глубину стекла, — он сам, только в старости, проживший долгую жизнь, смотрит из будущего на себя настоящего, лежащего на шелковых птицах и листьях. Он видел себя стариком, сухощавым, костистым, с пепельным, блеклым лицом, сжатыми тесно губами, с серыми, тревожно глядящими, окруженными тьмой глазами. Этот старик изучал его, молодого, словно хотел понять, что же он, молодой, совершил такое неверное, что в старости, у двери гроба, ожидает его тусклая тишина, наполненная вялым дымом сгоревшей жизни.

Это было так явно, так остро, что Белосельцев поднялся, потянулся к зеркалу. В стекле никого. На спинке кровати, резной, с маленьким красным зевом, изогнулся дракон. К шторе тянулся косой улетающий луч, и казалось, кто-то незримый пробежал по лучу и пропал.

В дверь постучали. Вошел Сом Кыт, торжественный, в нарядной рубаше.

— С Новым годом! — сказал он, кланяясь Белосельцеву от порога. — Я пришел вас поздравить. Пожелать вам, дорогой друг, здоровья, исполнения ваших желаний, благополучия вашим близким.

Он извлек из нагрудного кармана, протянул Белосельцеву перламутровый инкрустированный ножичек на цепочке. Белосельцев, растроганный, принял подарок. Радуюсь приходу Сом Кыта, благодарный ему за эти торжественные старомодные поздравления, достал из сумки новую, с золоченым пером, паркеровскую ручку, одарил ею Сом Кыта. Оба стояли, держа подарки, улыбались друг другу.

— Через несколько минут — Новый год, — сказал Сом Кыт. — Спустимся вниз, посмотрим, как встречает его народ.

Они вышли из отеля на каменный портал. Площадь была пустой. Музыка стихла. Вьетнамский патруль медленно двигался в тени пальм.

— Ну вот сейчас. — Сом Кыт следил за секундной стрелкой часов. — Сейчас — Новый год!

Вдали, за деревьями, за красными черепичными кровлями, прозвучала слабая очередь. Ей откликнулась другая, погромче. В разных концах города застрекотало беспорядочно, часто. Стрельба усиливалась, охватывала кольцами город. Над мохнатыми деревьями полетели пульсирующие колющие трассы, зачертили небо. Зашипели сигнальные, бледные на солнце ракеты. Весь город сотрясаясь, трескался, лопался от очередей, словно катились уличные бои. Рассыпанные по городу гарнизоны и патрули палили яростно в небо в честь наступившего буддийского Нового года. Близко, под пальмами, оглушая, ударила трескотня — это вьетнамцы, подняв автоматы, разряжали свои магазины, издали улыбались, кивали им, стоящим на ступенях отеля. Белосельцев, оглушенный, смеялся, смотрел на Сом Кыта, и тот смеялся. Город свивал над собой букеты красных и зеленых, медленно парящих ракет, чертил молниеносные перекрестья автоматных и пулеметных трасс. Реже, реже — и смолкло. Вынеслись велосипедисты и дети, площадь запестрела женскими длинными одеждами.

— Я хотел сообщить вам. — Сом Кыт церемонно поклонился. — Нас ждет новогодний обед. Полагая, что во время поездки вас могла утомить азиатская пища, я на свой страх и риск заказал европейскую кухню. Стейк и овощи. Надеюсь, я вам угодил.

— Я тронут, дорогой Сом Кыт. Вы вспомнили, что я европеец, в то время как сам я об этом стал забывать. Стал забывать, что в сумке у меня прячется еще одна бутылка вод-

ки. Как бы мне хотелось, дорогой друг, чтобы вы изменили своей обычной привычке и выпили со мной за компанию.

— В честь Нового года я выпью немного водки.

Они обедали одни в пустом, огромном, печальном зале с запыленными зеркалами и люстрами. Официант, облаченный в заглаженный белый жилет, прислуживал им с выражением грусти, давая понять, что в прошлом его услугами пользовались великие люди. Но эта чопорная грусть официанта и их одинокая трапеза веселили Белосельцева. Тем более что горячее кровяное мясо розовело на тарелке, пестрели наклейки на бутылочках с соусом, кудрявился зеленый плюмаж салата.

Белосельцев налил рюмку водки:

— Дорогой Сом Кыт, что пожелать вам в эти первые минуты Нового года? Выскажите свои пожелания, и я буду просить судьбу, чтобы она помогла им осуществиться.

Сом Кыт поднял рюмку и, растроганный, очень серьезно произнес:

— В эти первые минуты Нового года у меня нет личных желаний. У меня вообще почти не осталось личных желаний. Все мои желания связаны с судьбой моего отечества. Пожелаем ему мира, отдохновения, урожаев в полях, младенцев в семьях. Пусть в Новом году тьма отступит от наших порогов и от наших границ. Ведь именно к этому, дорогой друг, мы с вами оба стремимся. Затем и пустились в дорогу. Если вы мне позволите, пожелаем в этом Новом году счастья моей дорогой измученной родине!

Они чокнулись, выпили во благо стране, шумевшей за шторами городским гуляньем, мерцавшей развешенными вдоль palm цветными фонариками.

Белосельцеву было хорошо сидеть за чистой скатертью, есть вкусное мясо, пьянеть, глядя на торжественное лицо Сом Кыта.

— Дорогой Сом Кыт, — сказал он, испытывая нежное чувство. — Я рад, что судьба нас свела. Мы многое пере-

жили за эти дни, многое перечувствовали. Поверьте, эту поездку, наши дружеские беседы я никогда не забуду.

— В свою очередь отвечу вам встречным признанием. Я наблюдал, как вы работаете, как не щадите себя. Я замечал на вашем лице сострадание к моим соотечественникам, вы горевали, когда встречались с людским несчастьем. Может быть, вы журналист, а может быть, нет. Но вами движет благо. Вы не хотите, чтобы здесь, на нашей земле, продолжалась война. Не хотите, чтобы она со скоростью железнодорожных составов приблизилась к границе Таиланда и над Кампучией снова полетели американские «летающие крепости», сжигая города и деревни. Как мог, я вам помог. Помогал моей многострадальной родине.

Они сидели, смотрели сквозь окна, как шумит толпа, несет разноцветные флаги, и Белосельцеву было легко на сердце. Сом Кыт, умиленный, утративший обычную сдержанность, говорил:

— Я мечтаю, что, быть может, получу назначение в Париж, и мы уедем туда с женой. Я увижу в подлинниках моих любимых импрессионистов, увижу Дега, Ренуара. Мы станем гулять с женой по бульвару Капуцинов, по Елисейским полям, по набережным Сены. Ужинать в маленьких уютных кафе. Пномпень раньше называли Парижем Востока. Здесь все любили Париж, все ему поклонялись. Я хотел бы прожить остаток жизни в покое и мире. Искупить совершенные мною дурные поступки, чтобы потом, после смерти, в другой моей жизни, я бы не разлучался с женой и мы встретились бы с нашими детьми.

После обеда, немного отдохнув, они вышли в вечереющий город, двигались в толпе по переполненной улице. Белосельцев чувствовал жар от бесчисленных встречных лиц. Испытывал безотчетное, длащееся блаженство. Женщина с лилово-черными волосами и приколотым к блузке цветком встрети-лась с ним глазами, улыбнулась, угадав его состояние. Двое

юношей проводили его долгими взглядами, оглянулся — они все еще смотрели. Солдат-кампучиец, без оружия, пил сок, опустил стакан и посмотрел на него. Он радовался, что замечен ими, что их лица обращаются к нему, следят за ним. Мимолетно с каждым он делился своим блаженством.

Рыночная площадь, уже вечерняя, хлопотала толпой, взрывалась возгласами, озарялась прожекторами, множеством масляных мигающих светильников на лотках и колясках. Люди ели, пили, брели, бежали, скакали, свивались в хвосты и очереди, в жужжащие пчелиные сгустки. Вид веселящегося люда, не помнящего прокатившихся бед, отзывался в Белосельцеве жарким желанием продлить их праздник, заслонить их собой, защитить.

— Хорошо, Сом Кыт?

— Хорошо!

В центре площади были устроены аттракционы. Народ густо окружал место игрищ, ликовал, стenal, замирал, снова охал и голосил наивным восторгом, детскими огорчением или радостью.

Их пропустили вперед, кивали, кланялись, вовлекали в игру. Они оказались перед дощатым белым щитом, на котором карикатурно, аляповато были нарисованы фигуры Пол Пота, Лон Нола, Сианука и Дяди Сэма. Белосельцев вспомнил художника из Баттанбанга, его искусство жило, веселило, действовало.

В руки им вложили по два пернатых заостренных дротика, и Сом Кыт, прицелившись, ловко, точно послал их в Пол Пота, пронзил ему лоб и жирную, исколотую попаданиями грудь. Белосельцев неумело, неловко метнул свой дротик и оба раза промахнулся. Его утешали, предлагали бросить еще.

Тут же, в соседнем скопище, они наблюдали народную игру, протекавшую в деревянном, похожем на просторную кадку загоне. В стенках кадки были выпилены круглые

норки, кончавшиеся сетками, как бильярдные лузы. За пределами кадки стояла плетеная корзина с живыми крысами. Хозяин игры длинным сачком выхватывал из корзины крысу, помещал ее посреди кадки, накрывал колпаком. Играющие выбирали каждый свой номер, делали ставки, сыпали на поднос бумажные деньги. Хозяин снимал с испуганного, сжавшегося зверька колпак. Крыса, ослепленная светом, оглушенная гамом, сидела, мигала, шевелила усами. Толпа начинала свистеть, улюлюкать, кидала в крысу щепки. Та испуганно металась, рыскала по загону, пока не толкалась в лузу. Нырjala в нее, билась, запутывалась в сетке, а толпа ревела, как в римском Колизее, и счастливцев, в чью лузу нырнула крыса, гордый победой, сгребал с подноса бумажный денежный ворох.

Им предложили сыграть и в эту игру, но они отказались. Гуляли, ели сласти. К полуночи, усталые, разморенные, вернулись в отель.

— Вы сказали мне, что у вас есть увлечение — ловля бабочек. — Сом Кыт провожал его до дверей. — Завтра у нас свободный день. Мы можем поехать на природу, и там вы половите бабочек. А потом мы отправимся в Ангкор.

— Спокойной ночи, — прощался Белосельцев. — Еще раз с Новым годом.

Он лежал в постели, слыша, как не умолкает ночное гуляние, звучат людские голоса, женский смех. Любил их всех, неведомых, веселящихся под огоньками и флагами.

Глава пятнадцатая

Когда миновала угроза жизни, Дашу выписали из больницы, но он ее не видел. Джулия не подзывала ее к телефону. Благодаря хлопотам Белосельцева ее показали опытному психиатру и по его совету поместили в клинику. Но не в

страшные палаты к безумцам, а в отдельный тихий корпус, окруженный деревьями, где выздоравливали перенесшие потрясения люди. Под присмотром врачей их лечили таблетками, несильными уколами, снимая потрясения, возвращая к нормальному существованию.

Все его помыслы были о ней. Перенесенный им ужас, чувство вины, преступления, за которое расплачивалась вся Вселенная, сменились непроходящей болью и нежностью. Их он испытывал ко всему живому: к незнакомым людям, к домам, к воронам и собакам, к туманному небу, в котором витала близкая осень. Любимый человек был болен, но жив. Был недоступен для него, но присутствовал в каждой частичке воздуха, в каждом луче желтоватого холодного солнца.

Москва, по которой он перемещался, иногда в надуманных хлопотах, иногда в бесцельных скитаниях, постоянно напоминала о ней.

Тверской бульвар с облупленной тяжелой скамейкой, чугунным фонарем и корявым дубом был местом, мимо которого он каждый раз проходил, присаживаясь на секунду, ощущая ее присутствие в листве, в тенистой аллее, в желтизне ампирного особняка. Когда выходил к Москве-реке и видел белый, лениво плывущий трамвайчик, казалось, что на кораблике среди пестрых пассажиров они оба любят с палубы на кремлевские золотые соборы, на стальную арфу Крымского моста, на медного, непрочного, напоминающего узорную самоварную трубу Петра Первого. Если он проезжал по набережной мимо Парка культуры, то аттракционы, карусели, плавно летающая ладья вызывали у него головокружение, похожий на обморок сладкий дурман, в котором присутствовала Даша. Москва, ее улицы, площади, фасады домов, ее памятники и дворцы превратились в непрерывное напоминание о ней. Он страстно, жарко вызывал эти воспоминания, молился о ее исцелении. Москва

превратилась в икону, на которой средствами архитектуры была изображена она. И он молился на эту икону, выискивая поводы, чтобы побывать возле Новоспасского монастыря, или Третьяковки, или у памятника Достоевскому, или на шатком поплавке Патриарших прудов, где на зеленых водах, оставляя стеклянный след, плыл лебедь.

Наконец, через неделю, когда в очередной раз он позвонил Джулии, чтобы справиться о Дашином здоровье, та сказала, что он может навестить Дашу. Даша спрашивала о нем, хочет его видеть. В тот же вечер, нагрузившись фруктами, соками, баночками с икрой, страшно взволнованный, он заторопился в клинику.

Сестра проводила его в комнату для посетителей, напоминавшую детский сад. Аквариум с рыбками. Цветы в горшках. Какие-то игрушки, коврики, расшитые салфетки. Все аккуратно расставлено и застелено, словно воспитатели после бурной детской игры тщательно восстановили порядок. Он сел на диван, поставил рядом кульки с приношениями, волнуясь, ожидая увидеть ее в дверях. Но она не появлялась. Плавали рыбки. Краснели на салфетках вышитые яблоки. В большом здании не было слышно звуков, словно стены и потолки были выложены мягкими звукопоглощающими коврами.

Его напряженное ожидание сменилось рассеянными воспоминаниями о времени, когда бабушка водила его в детскую поликлинику, где стоял похожий аквариум, плавали красные вуалехвосты и висел большой портрет Сталина. Бабушка куда-то ушла, он остался один, и навек запомнился этот миг, словно ударила ему в голову острая, прилетевшая из мироздания частица. Подплывший к стеклу глазастый вуалехвост, дверной косяк, выкрашенный масляной краской, и портрет Сталина в раме из золоченого багета.

Он не услышал, как появилась Даша. Она вошла, потупясь, на него не глядя. Волосы ее были небрежно зачесаны.

На плечах было просторное теплое пончо, на ногах домашние тапочки. Лицо казалось припухшим, утомленным, и, пока она шла, чуть заметно покачиваясь, он все искал ее взгляд, хотел увидеть таинственную зелень ее прозрачных глаз.

Подошла, села, все так же на него не глядя.

— Здравствуй, — сказал он, поразившись слабости собственного голоса, треснувшего в глубине.

— Здравствуй, — ответила она глухо, провела рукой по лицу, словно смахивала с него паутину.

— Ты так долго не шла. Я заждался.

— Я спала. Меня разбудили. Все время сплю. Принимаю снотворное.

— Как себя чувствуешь?

— Хорошо.

Они замолчали. Он не знал, о чем говорить. Она была сонная, вялая, потухшая внутри. Пропало исходящее из нее излучение, которым он так восхищался. Исчез лучистый солнечный свет, словно дневная яркая комната наполнилась синеватыми вечерними сумерками, в которых едва был заметен букет осенних цветов. Ее руки бессильно лежали на коленях. Голова наклонилась. Во всем ее облике была слабость, надломленность и сонливость.словно ее усыпили, околдовали и она, сидящая рядом, все еще спит. «Спящая царица», — подумал он с болью, которая вдруг сменилась такой к ней нежностью, такой отцовской, бескорыстной, щемящей любовью, что он отвернулся, боясь подступивших слез.

— Я тебе фрукты принес... Яблоки, виноград... Вот соки... Вишневый, малиновый... Немного икры... — Он зашуршал пакетом, показывая ей литые виноградные гроздья.

Она слабо взглянула:

— Спасибо.

Он не знал, что ей сказать, как ему быть, как ее разбудить. Как развеять в ней эти дымные синие сумерки. Как

вернуть в нее свет, мерцающую влажную зелень ее любимых глаз.

— Чем ты занимаешься здесь? Как развлекаешься?

— Все время сплю. Чувствую себя очень усталой.

Он был ей отец, а она ему — дочь, которую поразила болезнь. И он был готов оставаться подле нее, ходить за ней день и ночь. Подносить лекарства, класть ладонь на горячий лоб, накрывать потеплее одеялом, подпихивая края ей под ноги. Рассказывать сказку про Кота-Баюна, петь тихим голосом колыбельную. Ту, из Лермонтова, что напевала ему бабушка во время болезни. Про злого, ползущего на берег чеченца, про отца, закаленного старого воина. Он и есть ее отец, старый, усталый воин, израненный в сражениях. Вернулся к ней, к своей милой дочери, чтобы быть рядом с ней неотлучно, целить ее и спасать, защитить своей мудростью и любовью.

— Я буду приходить к тебе, можно? — Робея, он взял ее руку, прохладные бессильные пальцы.

— Приходи, — сказала она.

— Что тебе принести? Может быть, книги? — Он целовал ей руку, наклоняясь к мохнатому войлоку ее пончо, слыша запахи лекарств.

— Ничего не надо. Я все время сплю.

— Выздоровливай поскорее. Люблю тебя.

— Я пошла.

Она поднялась и ушла, слегка покачиваясь, как лунатик по высокому карнизу. Он смотрел ей вслед, молил, чтобы она не сорвалась с высоты. Добралась до своей постели и заснула. И он будет гадать, как ее разбудить. Отправится к мудрецам и священникам, обратится к колдунам и шаманам, чтобы те указали ему источник живой и мертвой воды. Он принесет сюда волшебную воду, брызнет ей на лицо.

Он пришел к ней через день, принес букет красных роз, полураспустившихся, сочных, на длинных темных стеблях,

о которые кололся, перебирая тяжелые, благоухающие цветы. Они обрадовали ее, он это видел. Она чуть улыбнулась, приблизила лицо к букету, пробираясь к его аромату сквозь больничные запахи. Устало откинулась на диване, глядя на него печально и виновато.

— Совсем нету сил. Будто мою жизнь вынули и унесли. Как рыба, у которой вырезали нутро. Пустая, без сердца, без внутренностей, но все еще плавает, дышит, вращает глазами.

— Ты выглядишь лучше. Ты мне нравишься.

— Здесь, за окном, большое дерево. На него прилетает ворона. Садится и каркает. Прибегает собака, лает на ворону. Они бранятся, но не слишком. Ворона говорит собаке что-то ироничное, и собака ей отвечает тем же.

Он чувствовал, что в ней появляется интерес к жизни. К вороне, к собаке. Может быть, даже к нему. Но он боялся, что этот интерес напомнит ей о пережитом, об ужасном. Оттолкнет ее. И он прятался за пустяки, которые торопливо, со смешками, рассказывал.

— Представляешь, пошел на рынок, ну там огурчики, помидорчики разные... Смотрю, грибы продают. Один мужичок за прилавком, а перед ним гриб с горю... Ей-богу!.. Где, говорю, нашел?.. А он говорит, под Яхромой. Второй еще больше был, да червивый... Вот выздоровеешь, поедем под Яхрому беленькие собирать...

Она напряженно слушала, словно пыталась понять, о чем он ей говорит. Так, должно быть, слушали пришельцев обитатели островов в океане, когда к их берегам приставали фрегаты и люди в камзолах сходили на берег, пытались объясниться с туземцами.

— У Кропоткинской набрел на ресторанчик... Уютный... Прямо в ресторане, сквозь крышу, дерево растет... Рядом стена кирпичная, старый московский дом, а с него

водопад, настоящий... Специально зашел, кухню отведал... Хорошая... Навестим с тобой ресторанчик....

Она внимательно слушала, сжав брови, словно вспоминала значение слов, которые когда-то слышала.

Он отвлекал ее пустяками, а сам, воспользовавшись тем, что она заслушалась, взял ее руку, склонился. Целовал ее пальцы, перебирал, дышал на них, касался губами. И вдруг почувствовал, как она положила руку ему на голову. Замер, боясь спугнуть ее. Словно преданная собака, ошарашенная хозяином, чувствовал благодарно ее прикосновение. Желал, чтоб оно длилось вечно. Чтобы эта счастливая неподвижность не нарушалась ничем.

— Спасибо тебе, — сказала она.

— Что тебе принести в следующий раз? Может быть, альбом Серова? «Девочка с персиками»... Или стихи Гумилева... «Раз услышал бедный абиссинец, что далеко на севере, в Каире...» Или наушники с музыкой?

— Принеси мне цветные фломастеры и бумагу. Хочу рисовать.

Он обрадовался этой просьбе. Болезнь ее отступала, как ледник, унося с собой обломки и мусор случившейся катастрофы. И вот-вот из-подо льда, в сочном горном ручье, пробьется острый зеленый побег альпийского цветка.

Он в этот же день купил комплект фломастеров, альбом для рисования. Принес ей, услышав слова благодарности. Уходил от нее в сумерках, оглядываясь на горящие окна. Думал — там, за желтым окном, она, его милая, раскрыла альбом. Проводит красную, зеленую, синюю линии. Рисует радугу.

На следующий день он не пошел к ней в больницу, зная, что туда направляется Джулия. А все время потратил на уборку квартиры. Скоро она покинет больницу, и он привезет ее в свой дом. И быть может, она у него останется, станет жить с ним вместе.

Он отводил ей гостиную. И первое, что сделал, повесил

у изголовья кровати большое зеркало. Женщина нуждается в зеркале, рассуждал он, укрепляя на стене тяжелую раму, наполняя комнату драгоценным сверканьем. Утром она станет смотреться, расчесывая свои длинные волосы, пропуская их сквозь просторный гребень. Положит на веки легкие зеленоватые тени. Чуть подкрасит губы. А вечером, раздеваясь, усталым движением распустит волосы, разольет их по голым плечам. Снимет и положит в стеклянную розетку золотое колечко с камушком, сережки, серебряный браслет.

Повесив зеркало, он принялся за книжную полку. Снял и перенес в кабинет книги по военному искусству, политические трактаты, мемуары разведчиков, военных, политиков. На освободившееся место поставил альбомы по искусству: художников Возрождения, русскую икону, Сурикова, Врубеля, Петрова-Водкина. Спрятал подальше Босха, замуравал его в толщу книг. Пускай она вечерами под лампой, под мягким абажуром, перелистывает страницы, а он издали, из кресла, станет за ней наблюдать, угадывая, что она видит. Ангелов Джотто, или псковскую Параскеву Пятницу, или ночные чертополохи Врубеля, или «Купание красного коня».

Он остался доволен. Поставил на стол хрустальную вазу, чтобы в ее комнате постоянно находились цветы.

На другой день направился к ней. Нес свою тайну, зная, что о ней не обмолвится, приберегал ее, как сюрприз.

Она появилась все в том же фиолетовом пончо. Подняла на него глаза, торопилась к нему. Еще издали он заметил, что лицо ее утратило бледность, на нем обозначился румянец, губы были приоткрыты. Она казалась взволнованной. В руках у нее был альбом для рисования.

— Смотри, — сказала она, едва поздоровавшись. Уселась рядом, торопливо открыла альбом. — Все эти два дня рисовала.

Первый рисунок поразил его. Среди темной неодуше-

ленной Вселенной зародилась яркая животворная сердцевина. Сияющее золотое яйцо, разгоравшееся, испускавшее из себя концентрические окружности жизни, словно круги на воде, возмущенной внезапным ударом. От этого таинственного удара, от прикосновения Бога началось колебание мира, вибрация Мироздания. Потекли разноцветные волны, все дальше от центра, одухотворяя черно-лиловый безжизненный мрак, проникая в отдаленные окрестности мира. И хотелось понять, кто нанес этот животворный удар. Как далеко расплывутся волшебные волны.

— Ну как? — спросила она. — Нарисовала сразу, как ты ушел.

Она перевернула страницу. На ней было нарисовано серебристое светило, повисшее в черно-синем пространстве. Напоминало луну в мертвенно-металлическом свете. Забытый Богом, сотворенный небесный плод, оторвавшийся от живой пуповины, плавающий в пустой безбрежности. В эту луну, острое, как гарпун, стремительное, как разноцветная комета, радужное, как павлинье перо, вонзалось острие. Пробивало застывшую оболочку, проникало внутрь. Жалило, оплодотворяло, вбрасывало в белую, мертвенную материю яркий пучок энергий. И металлическое неживое светило начинало жить, трепетать. В нем появлялся зародыш. Оно взбухало. В черно-синей вселенской ночи разгоралась заря, сулившая бесконечные рождения, бесчисленные превращения, среди которых, быть может, были задуманы он и она, его нежность, его страдание. Все предвосхитило небесное семя, упавшее в лоно планеты.

— А это нарисовала ночью. Это мне приснилось. Вышла в коридор, где горел свет, и зарисовала, что запомнила!

Новая страница с рисунком. Вселенная, как огромная клумба, в бутонах, цветах. Сияют светила и луны. Лучисто летят метеоры. Вспыхивают планеты и звезды. Все мерцает, искрится, словно в огромной дворцовой зале поставлена

новогодняя елка. Гирлянды, стеклянные птицы, небесные рыбы и звери. Мир населен бесчисленными жизнями, осмыслен, прекрасен. В нем действует Великий Художник. Это он развесил стеклянные шары, окружил их дыханием. Он раскачивает ветви небесного дерева, на котором колышутся дивные плоды и соцветия. Он поместил в самом центре Вселенной семиконечную золотую звезду, от которой летит в бесконечность радиация жизни. Зажигает другие звезды, сотворяет солнца и луны. Наполняет мир негаснущей многоцветной зарей.

Белосельцев смотрел, пораженный. В ее душе помещалась Вселенная. Она, Даша, облетала Вселенную. Опускалась на другие планеты. Видела иные миры и жизни. Ее рисунки были рассказом о виденном. Она побывала там, куда не достигали космические ракеты и спутники, куда не проникала радиоволна телескопа. Как ангел небесный, она ныряла из зари в зарю, перелетала с планеты на планету. Он, умудренный, проживший жизнь, повидавший континенты и страны, прочитавший множество книг, был немогущей и слабее ее. Она ведала нечто, чего он был лишен изначально. Она была не просто талантлива. Она была наделена божественным даром. Этот дар делал ее жизнь здесь, на земле, временной, мимолетной. Она принадлежала к иным мирам и в эти миры стремилась. Случившееся с ней несчастье, причиной которого он стал, объяснялось несовпадением ее божественной сути и его земной ограниченности.

— Посмотри, я это видела, когда глядела сквозь ресницы на лампу. Просто зарисовала.

Он изумился открывшейся ему геометрии. Дуги, треугольники, ромбы, напоминавшие глаза Джулии. Окружности, вписанные одна в другую, с единой точкой касания, разлетающиеся, как движение звука. Сложные перекрестья, из которых исходили лучи. Траектории, по которым кружили планеты. Эллипсы, по которым летали кометы и ме-

теоры. Сложные параболы, описывающие гравитацию мира. Это была теорема Вселенной, пифагорейская музыка сфер. И еще иная, неэвклидова геометрия, описывающая другие миры, искривление пространств, движение светового луча сквозь Вселенную. Он поражался этим божественным знаниям, которые добывались людьми на протяжении всей истории, а ей открылись, стоило ей лишь прищурить глаза, стиснуть свои перламутровые ресницы. И на этих ресницах начертана божественная геометрия мира, по которой Творец сконструировал свое мироздание.

И среди этого учебника геометрии он вдруг увидел рисунок. Ядовито-зеленый, разлохмаченный по концам крест, словно газовые горелки, в которых сгорает медь. От креста во все стороны расходятся пурпурные облачка, как разрывы зениток. В центре креста огненно-желтое солнце, на котором слепой нашлепкой вписан черный квадрат. Грозное распятие, помещенное в центр Вселенной, на котором вместо Спасителя прибит зловеющий квадрат Малевича.

Белосельцев испугался. Точно такой же крест он видел на Поклонной горе во время затмения. Его ясновидящий взор пробился сквозь тусклый туман, вознесся в лазурь и там увидел знамение. Даша его тоже увидела. Это не было его фантазией и бредом. Это была реальность, открывшаяся им обоим. Причина их несчастий. Та часть жестокой Вселенной, где она побывала, принесла несчастье на землю.

Он перевернул страницу. И там опять были дивные зори, разноцветные волны, из которых рождались миры.

— Тебе нравится? — спросила она.

— Очень... Никогда такого не видел...

Он не умел объяснить свои чувства. Он обожал ее, страшился и преклонялся. Наслаждался соседством и близостью с ней. Она вернулась из космических странствий, куда поднялась из ночной больничной кровати. Облетела Вселенную и снова сюда вернулась. Ее душа побывала в странст-

вии, куда снарядил ее Бог. Богу было угодно направить ее туда, угодно было показать устройство бесконечного мира. Бог ее к чему-то готовил. Выбрал из бесчисленных женщин, поднял на длань и обнес Вселенную. Он готовил ее к великому таинству. Быть может, нынешней ночью звякнет больничное окно, и к ней в палату вместе с ветром влетит острокрылый ангел. Протянет ей красную розу и скажет: «Господь с тобою!» Она зачнет от Духа, и родится от нее дивный младенец. И он, Белосельцев, как Иосиф, не муж ей, а хранитель. Здесь, в России, от его любимой и ненаглядной родится Спаситель, совершится Второе Пришествие. Среди русских озер и лесов, белых румяных снегов. И он, Белосельцев, первый поклонится Ей и Младенцу. Понесет младенца в купель.

Он думал так, и в мыслях его не было святотатства, а одно преклонение и любовь.

— Мне кажется, там, где я побывала, — сказала Даша, — там моя Родина.

— А я тебе комнату приготовил, зеркало повесил, — печально усмехнулся он.

— Моя Родина там, — повторила она, закрывая альбом.

Он простился с ней, вышел в сумрак. Проходил мимо больничной часовни с открытыми сквозными проемами. Под куполом теплилась лампада, темнел Спас. Он вошел под своды, стал молиться. Просил Бога, чтобы Тот не забирал ее в далекие миры, где горят планеты и луны, а оставил Дашу ему, в его квартире на Тверской, где они станут жить вместе, и он посвятит свою оставшуюся жизнь служению ей. Он молился без слов, обращая к Спасу свою любящую наивную душу. И был услышан. Почувствовал тепло, словно в душе у него возник одуванчик света. Нес этот одуванчик в ветреной темноте, боясь, чтобы ветер его не задул.

Через день, когда он пришел и попросил показать ему новые рисунки, она сказала, что больше не рисует. Вдохно-

вание ее оставило. Альбом она подарила врачу, который коллекционирует рисунки больных. Врач восхищался, обещал, что вставит их в свою научную работу.

Белосельцев торжествовал. Бог внял его молитве. Оставил ему Дашу в земной жизни.

Через неделю Даша должна была выписаться. День выписки совпадал с ее рождением. Белосельцев задумал сделать ей подарок. В его запасниках, в жестяных коробках, в бумажных пакетиках, переложенных ватой, хранились бабочки, не вошедшие в основную коллекцию. Их надлежало извлечь. Увлажнить под стеклянным колпаком, добившись того, чтобы хитиновые сочленения и крылья обрели эластичность. Закрепить с помощью булавок и бумажных ленточек на липовых расправилках. А когда они вновь засохнут, поместить в стеклянную коробку и подарить Даше. Это будет сводное собрание бабочек, из всех его путешествий. Летопись его странствий, запечатленная на хрупких драгоценных пластинах. Увлеченный затеей, дождавшись, когда наступит ночь, стихнут городские шумы и ничто не будет отвлекать его от созидательного деяния, он приступил к работе.

Ярко, ровно светила настольная лампа. Стеклоблюдо, выложенное влажными вафельными салфетками, отражало лампу. Круглился прозрачный колпак, который, как купол, накроет стеклянное блюдо. Хромированный пинцет нес в себе белый огонек отражения. Ночь. Москва. Туманные в синеве рубиновые кремлевские звезды. И он, словно маг, готовится к таинству.

Он открыл жестяную коробку от монпансье, которую так удобно было заталкивать к карманы дорожной куртки, зная, что она не выпадет во время бега по колючим зарослям, при падении на дно заросших оврагов, при кувырках и прыжках, когда рука с сачком промахивалась, не доставая крылатое разноцветное диво, и силы оставляли его, и он, как подстреленный, падал на горячую землю.

Жестяная коробка, облупленная, помятая, с царапинами, была как древний саркофаг, в котором лежали мумии — вытянутые сухие тельца с крохотными головками, среди цветастых шелков и парчи, укрытые в темноте, недоступные тлению, пропитанные бальзамами, едкими благовониями, на мягком хлопковом ложе. Там были цари и царицы исчезнувших царств, которые он посетил и которые разрушило время. Теперь он готовился к воскрешению мертвых. Готовился воссоздать их царства. Заново отстроить их цветущие дворцы и кустистые храмы. Возвести царей на престол.

Он раскрыл коробку, слабо скрипнувшую, словно в склепе повернулся ржавый замок. Верхний бумажный складень пожелтел от времени, в желтоватых разводах и пятнах — следы пыльцы, цветочного сока, капель дождя.

Кончики пинцета ухватили край бумаги, отвердевшей, словно пергамент, и он увидел зарядку, пойманную под Истрой в сыром зеленом овраге. Испытал внезапную нежность. Пепельно-белая, с оранжевыми драгоценными кромками, с темно-сизой тенью, похожая на утреннюю зимнюю зорьку, когда над снегами, над темной полоской леса появляется оранжевый свет, начинает блестеть наледь сугроба, стволы голых яблонь, и на заре, как чайнки, летят над лесом маленькие черные галки. Бабочка была сухая, невесомая, с тонкими хрупкими усиками. Он осторожно поддел ее пинцетом, перенес в стеклянное блюдо, на влажную салфетку. Почувствовал, как влага стала пропитывать хрупкие ткани, пустые сосуды и оболочки. Началось оживление. Он дышал на бабочку, вдувал в нее жизнь. Видел, как дрогнула спираль хоботка, едва заметно шевельнулись крылья. Разъежались сомкнутые пластины, обнажая стройное тельце. И давнишний майский день, когда он бежал по оврагу среди сочной зелени, под пение весенних птиц, догоняя мерцающий оранжевый зайчик света, — этот исчезнувший чудный день стал

возвращаться, восполнял его жизнь, продлевал ее на те несколько восхитительных, бурных минут погони.

Еще одна бабочка, папильонида, пойманная им в Мозамбике, на цветущих придорожных кустах. Налетела из горячего влажного воздуха, упала на душистое соцветие. Мяла, обнимала цветы, словно целовала, искала в глубине сладкие капельки сока. Страстно раскрывала и сжимала крылья, в которых вспыхивала и пропадала бирюзовая полоса. Когда он взмахнул сачком, вычерпывая ее из медовых цветов, и она трепетала в кисее, подымая белую ткань, и он умертвил ее, разглядывая бирюзовую зелень, он увидел повреждение крыльев. След птичьего клюва, ударившего в крыло, отломившего цветной лепесток. Позже, в Москве, он не внес эту бабочку в основную коллекцию. Оставил ее про запас. Теперь дорожил ею вдвойне. В ней был запечатлен цветущий куст у дороги, темная, покрытая лесом гора, неведомая африканская птица, ударившая клювом в крыло.

Он раскрывал конверты. Поддевал пинцетом невесомое вещество, похожее на хлопья. Переносил в стеклянное блюдо.

Он положил на блюдо лунную сатурнию с ее прозрачными шлейфами, пойманную в Нигерии, нежно просвечивающую сквозь ночную рубашу. Темно-синюю толстотелку, напоминавшую сочную, в кольцах и браслетах мулатку, танцующую карибскую самбу в Пуэрто-Кабесас, на дощатой веранде. Песчано-красную, в черных крапинах акриду, залетевшую в его сачок в Эфиопии, под деревьями, с которых наблюдали за ним косматые бабуины.

Бабочки ложились на блюдо, как мозаика, выкладывая узор его прожитой жизни — его грехи и подвиги, его наивную веру, мучительное ожидание чуда, которое явилось ему наконец в его последней любви к Даше. Он ей готовил подарок. Готов был передать всю свою жизнь, запечатленную на крыле бабочки.

Он накрыл блюдо стеклянным колпаком, как куполом

пантеона. Поставил блюдо на полку, чтобы через несколько дней снова его раскрыть. Перенести увлажненных бабочек на липовую расправилку.

Даша выздоравливала. Оттаивала, как застывший, заиндевельный в заморозки цветок. Улыбалась, говорила, расспрашивала. Была ему благодарна за посещения. Но в ней оставалась едва заметная пугливая осторожность, недоверие, страх.

Они вышли на прогулку, в больничный парк, где на грядках и клумбах трудились больные. Перетаскивали саженцы деревьев, возили в тачках черную жирную землю. Белосельцев старался ее развлечь. Забавно трунил над воронами, перелетавшими в желтеющих липах. Подманивал свистом лохматых дворняг, облюбовавших больничную территорию. Вышли за пределы парка, к берегу пруда, где он оставил машину. Смотрели на уток, скользивших по серо-зеркальной воде. Пошел дождь, зарябил воду, зашелестел в деревьях, намочил до блеска асфальтовую дорожку. Они укрылись в машине. Сквозь затуманенные, рябые от капель стекла смотрели на близкий пруд. Слушали рокот дождя над головой.

— Скоро твой день рождения. Отсюда мы поедем прямо ко мне. Отпразднуем у меня. — Он говорил осторожно, мягко, боясь спугнуть ее своей настойчивостью, и одновременно этой бережной настойчивостью удерживал ее подле себя. — Готовлю тебе подарок.

— Спасибо.

— Как ты думаешь, не отправиться ли нам в путешествие? В Суздаль или в Новгород. Сядем на машину и покажем. Русские города в начале осени великолепны. Посмотрим на храмы, на иконы. А вечером уютный номер. Буду варить тебе глинтвейн. Будем тихо и сладко пьянеть.

— Хорошо бы, — соглашалась она.

— А когда выпадет снег, начнешь готовиться в университет. Прилежно заниматься. Будешь сидеть на тахте с но-

гами, обложишься книгами, а я буду приносить тебе чашечку кофе.

— Так и будет, — кивала она.

Сквозь запотевшее стекло не было видно пруда. Только туманная белизна. Он включил щетки, смахнул брызги. Ладонью провел по мутному стеклу. Открылся пруд, рябь дождя, утки, нырявшие в потемневшую воду.

— Ты очень хороший, добрый, — сказала она. — Я мучила тебя, причиняла тебе страдания. Прости! Я сказала, что разломала ракушку, когда ты плавал в реке. Это не так. Я тебя обманула. Ракушка цела. Лежит на берегу в тайнике. Мы поедем и ее найдем.

— Люблю тебя, — сказал он. — Ты моя звезда лучистая.

— Осень близко. Холодно. Ты не мерзнешь? Свяжу тебе теплый шарф.

Она положила голову ему на плечо. Он замер, чувствуя запах ее волос, исходящее от них тепло. Утки плавали под дождем по темной воде, тихо крикали. Он верил, что самое болезненное и тяжелое в их отношениях миновало и теперь, после ослепительного счастья и ошеломляющей беды, их ждет ровная, благодатная жизнь. Как аллея, заслоняющая от постороннего мира, уводящая в светлую бесконечность.

Ночь. Омытая дождем, пустая, черно-зеркальная Тверская. Ягода светофора, под которой из невидимого кувшина разливают красный, желтый, зеленый сироп. Редкие, водянистые шары света, пролетающие по шелестящему асфальту. Одинокая «Скорая помощь» с сиреной разбрасывает фиолетовые шальные вспышки. Он за столом, под ярким светом настольной лампы расправляет бабочек.

Он не мог объяснить, когда в нем зародилась эта таинственная страсть и охота. Как совпала с его военной профессией, с его жизненной задачей и целью. Он был «охотник в островах», бегущий с сачком — по зеленым лесам и долинам, с автоматом, — по воюющим континентам. Свою пер-

вую коллекцию он собрал еще в школе. Она состояла из наивных, пойманных на даче белянок, зеленовато-белых капустниц, из пестрых милых крапивниц, среди которых, как драгоценность, красовался павлиний глаз. Эту коллекцию, размещенную в картонной коробке, он оставил в школе, в живом уголке. Вторая коллекция была составлена из дальневосточных махаонов, из крымских парусников, из алтайских аполлонов и кавказских переливниц и ленточниц. Он подарил ее невесте, которая так и не стала женой. Сам развешивал лакированные коробки над изголовьем ее кровати, в ее уютной маленькой комнате, из которой скоро ушел навсегда, в другую, ей недоступную жизнь. Третья коллекция, собранная по земному шару, где протекало его кругосветное, растянутое на много лет путешествие, была развешена по стенам его кабинета. Четвертую, последнюю в жизни, он составлял сейчас, чтобы подарить ее Даше.

Его любовь к бабочкам, его нежность, любование, почти религиозное к ним отношение таилось в глубинах подсознания. Было проявлением тайного язычества, сокровенного пантеизма, которые превращали бабочку в божество, обитавшее на лесных опушках, в кустистых зарослях и цветущих лугах. Он выбирал для поклонения не облако, не дерево, не поющую птицу или скачущую белку, а бабочку. Отыскивал ее в тяжелой листве дуба, в болотной осоке, в солнечном разнотравье. Крохотный божок управлял его чувствами, волей и разумом. Ему казалось, что бабочка — его тотемный зверь. Пращур, от которого повелась его родословная. Напоминала о себе в молитвенном отношении к бабочке.

Он расправлял бабочек, тонко орудуя пинцетом, голубоватыми стальными булавками, потеряв счет ночным часам. Дыхание его касалось драгоценных пластин, они оживали, пульсировали, источали сияющую стоцветную радиацию. Божок оживал, и Белосельцев вел с ним безмолвный разговор.

К утру множество расправилок стояло у него на столе, и каждая бабочка напоминала драгоценную цветастую буквицу в летописи его жизни.

К вечеру он поехал к Даше. Она встретила его в комнате для гостей, досадуя на его опоздание:

— Почему так поздно? Жду тебя с самого обеда.

— Всю ночь провел за рабочим столом. К утру заснул. Поздно встал.

— Начал книгу писать? Воспоминания?

— Почти угадала. Летопись с цветными буквицами. Воспоминания о прожитой жизни.

— Покатай меня на машине.

Она сказала это требовательно, нетерпеливо, словно вынашивала это желание. И теперь, когда он пришел, торопилась его высказать.

— Куда поедем?

— Куда-нибудь за город. По темной дороге. В ночь.

Они катили по вечернему, с гаснущим небом городу, среди огней, текущей по тротуарам толпы, загорававшихся реклам и вывесок. Достигли Кольцевой дороги, по которой, как по кольцу Сатурна, неслась размытая плазма. Вырвались на простор, в черные ветреные предместья, навстречу спящим лучистым вспышкам.

Она протянула руку, пробралась ему под куртку, растегнула на его рубашке пуговицу, прижала ладонь к его голым груди. Он вел машину, чувствуя у себя на сердце ее прохладные пальцы, боясь повернуть к ней лицо.

— Давай где-нибудь встанем. В каком-нибудь укромном месте.

Он увидел знак перекрестка. Свернул на узкий, уходящий в поля проселок. Остановился на обочине.

Она прижалась к нему. Он осторожно просунул ладонь под копну ее волос, к теплему затылку. Приблизил губы к ее шее, целуя нежную дрожащую жилку у ее ворота. Но из

полей по проселку, ярко светя фарами, выкатил автобус, озарил их, сидящих в машине, медленно покати к шоссе.

— Они здесь будут ездить, светить. Поедем куда-нибудь дальше, — сказала она.

Они снова мчались по шоссе, и он заметил съезд с дороги к темной соседней роще. Осторожно, расплескивая лужи, проехал по мягкой земле. Поставил машину у кустов. Обнял ее, прижал к себе. Но вблизи, громко разговаривая, показались люди. Прошли мимо, краснея огоньками сигарет. Засмеялись, увидев их в машине.

— Куда-нибудь дальше, — сказала она. — Нас гоняют, как птиц, которые собираются вить гнездо. Найди какое-нибудь тихое место.

Они отъехали от Москвы еще дальше, в пустые пространства, где, размытые сырым ветром, как тлеющие по сторонам костры, тянулись селения и пригороды. Съехали на бетонку. Катили в черной пустоте, а потом свернули на болотистую пустошь, где топорщились груды прелой земли, вспыхивали перед фарами ломаные дудники, расходились в разные стороны мягкие, наполненные водой колеи. Отыскали глухую, укрытую кустами нишу. Он вогнал в сплетение ветвей машину, погасил огни.

Они сидели в тишине, слушая, как в машине что-то слабо звенит, остывая.

— Сегодня я беседовала с врачом, — сказала Даша. — Он сказал, что я выздоровела. Я и сама чувствую.

— Ты выздоровела. И теперь нам самое время отправиться в какое-нибудь путешествие. В погоню за летом. На море, к теплу.

— Да, в путешествие, в погоню, — повторила она.

— Но до этого мы справим твоё рождение. Я уже стол готовлю, всякие вкусности покупаю. Бутылку кахетинского, того, что мы пили с тобой. И готовлю тебе подарок.

— Какой?

— Сюрприз.

Она повернулась к нему в темноте. Приблизила лицо, чтобы лучше рассмотреть ночным зрением, близкими, блестящими глазами. Обняла, притянула к себе.

— Я так тебе благодарна. Так дорожу тобой. Поцелуй меня.

Сама быстро, сильно прижалась к нему. Поцеловала жадно, страстно, делая ему больно, не отпуская его губ, словно вдыхала в него какую-то долгую жаркую силу, передавала невысказанное, невыразимое в словах послание, желая, чтобы оно сохранилось в нем навсегда.

— Ты моя милая... Ненаглядная... Звезда моя лучистая... Так тебя люблю... — говорил он, обнимая ее, целуя ей глаза, виски, шею, сквозь теплые прогалы платья пробираясь губами к ее груди, к горячим плотным соскам.

— Я разденусь, — сказала она.

Он вращал пластмассовое колесо, опуская назад сиденье. Она раздевалась, осторожно складывая свои одеяния. Лежала рядом с ним, белая, длинная, едва освещенная сквозь туманные темные стекла. Он наклонялся над ней, закрывал глаза, видел ее не зрачками, а всей своей жаркой страстной силой, лбом, грудью, дыханием. Своей мучительной мечтой, сокровенной надеждой на счастливое бытие, на рождение ребенка, на их бесконечное будущее. Продлевал себя в ней, проникал в ее глубины, завершаясь в ней, пропадая. Превращаясь в слепящее ничто, которое она улавливала, претворяла в себя, распускала в своей горячей плоти, окружала своим сотворяющим духом, хранила в себе, как огненную живую почку.

Они лежали без сил на откинутых сиденьях. И он слышал, как в ночи, высоко над ними, пролетел самолет.

Он отвез ее в клинику. Обещая через день приехать за ней, повезти к себе. Смотрел, как она исчезает в темном подъезде больницы.

Ночь. Москва в синих туманных далях. Звезды Кремля, как прилетевшие из мироздания кометы, вставшие над Москвой, распутившие свои размытые багровые хвосты. Белосельцев снимал с расправилок бабочек, накалывал их в коробку.

Он освобождал бабочек от бумажных бинтов, как от облачений, пропитанных бальзамами и смолами. Оживленные, бабочки слабо вздрагивали, отделяли от липы свои тончайшие сияющие перепонки. Белосельцев переносил их в коробку, помещал среди белизны и стекла. Он накалывал их не так, как это делают энтомологи, оставляя между экземплярами свободное пространство. А тесно, крыло к крылу, чтобы почти был не виден белый фон, а создавался сплошной покров. И тогда возникал цветовой удар невиданной силы, цепенящий, парализующий, порождающий галлюцинации. И можно было сидеть перед волшебной коробкой часами и днями, без воды и без пищи, поглощая разноцветные энергии, улетая в иные миры.

Наутро он готовил стол. Радовался солнцу в окне, которое играло в хрустале бокалов, на фарфоре тарелок, на серебре ложек со старинными бабушкиными монограммами, в сиреневых лучистых хризантемах. На белой скатерти чернела бутылка кахетинского. Лежали на блюдах ломти белой и розовой рыбы. Салат из свежих овощей был щедро посыпан темно-зеленым укропом. В духовке готовилось, благоухало мясо, которое он на шпажки нанизывал дольками чеснока, укутал в фольгу. На край стола он поставил коробку с бабочками, так чтобы она была видна и ему и Даше, сидящим напротив друг друга. На обратной стороне коробки он сделал каллиграфическую надпись. «Ты — моя любовь, звезда лучезарная». И поставил дату, нежно подумав, что когда-нибудь их сын повернет коробку, прочтает выцветшую от времени надпись.

Побрился. Надел дорогой парадный костюм. Тщатель-

но повязал шелковый галстук. И поехал в клинику, принимать Дашу.

Оставил машину у входа. Прошел сквозь парк, в котором воздух был синий, и в нем явственно чувствовалась близкая, проступавшая сквозь зелень желтизна. Вошел в комнату для посетителей, где у входа сидела пожилая медсестра и держала на коленях вязанье.

— Пожалуйста, Дашу Княжую, — обратился к ней Белосельцев. — Я приехал за ней.

— Даша? А она вчера выписалась.

— Как вчера? — удивился Белосельцев, почувствовав, как забил у него под сердцем маленький ледяной ключ.

— Вчера, по расписанию. Мамаша за ней приезжала.

— Быть не может. — Ключ пробивался все сильней, леденил и буравил сердце. — Должна была сегодня выписываться!

— Как же вам не сказали, если вы родственник, — раздраженно, насмешливо ответила сестра. Колыхнулась тучным телом, уронила вязанье, принялась его подбирать. — На ее месте уже другая поселилась, тоже не все в порядке.

Ошеломленный, не умея объяснить случившееся, он вышел из больницы. Сел в машину. У первой же телефонной будки вышел, набрал номер. Ответила Джулия. Ее голос был печален, но в нем чувствовалось тайное ликование:

— Да, я Дашу взяла вчера... А сегодня утром она уехала... Нет, вам не нужно знать... Она не вернется... К тетушке, за Урал... Вам не следует ее искать... Через день и я уезжаю... Она хочет забыть прошлое, и я ее в этом поддерживаю... Не нужно мне больше звонить, не нужно стоять в подворотне и караулить... Будьте здоровы...

И металлические гудки в холодной металлической трубке. Он начинал понимать, что случилось. Что значила их последняя поездка по темным подмосковным дорогам, ее страсть, ее нежность. Ее длинный, мучительный, причи-

нивший ему боль поцелуй. Она расставалась с ним. Это было прощание. В то время, как он расправлял бабочек, готовил ей драгоценный подарок, мечтал о рождении сына, она с ним расставалась.

Он ехал в машине по улицам с малой скоростью, словно вел катафалк, и на этом катафалке стоял гроб, и в этом гробу лежал он сам с коробкой бабочек на груди.

Глава шестнадцатая

Утром их «Тойота» с охраной выехала в направлении Байона, древнего города, заросшего лесом, где в черных утесах были высечены огромные мягкогубые лики, недвижно взиравшие сквозь зеленые кущи. Травы, кусты, лишайники покрывали изваяния, и казалось, на черных великаньих лицах кустились зеленые брови, усы. «Улыбающиеся горы», — думал Белосельцев, глядя ввысь, на потресканные буддийские изваяния, над которыми высоко сквозь деревья просвечивало мерцающее небо.

Сом Кыт и солдаты расположились на краю поляны под деревом, деликатно оставляя Белосельцева одного, и тот извлек из саквояжа свой складной сачок, свинтил рукоять, колыхнул кисеей, наполнив ее легким прозрачным ветром. Марлевая ткань напряглась, наполненная дуновением, ароматным дыханием джунглей, сладкой цветочной пылью.

Он прошел вдоль поляны, чувствуя любопытные веселые взгляды солдат. Завернул за каменный черный уступ, из которого вырастал цветущий розовый куст, и оказался один среди прозрачного, пронизанного солнцем леса, нагретых утесов, в которых, не мигая, смотрели глаза, улыбались таинственно губы.

Природа, среди которой он оказался, больше не таила в себе опасности нападения, угрозы взрыва и выстрела. За

ним не следили зоркие бдительные соглядатаи, а только каменные великаны, огромными, без зрачков, глазами, по которым бежали слоистые тени деревьев. Он вдыхал теплый запах листвы, чувствовал стопой мягкую, усыпанную прелыми листьями землю, касался ладонью нагретого камня и испытывал радостное наслаждение, оказавшись в недрах загадочного азиатского леса, обступившего его коричневыми стволами, каменными резными изваяниями, летящими сквозь деревья пучками лучистого света.

В трещинах горы он увидел змею, стеклянно скользнувшую, пропавшую под камнем. Маленький зеленый кузнечик прыгнул ему на рукав, спокойно сидел, двигая прозрачным хлорофилловым тельцем. Белосельцев, рассматривая его, пережил счастливое единство человека, камня и маленькой божьей твари, сочетаемых общим для всех, падающим сквозь деревья лучом.

Первую бабочку он почти не разглядел. Она показалась ему серым пушистым листом, скользнувшим с утеса на землю. Потерялась среди серебристых теней и круглых пятен белого солнца. Вторая бабочка отделилась от горы, мелькнула перед глазами, и он успел запоздало махнуть сачком, поймал в него только ветер и зайчик солнца. Но охота его началась. Зрение обострилось. Мышцы обрели упругую гибкость, готовность к броску. По всему телу побежала молодая быстрая кровь, в которой, как пузырьки, лопались сменявшие друг друга страх, ожидание, надежда.

Он крался вдоль каменного исполина, и от выпуклого, в трещинах и выбоинах подбородка отделилась тончайшая пластина, косо мелькнула в воздухе, на мгновение затмив солнце, поместив между его напряженным зрачком и небесным светилом свое стремительное хрупкое тело. Он не разглядел бабочку, но понял, что это серо-коричневый сатир, обитающий на теплом камне, несущий на крыльях опознавательные знаки в виде золотистых колец.

Он крался вдоль утеса, отведя сачок, готовя его для удара, не видя притаившуюся бабочку, но чувствуя ее присутствие. Не по звуку и запаху, не по крохотному отблеску солнца, отраженного от хитиновой головы, а по едва уловимым колебаниям эфира, пульсациям мироздания, в которые они оба были включены — он и бабочка.

Сатир взлетел, отслоившись от огромной каменной головы, метнулся сначала в одну, потом в другую сторону, сел на землю, исчезнув среди водянистых крутяков солнца, летучих теней и серых опавших листьев. Белосельцев не успел махнуть, но место заметил. Осторожно, чтобы не породить ветра, не заслонить луч солнца, стал приближаться к древесному корню, зорко и жадно вглядываясь в палую листву.

Он увидел сатира у отломанной веточки. Бабочка распласталась, подставляя свету поверхность широких нежно-коричневых крыльев, на которых тончайшей кистью были выведены концентрические золотистые кольца с белой сердцевинкой, как эмблемы воздушного флота. Это был летательный аппарат, использующий для движения энергию солнца, сладкий цветочный сок и подъемную силу перепонки, сконструированных из жилок хитина.

Он поймал сатира, направив сачок по траектории возможного взлета. Прихлопнул на земле и смотрел, как трепещет под кисеей, подымает легкую марлю, стремится рассечь ее острыми крыльями. Нащупал бабочку осторожными пальцами, прекратил ее биения, цепко ухватив за твердую грудку. Сжал сквозь марлю, сломав хрупкую колбочку ее жизни. Вытряхнул на ладонь, видя, как последним предсмертным усилием она складывает створки крыльев, словно смуглые страницы маленькой книги, в которой записано сказание о каменных изваяниях, о неизвестных мастерах-каменотесах и о воинах, разоривших дворцы и храмы. Бабочка лежала у него на ладони, как первый трофей. Он не испытывал угрызений совести, умертвив ее. Она оживет в

его московской коллекции, в стеклянной коробке среди других бабочек, складываясь в мистический узор и орнамент, в котором, если долго его созерцать, открывается разноцветная бездна, уводящая в жизнь вечную. Он извлек из кармана жестяную коробку из-под монпансье. Уложил бабочку в бумажный, переложенный ватой складень. Мертвая, серебристо-коричневая, она лежала на белизне, и в ней продолжала пружинить и вздрагивать крохотная спираль хоботка.

Второго сатира он поймал на камне. Бабочка взлетела, отломившись от статуи, как хрупкий невесомый осколок, пролетела, сделав несколько петель вокруг древесных стволов. Вернулась к скале, бесшумно упав на камни. Снова стала частью горы, разместилась среди высеченных глаз, оттопыренных губ, темных, как пещеры, ноздрей. Он поймал ее, смахивая порывом ветра, подхватывая в воздухе кисей. Сеть, брошенная на нее, колыхалась от беззвучных ударов. Нащупывая ее среди льняных нитей, он подумал, что вся гора от подножий и до вершин усеяна бабочками, которые наблюдают за ним, притаившись среди каменных бровей, ушных раковин, вырезанных из гранита ожерелий.

Он ловил сатиров, утолив первую жадность и страсть, научившись угадывать направление их стремительных полетов, точно подставляя сачок, куда врывались их серебристые вихри. Бабочки вылетали из горы, наполняли воздух своими прозрачными жизнями, несколько секунд существовали отдельно, а потом влетали обратно в гору, становились буддами, сливались с глубинными жизнями лесных изваяний.

Он углубился в редкий, пронизанный солнцем лес. Вышел на просеку, на ярко-зеленую травяную бахрому, и мимо него пролетела желтая бабочка, быстрым прямым полетом, по ветру, совершая длинную, исчезающую вдали синусоиду. Он не погнался за ней, а старался продлить наслажде-

ние от вида тонких зеленых трав, их вьющихся ветреных листьев и высокого неба просеки, окруженного темными кронами.

Вторая желтая бабочка пролетела вслед за первой, с тем же плавным рисунком полета. Он взмахнул сачком, промахиваясь, отпуская маленький золотой огонек, мелькавший над травой, пока он не слился с туманным, желто-золотым сиянием. Третья бабочка приближалась, нарождалась из голубой лесной глубины. Шагнув в сплетение стеблей, смяв их и спутав, он протянул сачок и ловко вычерпал бабочку из воздушного океана, провел сачком плавную дугу, перебрасывая кисею через стальной обруч, держал на весу белые тенеты, смотрел, как трепещет в глубине желтый лепесток.

Тельце бабочки было узким, мягким. В нем не чувствовалось сопротивления, и, умертвив ее, он вытряхнул на ладонь лимонно-желтое маленькое диво, рассматривал черную кайму вдоль крыльев, едва различимые усики. Уложил добычу в жестяной саркофаг, заметил, что на ладони остался желтый мазок пыльцы.

И уже летела третья бабочка, а за ней четвертая, пятая. Словно кто-то незримый через равные интервалы выпускал их на дистанцию, и они мчались над травой, по воздушной тропе, находя ее по магнитной силовой линии, что опоясывала землю, по брызгам сладкого цветочного сока, по едва заметным ориентирам цветов и травяных метелок.

Он ловил их во множестве, наполняя бумажные конвертики, укладывая их желтые, как маленькие медали, тела на ватное ложе. Охота доставляла ему утонченное наслаждение, ибо не была связана с погоней и страстью, боязнью навсегда потерять добычу. Бабочек было много. Он опускал сачок, пропуская мимо себя целые отрезки этой прерывистой золотистой гирлянды, успевая насладиться сладким ветром, мелькнувшей в высоких деревьях птицей, белым зонтичным цветком, в котором копошился крохотный брон-

зовый жук. Бабочки напоминали гонцов, несущих кому-то загадочные послания, но этот неизвестный, исчезающий властитель не получал посланий, не посылал ответа. Бабочки летели все в одну сторону, и он их уже не ловил. Провожал долгим любящим взглядом.

Он шел краем просеки, неся в кармане жестяную коробку с уловом, зная, что эта просека, и свисающая с дерева гляцевитая ветка, и жаркий влажный шлепок ветра, и сочный, сквозь листву пучок лучей — все это воскреснет в Москве, зимним студеным вечером, когда за окном синяя наледь, метет под фонарями, а он разложил под лампой расправилки, извлекает из-под стеклянного колпака увлажненную мягкую бабочку, пробивает хитин тончайшей сталью, и бабочка раскрывает драгоценные золотые пластины. В московском ночном снегопаде он вновь переживет эти восхитительные мгновения — седая, колеблемая ветром трава, корявый, сплетенный из сухожилий ствол дерева, каменные большеглазые будды и легкое видение проносимой ветром бабочки.

Он заметил молниеносную тень, которая перечеркнула сияющий мир. Эта промелькнувшая тень сама несла в себе свет, лучистый фиолетовый проблеск. Зрачки не разглядели бабочку, не проследили ее полет, а уловили малую ультрафиолетовую вспышку, которая испугала и восхитила его. Он оглядывался, стараясь в огромном объеме света и воздуха среди деревьев и трав отыскать эту вспышку.

Бабочка налетела на него, словно спикировала с высоты, падая косым разящим полетом. У самого лица метнулась в сторону, начертила фигуру из острых углов и исчезла, оставив его одного среди гляцевитых листьев, полегших трав и едва заметной тропы, розовевшей в стеблях.

Он снова не успел ее разглядеть, но знал, что она вернется. Между ним и бабочкой уже возникло таинственное поле, соединяющее две жизни, сочетающее эти жизни не

напрямую, а через множество посредников — придорожный цветок, звезду поднебесную, смерть одной из них.

Бабочка села перед ним на близкий стеклянно-зеленый лист, словно ее спроецировали. Луч невидимого проектора создал ее из смугло-коричневых пятен, жемчужно-белых вкраплений, драгоценно-розовых прожилок и аметистово-фиолетовых мазков, которые гасли при слабом смещении зрачков и вновь остро, сочно загорались, словно в крыльях бабочки горели потаенные фонари, создавая лиловое волшебное зарево.

Боясь создать колебание воздуха, медленно, незаметно подымая сачок, он приблизился к недвижной бабочке, сильно и точно прикрыл ее сачком, пропуская в просторную глубину кисеи ее трепет. Привычным коротким взмахом перекинул марлевый чехол через обруч. Смотрел победно и счастливо, как колыхалась кисея, раздуваемая бесшумными взмахами, как в крохотных ячеях сквозило золотое и фиолетовое.

Он был готов протянуть к ней пальцы, нащупать сквозь легкий покров ее тельце и грудь. Но что-то случилось с ним. Легкий испуг, помрачение, словно кто-то промолвил сквозь древесную крону едва различимое слово. Этой бабочкой была Мария Луиза. Погибнув на глинистом красном проселке, не успев сказать ему прощальное слово, она превратилась в бабочку. Ждала в лесу его появления. Отыскала его среди трав и деревьев, подарила обещанное свидание. Здесь, в Сиенреапе, свидание их состоялось. Он смотрит на нее сквозь прозрачную невесомую ткань, слышит ее сладкий смех, обнимает, они медленно танцуют под чудесную музыку, и ее фиолетовое платье висит на спинке стула, а чудная белизна колена порождает в нем такую нежность, любовь.

Он смотрел на бабочку, на ее биения, не смея к ней прикоснуться. Любовался ею, что-то шептал, за что-то просил прощения. Медленно поднес к губам кисею, поцеловал ду-

шистую ткань, ощутил на губах едва различимое давление крыльев.

Вытянул сачок пустой окружностью вверх. Бабочка вылетела и исчезла. Он стоял, потрясенный, веря в таинственную нескончаемость жизни, в которой им всем суждено многократно встречаться, менять обличья, любить и просить прощения. Когда-нибудь они снова встретятся. Превращенный в морскую ракушку, он окажется в ее девичьей руке. Она приложит раковину к своему розовому теплему уху и услышит тихий звук саксофона.

Он вернулся на поляну. Молодые охранники с любопытством смотрели, как он несет на весу сачок. Он передал им сачок, и они, отложив автоматы, как дети, побежали за бабочками. Белосельцев с Сом Кытом молча сидели на траве в тени огромного дерева, как два мудреца, познавшие Зло и Добро.

Они сели в машину и покатали по пустому шоссе к далекому синему лесу, в котором скрывался Ангкор.

Белосельцев знал Ангкор издавна, по хрестоматиям и альбомам. Мечтал о нем, изучал, связывал с ним образ страны, тайну цивилизации кхмеров. Читая сводки о боях под Сиенреапом, с болью представлял минометные взрывы, выкалывающие из базальтовых стен барельефы царей и героев, автоматные очереди в сумеречных нишах с каменными буддами.

Проехали по зеленой аллее, вышли из машины, и Белосельцев был поражен громадой сумрачного ступенчатого храма, растолкавшего джунгли. Косое, воронкой ввысь, расходилось небо. Падали из-за туч голубые лучи. Храм словно приземлился из неба, как огромный инопланетный корабль.

Вещество, из которого он был сконструирован, было неземного происхождения, черно-металлический сплав небывалой тяжести, приплюснувший, спрессовавший место, куда опустилась громада. Но этот сплав не был мертвым, он дышал, искрился, видоизменял свои формы, трепетал,

был окружен сиянием. На бесчисленных барельефах кишели люди, звери, растения, изделия рук человеческих, инструменты, оружие. Казалось, из этого небесного ковчега высыпались на землю семена цветов и деревьев, превратившись в окрестные джунгли, изверглись птицы, звери и рыбы, населив небеса и воды, люди построили города, избрали себе царей, затеяли войны, повели исчисление времен, начали историю царств. Весь земной мир вышел из каменного лона Ангкора, от начала до истечения бытия.

Белосельцев чувствовал исходящие из Ангкора силы. Эти силы нашли его, властно влекли, погружали в таинственное мощное поле. Будто кто-то, обитавший в Ангкоре, разглядел его среди миллиардов людей, устремил на него свои очи, подзывал к себе.

Каменная, мощенная плитами, огражденная резными перилами дорога уводила к храму через наполненный водой, заросший лилиями ров. На перилах, на львиных и драконьих головах стоял ручной пулемет. Солдат-кампучиец в протертых кедах, опершись локтями о камни, пропустил их, сделав знак глазами.

Они шли с Сом Кытом к медленно приближавшейся рукотворной горе. Под ногами у них, на плитах, свивались резные травы, струились звериные и рыбы тела. Казалось, они движутся среди кишащей, шевелящейся жизни. Неведомые силы тянулись к нему, словно кто-то протягивал свои длинные невесомые персты, и они касались его сердца. Сердце увеличивалось, билось сильнее, как огромный сочный, готовый распусться бутон.

Они вошли в храм. Долго, бесконечно шагали в прохладных галереях, излучавших льдистое, исходящее из плит свечение, мимо высеченных барельефов, где клубящимся непрерывным напором скакали кони, ревели боевые слоны, сражались враждующие армии, падали в прах города, казнили пленных и мучеников, венчали триумфаторов, пиروва-

ли, любили, строили ладьи, пускались на охоту и рыбную ловлю, молились, затихали на смертном одре, кружились бесплотными душами среди светил и галактик.

Он погружался не глазами — душой в бесконечные жития. Касался гладкого, то блестящего до черноты, то красноватого камня. Ощупывал, как слепой, то голову молодого царя, то хобот боевого слона, то грудь танцовщицы, то терзаемого висящего пленника. Казалось, тела были выточены из метеоритных камней, покрыты ржавыми, из космоса принесенными окислами, отшлифованы ревушим огнем, сотворены не земным мастерством, а в другой, небесной гранильне.

Его собственная жизнь, затерявшаяся среди миллиардов людей, среди сонмищ живших до него поколений, не была бессмысленной случайностью, обреченной на исчезновение. Его стремление понять этот мир, отгадать его волшебную тайну, обнаружить в круговерти явлений, в мелькании лиц одно, сияющее, недвижно-прекрасное, исполненное высшего смысла Лицо, это стремление услышано. Его пути и дороги, развилки и перекрестки привели его к восточному храму, где его ждут, знают, ожидают его появления, быть может, долгую тысячу лет.

Они обошли галерею с маленькими полуразбитыми буддами, лишенными рук и голов. По изглоданным, покосившимся ступеням поднялись на самую высь. Задыхаясь, с ухающим сердцем, с кружащейся головой, он смотрел на сумрачно-золотую, исстрелянную пулями статую. Позади нее, в округлом проеме, как в иллюминаторе, синели озера, волновались леса, летели птицы, дышали пашни. Будда, словно пилот в золоченом скафандре, вел громадный корабль.

«Ты видишь меня?.. — взывал он к Кому-то, Кто ждал его в храме. — Я пришел!..»

И таким наивным и страстным был его зов, такое ожидание и доверие было в этой бессловесной мольбе, такое предчувствие блага, красоты и добра, что сердце его рас-

творило алые лепестки. В открывшуюся чашу сердца сквозь каменные своды и толщи, прорываясь сквозь швы лучистой энергией, хлынул свет, ослепительный, напряженный, словно разряд белой молнии. Соединил его сердце с огненным и волшебным светилом, ослепил, и в этой длящейся секунду слепоте возникло видение. Огромное, непомерное знание об истинном устройстве мира, о бессмертии, о небесном престоле, о Творце, восседавшем на троне среди сонма бессмертных существ, о расширяющемся, не имеющем конца мироздании. Все это явилось ему, свитое в огненный, ослепительный жгут, было неразлично в отдельных своих частях, явлено ему, как его собственное могущество и благое знание. И когда пропало, и свод сомкнулся, и швы в каменной кладке погасли, он стоял, не понимая, что это было. Кто взял его с собой на небо, кто пронес по Вселенной и опустил на каменный пол храма. Истрелянный пулями Будда отчужденно смотрел на него. Белосельцев знал, что теперь этот опыт будет с ним постоянно. Когда померкнет ослепительный свет, померкнет свет его молодости, нетерпеливой веры и жажды, он подробнее рассмотрит золотой престол, его узоры и символы, многокрылое сонмище духов и Того, Кто показал ему свое любящее божественное лицо.

На обратном пути они заехали в штаб вьетнамской армии, чтобы получить подтверждение на свободный проезд обратно, из Сиенреапа в Пномпень. Их встретил заместитель командующего, маленький мускулистый полковник, крепкий в плечах, с коротким сидящим ежиком, желтыми прокуренными зубами. Яшмовая, с драконами пепельница была полна сигаретных окурков. Сом Кыт показывал военному документы, о чем-то разговаривал с ним по-вьетнамски. Белосельцев почти не слышал их голосов, все еще нес в груди счастливый ожог случившегося с ним Божоявления.

— Он спрашивает, как прошел последний участок дороги. — Сом Кыт отвлек Белосельцева. И тот, неохотно

отвлекаясь, понял, что вьетнамцу известны их злоключения, засада в лесу, штурм базы. На постах, у мостов и шлагбаумах, стоило проскочить их «Тойоте», связисты начинали крутить ручки полевых телефонов, радисты надевали наушники.

— Доехали без приключений, — стараясь быть любезным, сказал Белосельцев. — Благодарны за обеспечение безопасности.

Ему хотелось поскорее распрощаться с вьетнамцем, вернуться в отель и там еще и еще раз пережить ослепившее его чудо. Оно переполняло его, было главным, что он обрел, пробираясь по джунглям, выходя к железнодорожной колее, попадая под обстрел, изнемогая от зноя и жажды. Это чудо, почти безымянное, размытое и расплавленное в пятне слепящего света, он увезет с собою в Москву. Завтра поутру они сядут в «Тойоту», через двое суток будут в Пномпене, а потом самолет взмлет в небо, понесет его через океаны домой.

— К сожалению, у границ еще возможны инциденты, — перевел слова полковника Сом Кыт. — Завтра они отправляют в Пномпень своего товарища, начальника разведки, и вынуждены для этого поднимать вертолет.

— Сколько времени летит вертолет? — рассеянно спросил Белосельцев.

— Он говорит, что если по прямой, то три часа. Но пилот не очень опытный, и поэтому он летит вдоль железной дороги, чтобы не сбиться с пути. Это займет больше времени.

Нет, не следовало думать об этом. Не следовало поддаваться искушению. Не следовало дробить, измельчать то огромное, нераздельное, что он обрел и носил в себе. С этим новым опытом, с новой мощью и радостью он изменит всю свою жизнь. Станет служить этому чуду, одарять этим чудом других. Ну что он такое, этот вертолет, летящий вдоль желтой насыпи с двойным непрерывным прочерком железнодорожной колеи, с утолщением мостов, с ответвлениями

тупиков и разъездов, с паровозами, стоящими на запасных путях, с возводимыми депо, водокачками, складами дров и угля, что нового можно добавить к тому, что он уже знал. К той поляне, над которой катались грохочущие комья огня, к убитому в госпитале, задравшему на распялке забинтованную толстую ногу, к фиолетовой бабочке, поразившей его своей женственностью, красотой, к огромному столпу сияющего дивного света, в котором предстал перед ним ясноликий ангел, отбросив за плечи золотые волосы, сжимая лучистое, перевитое лентами копье.

Он мучился. Ему казалось, кто-то встал рядом, серый, безликий, в наглухо застегнутом френче. Молчал, молча требовал, побуждал его.

Все казалось бессмысленным после того, что он недавно узнал. Все было мелким, смехотворным. Горстки сведений, цифры, одномоментный мусор торопливо добытых фактов, несравненных с нераздельным огненным знанием, которое себя обнаружило и исчезло, оставив в душе негаснущее чудное зарево.

Безликий, серый, как пепел, в застегнутом наглухо френче, стоял за его спиной, возвышаясь до неба. Молча взирал, накрывая своей пепельной тенью. И в этой тени отчетливо виделась яшмовая немытая пепельница, полная желтых окурков, карта на стене, извилистая линия железной дороги, и он, военный разведчик, посланный в воюющие азиатские земли, имел возможность пролететь над дорогой на всем ее протяжении, увидеть ее всю целиком, оценить подготовленность трассы к началу большой войны.

— Не найдется ли в вертолете места для нас? — спросил Белосельцев. — Мне хотелось бы поскорее добраться до Пномпеня, передать информацию в газету. Может быть, вы позволите нам полететь?

Полковник внимательно выслушал. Снял телефонную трубку. Что-то спросил. Обратился к Белосельцеву.

— Есть как раз одно место. Должен был лететь офицер, но его оставляют здесь. Завтра рано утром за вами заедут, и вы можете лететь.

Высокий, безликий, с пепельной тенью, улыбнулся и исчез. А Белосельцев испытывал тончайшую боль, словно невольно наступил на живого птенца, раздавил его теплое хрупкое тело.

Простились с вьетнамцем и вышли.

— Вы не сердитесь, что я оставляю вас и лечу один? — спросил Белосельцев Сом Кыта.

— Вы поступаете правильно. Зачем подвергать себя вторично изнурительной дороге. Я же обязан оставаться с машиной. Это собственность МИДа. Через два дня мы встретимся в Пномпене.

— Спасибо, дорогой друг.

Они вернулись в отель, поужинали вместе и расстались, пожелав друг другу спокойной ночи. Утром Белосельцев поднимался на рассвете и мог не увидаться с Сом Кытом.

Он разделся и лег под лепечущие лопасти вентилятора. Ему было печально. Он испытывал необъяснимую вину, неизвестно перед кем, неизвестно за какой проступок. Проступка не было, а было чувство невнятной потери. Но то, что было потеряно, не имело названия.

Он чувствовал беззащитность перед жизнью, сомкнувшейся вокруг него бесчисленным множеством случайных, разбегающихся явлений, некоторые из которых несли в себе угрозу и зло, иные хотели его уничтожить, но большинство было равнодушно к нему, как те голоса и музыка, что раздавались за окном.

Он же был известен и дорог лишь малой горстке людей, многие из которых умерли. Он стал перебирать в памяти своих милых и близких, живых и мертвых, молился за них, и они, живые и мертвые, отзывались на его молитву едва ощутимым теплом. Он лег на бок, поджал к животу колени,

в той позе, в какой находился во чреве матери, и заснул, видя над собой ее любящее родное лицо.

В черном утреннем небе — латунная лента. Пальма, черная на заре, со страусиным плюмажем. Вьетнамский джип у подъезда. Капли воды на капоте, желтые, как мандариновые брызги. Вьетнамский офицер, аккуратный, в портупее, козырнул Белосельцеву. Принял баул. Оглядывался с переднего сиденья, когда неслись по пустынному городу. Любезно, на ломаном русском, отвечал на вопросы.

Аэродром был в легчайшей золотистой дымке, словно окутан пылью цветущих трав и деревьев. Они прокатили по бетону мимо военных транспортов, белесых старомодных истребителей, разрушенного двухкилевого американского бомбардировщика. На дальнем конце, одинокий, отточенный, темнел вертолет.

— Начальник разведки, — представился Белосельцеву невысокий, с седыми висками вьетнамец, в кителе, без знаков различия, с кобурой. — Готово. Можно лететь.

Белосельцев вошел в вертолет, и ему было уготовано место на железной лавке, на которой уже тесно сидели вьетнамские офицеры. Подняли на него серьезные, внимательные лица. Тут же, укрепленная обручами, стояла оранжевая стальная цистерна с горючим. Лежали на полу два автомата. Пилоты захлопнули дверцу, запустили винты.

Их пронесло над бетоном, Белосельцев в иллюминатор успел разглядеть под собой ширококрылую, лениво сносимую птицу. Взмыли над пальмами. Косо, желто-серебряное, в разводах утреннего светлого ветра, блеснуло огромное озеро, словно приподняли над землей металлический лист, послали вслед вертолету блестящую вспышку.

Вдруг возник Ангкор, обнаружил свой каменный, раздвинувший джунгли четырехгранник. Белосельцев, прижимаясь к стеклу, смотрел на проплывающий храм, пытался ощутить исходившее от него сияние. Но камни были тем-

ными, неживыми, словно обитавший в храме дух покинул свою обитель.

Струнка шоссе натянулась и лопнула. Он вспомнил, как день назад мчался по этой дороге, и где-то в красноватых полях, над которыми они пролетают, лежит засыпанный Тхеу Ван Ли, тень вертолета скользнула по его могиле. Поля и дороги исчезли, внизу за клубились зеленые волнистые джунгли, наполненные синей мглой, и среди них тонким разрезом тянулась просека с железной дорогой. Над ней, над двумя крохотными брызгами солнца, отраженными в стальной колее, летел вертолет. Летчик привязал свой маршрут к стальной паутинке.

Он зорко смотрел на непрерывную линию, подмечая на ней признаки обветшания и приметы восстановительных работ. Превратился в думающую, запоминающую, считающую машину, и сквозь круглый иллюминатор, в рефлексе солнца, кто-то наблюдал за ним, безликий, безглазый и тусклый.

Дорога вильнула в сторону, делая медленную плавную петлю, огибая возвышенности. Летчик оторвался от металлической тетивы и, спрямляя маршрут, полетел над горами. Леса тянулись непрерывно и плотно, поражая обилием нечеловеченной первобытной природы, в которой нет места людям, а господствуют стада слонов, обезьян, таятся проглоченные джунглями храмы, следы погибших, побежденных природой цивилизаций.

Белосельцев старался сосредоточиться на этих мыслях, но они скоро утомили его, и он стал осматривать вертолет, оранжевую цистерну с топливом, лежащие на полу автоматы. Обнаружил, что на одном из его башмаков начинает отставать подошва. Потрогал ее, она еще держалась, но грозила вот-вот отвалиться.

Его толкнуло спиной о шпангоут. В толчке, в крутом, наклонившем вертолет вираже он увидел падающего на него с противоположной лавки начальника разведки, посы-

павшихся на пол офицеров, и в круглом стекле иллюминатора — наклоненный кудрявый стебель, прилетевший к вертолету из леса.

Машина выровнялась, заревела надсадно, продолжала горизонтальный полет. Начальник разведки метнулся к кабине. Один из пилотов, сняв шлемофон, что-то кричал ему в ухо.

В иллюминаторе виднелось бледное мелкое пламя. Перьями налетало к стеклу, пропадало, и вместо него тянулись синие волокна дыма. Пламя вновь возникало, злее и ярче, и откуда-то сверху, как дождь, падали огненные тягучие капли.

— Горим! — крикнул ему по-русски начальник разведки и опять бросился к кабине.

Вертолет был металлически и трескуче. Белосельцев, отшатнувшись от обшивки, смотрел сквозь бледный наружный огонь на джунгли, оцепенев, не давая места страху, смутно думая, что случившееся — есть закономерное продолжение всех недавних его превращений. Он отступил от посетившего его откровения, и оно обернулось горящей машиной.

Вертолет терял высоту. Джунгли толпились внизу сплошным плотным войлоком. Зеленые, сквозь дым и красноватые огни, они казались лиловыми, как сквозь светофильтр. Он подумал, что вертолету для посадки нет места, придется садиться прямо на деревья. Предчувствовал удар в металлическое брюхо машины, ломающиеся вершины, хруст отсекаемых сучьев, скрежет и скрип металла.

Он поднялся, чтобы перейти к другому, бездымному борту, но из пола, снизу, из невидимых прогалов ударил огонь, охватил нутро фюзеляжа. Пропал, брызнул едкой бескопотной вонью и снова возник. Свистя и треща, окружил всех, заслоняющих лица локтями, приседающих, стремящихся вырваться из обжигающих обручей.

— Бочка!.. Взорвет!.. — крикнул начальник разведки.

Отталкивая его, из кабины набежал на огонь пилот.

Упал на колени, что-то делал у бочки, перекрывал какой-то вентиль, напрасно, как казалось Белосельцеву, и бессмысленно.

Огонь почти пропал, но брюки его горели. Ногу вдруг обожгло и ужалило. Он стал бить по прожженной ткани, сшибая огонь, превращая его в тлеющие угольки.

Боль в ноге, задыхающийся в кашле начальник разведки, вой металла, бестолковые крики офицеров, ожидание, что сейчас, сию минуту они умрут в огромной бесшумной вспышке, расшвыривающей их в небесах над джунглями, — все это родило в нем мгновенный, черно-белый ужас. В сотрясенной душе было нежелание смерти, но не было слов для молитвы, не было сил для спасения.

Это длилось мгновение и кончилось. Огонь, треск обшивки. Внизу открылась поляна с одиноким деревом. На поляне под деревом, и дальше, запрокинув лица, стояли люди с оружием.

«Свой?.. Чужие?.. Что теперь?..» Он прижался к стеклу, глядел на поляну. Горящий вертолет, свистя лопастями, шел на посадку.

Глава семнадцатая

Позднюю осень генерал Белосельцев проводил в деревне, на даче, среди клубящихся холодных туманов, мглистых вечеров и длинных студеных ночей, когда глаза, насмотревшиеся за день на желтые леса, на красные заросли кустов, на золотые туманные иконостасы далеких холмов, не могли сомкнуться. В них, бессонных, горела осень. Он жил эти недели, словно избегнул смерти, уклонился от страшной болезни, оставив под ножом хирурга сочный ломоть своей страдающей плоти. Похудевший, легкий, как сухой полый дудник, стоящий у обочины, еще недавно яркий, с белым пышным

зонтиком душистых цветов, на который падала смугло-алая бабочка, мяла, целовала цветы, а теперь обугленный, ломкий, продуваемый свистящим ветром, Белосельцев запрещал себе думать о случившемся. Запрещал думать о пораженной его болезни и о временном исцелении под ножом хирурга. Пыль больных клеток, оставшихся в нем после удаления пораженного органа, могла разрастись, соединиться в новый узел боли, изглодать его до костей. Он жил механически, позволяя себе бесхитростные работы по саду, необременительные усилия, смысл которых был в том, чтобы прожить день. До ночи, до тьмы, когда он лежал в тишине избы, на одиноком ложе, с раскрытыми глазами, на которые осень положила две яркие золотые монеты.

Он стоял среди мокрых грядок, перебирая вилами прелую ботву. Поддевал раскисшие блеклые плети, сносил в кучу. Смотрел остановившимися глазами. Снова поддевал старыми крестьянскими вилами, переносил на другое место. Не мог отыскать среди огорода угол, куда бы лучше сложить сор, оставшийся от цветов, огуречных плетей, картофельных кущ, чтобы куча высыхала до первых морозов, и потом на белом снегу сжечь ее в красном трескучем костре, вдыхая дым исчезнувшего лета, глядя на первый заячий след.

Поковырявшись вилами, он воткнул их в мокрую землю и стал возиться с кустами смородины. Подрезал их безлистные ветки с белыми ядреными почками. Подолгу стоял, нюхая душистый пряный черенок, вспоминая, как еще недавно на нем висела черная тучная гроздь с металлическими точками солнца. Брал лопату, окапывал куст, проникая к корням под корявые ветки. Уставал, втыкал лопату. Смотрел, как висит на ветках усыпанная росой, порванная паутина.

Не окончив окапывать кусты, отправлялся ремонтировать разохшийся за лето забор. Вбивал в отпавшую планку длинный блестящий гвоздь. Сдирал мертвый цепкий стебель вьюна, охватившего штакетник. Кисточкой в нескольких

местах касался облысевшей доски. Смотрел, как блестит краска. Чувствовал, как на свежем воздухе сладко пахнет олифа. Откладывал кисточку, теряя интерес к забору. Искал, чем бы заняться еще.

Проходя мимо скамейки, струганой колоды, стоящей под березой, на секунду, косым зрением, поймал каплю синевы. Лужицу дождя, скопившуюся в древесной выемке. Сделал шаг назад. Искал то место, где в зрачок попадал луч холодной лазури. Нашел. Яркая голубая капля отражала небо, была того же цвета, что и зеркальце воды на дне упавшего на лесную дорогу красного осинового листа. Цвета холодной ослепительной синевы, цвета осени. Он стоял, наслаждаясь оптикой, пропускающей луч сквозь небо, кидающей его в каплю воды, а оттуда — в его зрачок, рождая в зрачке таинственную сладость идущего к своему завершению бытия.

Проходя мимо бочки с темной, осенней, дождевой водой, он подумал, что надо ее опрокинуть. Вылить воду накануне близких морозов, поставить бочку вверх дном. Но передумал, отложил на потом. Лишь окунул пальцы в черно-зеркальную влагу.

Когда стемнело, он сидел в избе, не зажигая огня. Ленился растапливать печь, грелся в теплой меховой безрукавке, подложив под ноги стоптанный афганский коврик — подарок Наджибуллы. Смотрел в окно, как быстро спускаются сумерки и сквозь тьму продолжают светиться далекие, за озером, иконостасы лесистых холмов.

Его мысль медленно выплывала сквозь темные стекла в огромные пустые пространства. Плавно, бесшумно, медленными кругами, как осенняя ночная сова, кружила над холодным, стынувшим озером с последним отсветом угрюмой зари, над ржавым лугом с неподвижными черными остями конского щавеля, над вершинами ближнего и дальнего леса, пустыми, с последними листьями, готовыми облететь при первом дожде и ветре, над болотами в слоистых туманах.

нах, где чутко дремали лоси, вдыхали влажными большими ноздрями запахи близкой зимы. Его мысль бесцельно кружила в ночных пространствах, не находя для себя приюта. Повернула обратно, возвращаясь в сумрак нетопленной старой избы, в которой молча, кутаясь в мех безрукавки, сидел человек, поставив ноги в чувяках на ворсистый коврик, подаренный ему убитым и замученным лидером, с которым их сводила судьба. Перед тем как влететь обратно и, сжавшись в сонную точку, спрятаться в усталой голове человека, мысль, как сова, попала в воздушный поток, подымавшийся от озерной воды в темное тусклое небо. Ее подхватило, качнуло с крыла на крыло, и она косо влетела в стеклянный тончайший слой, соединявший пространство и время. Выпала из пространства, стала мыслью во времени. Помчалась вспять, сквозь мелькающие встречные годы, стреляющие в нее, как охотник навскидку, поражая в тугие крылья ударами свинца и света. Уцелела, сложила крылья, стремительно опустилась в далекий исчезнувший день, когда он, почти еще отрок, сидел в другой избе. Жарко топилась печь, горела керосиновая лампа, хозяйка-вдовица, захмелев от рюмки вина, пела ему, постояльцу, старинную чудную песню «В островах охотник». И он внимал, старался запомнить.

Белосельцев задохнулся — столь достоверно вернула ему память запах горячего дыма, красный, коптящий в лампе язык огня, половик с дремлющим темным котом, влажную рюмочку с ягодкой клюквы, слабый румянец на бледных щеках вдовицы, и ее тонкий, растресканный голос, словно он был составлен из звонких сухих лучин.

И, стараясь вспомнить слова вещей песни, которую пропела ему о нем самом забытая женщина, отправляя его из той избы в далекое странствие, Белосельцев вздохнул глубоко. Борясь с немотой, с остановившимся в груди воздухом, вытолкнул из себя первый неверный звук, испугавшись его хриплой немощи. Послал ему на помощь второй,

настойчивый, прозвучавший так, словно задребезжало в окне стекло. Третий звук превратился в песню, влился в угаданный, сложный, как кромка еловых вершин, мотив.

В островах охотник цельный день гуляет,
Если неудача, сам себя ругает.
Как же мне быть,
Счастью служить, служить?
Нельзя быть веселым, коль зверь не бежит...

Его жизнь завершалась. Ему оставалось прожить малый, последний ее отрезок, быть может, длиною в эту старинную песню. За оставшееся время, за несколько витиеватых куплетов надлежало собраться в дорогу, упаковать пожитки, с которыми он отправится в путь. Сложит их у Божьего порога и, голый и босый, предстанет на Божий суд. Но до судного часа, перебирая котомку, где лежат накопленные за годы богатства, он восславит Господа, даровавшего ему эту быстротечную жизнь.

Он поблагодарит Творца за то, что Тот наделил его сладостной, как липовый мед, родовой памятью, которая не оставляла его одиноким среди разноголосицы огромного мира, бесчисленных встреч и лиц, а помещала на бесконечную линию рода, теряющуюся в тумане истории, где какие-то ополченцы уходили на Бородинское поле, какие-то молokane отправлялись из Тамбова в бега, лихие ямщики, замотав кушаки потуже, гнали тройки по Военно-Грузинской дороге, и один его дед, награжденный золотым оружием, сажал его верхом на свое острое сухое колено, и пахло от него табаком и старинным клеем, коим были склеены альбомы «Мира искусств». Другой его дед, похихатывая в белоснежную легкую бороду, насмехался над каким-то немцем-профессором, читавшим ему курс в Гейдельберге. Его детство прошло среди чудесных родных стариков, от которых остались книги, прокуренные трубки, монограммы на серебряных ложках и голоса, что сливались в неразличимый

хор мира, в котором звучал и его живой голос. Он славил Господа, что был не первым, как Адам, а одним из бесчисленных, возникшим на пересечении родовых и фамильных линий. Жившие до него из туманного облака наблюдали, как он проживает жизнь, ждали его в свой семейный круг.

Выехал охотник на талые воды,
Где птицы гуляли при ясной погоде.
Там на берегу восхотел вздохнуть, уснуть.
Охота взорвалась, слышно гончих чуть...

Он славил Господа за то, что Тот наградил его Родиной. Дал почувствовать нескончаемую к ней нежность, любовь. Счастье пребывать среди ее пространств, русской молвы, родных русских лиц. Упиваться сладкозвучием языка, на котором писали русские мудрецы и пророки, говорили строгие волоколамские вдовы, думали монастырские старцы, молились перед битвой великие полководцы и воины. Родина была не только землей и небом, названием цветка и ручья, формой церковного купола и извилистой розовой тропкой. Она была не только сводом преданий, могилами, сменой времен года, когда после сверкающих снегов Родина одевалась в золото одуванчиков, а потом в синеву незабудок, в белизну ромашек, в лиловый наряд колокольчиков. Родина была постоянным, исходящим из сердца горячим чувством. Наподобие дыхания оно расширялось во все стороны света, до солнца и звезд, где в заоблачной высоте, подобная земной, существовала небесная Родина, божественная, неподвластная тлению Россия, куда он подымет по воздушным ступеням, к своим предкам, к маме и бабушке, когда кончится его земной век.

Охотник не медля на коня садился,
Зверя с любопытством он убить стремился.
Бросился он по тропе, тропе, тропе,
Где спала красавица на мягкой траве...

Он благодарил Бога за то, что Тот открылся ему в своих бесконечных красоте и величии, возжигая звезды над его головой, открываясь в религиозных учениях и философских теориях, в живом молитвенном чувстве, соединяющем его отдельную душу со Вселенским Духом, которому он не безразличен, который знает о нем. Спасает в час уныния или смертельной опасности, корит и наказывает за прегрешение и зло, награждает за смелый и добрый поступок, за отважную мысль, за искреннюю чистую молитву. Божество приходило к нему, как предчувствие, как сердечное тепло или как светоносное откровение, в образе Ангела, встающего из вод, парящего над песками пустыни, сияющего в серебре ледника. Он не мог понять Бога, не мог обнаружить во всей полноте смысл и устройство мира, но ведал, что его отдельная жизнь и его отдельный, томящийся в непонимании разум есть лишь малая часть непознаваемого мирового закона, непостижимого вселенского разума, который создал его из пылинок, вдохнул мысль, ведет по земным путям.

Лицо ее бело, покрыто цветами.
Щеки ее алы, дарены судьбами.
Он увидел, задрожал, с коня упал.
«Венера, красавица!» — тихонько сказал...

Славен Творец за то, что ему, сотворенному на краткое время, он дал возможность участвовать в грозной земной истории, непрерывной во все века, создающей и разрушающей царства, выводящей на свет народы и окунающей их в тьму забвения. Он двигался вместе с войсками по всем дорогам земли, видел пожары и войны, пережил крушение Родины, пил из чаши побед, сполна вкусил горький яд поражений. Он, военный разведчик, был инструментом истории. Она ворвалась в него, обрела на мгновение его черты, говорила его языком, кричала его голосом от нестерпимой боли, бредила его ночными кошмарами. Пробивалась вперед сквозь косность, невежество, наивные иллюзии и злые

замыслы. Натыкалась на тупики в моменты его отчаяния. Мчалась вперед вместе с его стреляющим вертолетом. Творец провел его по военным дорогам и бережно, сохранив ему разум, вывел, на обочину. Посадил в этой темной избе, чтобы он мог петь, вспоминать.

Венера проснулась, охотника видит.
Сразу догадалась, чем может обидеть.
«Ах ты, злодей! Что тебе? Кого, чего?
Ни волка с лисицей, здесь нет никого!»

Бог дал ему насладиться любовью к женщине, которая меняла обличье, цвет волос, тембр голоса. То мучила его, то улаждала. Открывала ему красоты заморских столиц. Смысл чужих языков и верований. Чудеса истории и природы, среди которых она являлась ему. То среди белых псковских церквей. То в духоте никарагуанской сельвы. То в соленой пене африканского побережья. То в кабульской гостинице, среди криков ночных патрулей. Он помнил их всех, даже тех, мимолетных, которые не называли ему своих имен, уходили под утро, в предрассветных сумерках, не давая разглядеть лицо. И тех, за кем был готов гнаться на кораблях, самолетах, отыскивая их среди городов и селений, вздрагивая от совпадения походки в сиреневых сумерках бульвара Капуцинов, или пугаясь сходства в дымных зеркалах Ла Скала, или ошибаясь, обманываясь цветом волос, изгибом руки в сумерках мадридского бара. Женщины, которых он любил, были посланы ему Творцом, были чудным подарком Создателя, и он благодарил Творца за подарок.

«А зачем нам волки? Мы лисиц бивали.
А таких красавиц нигде не видали!»
Бросился в рог он трубить, дудеть, играть.
«Поедем, красавица, в лагере гулять!»

Его прощальная любовь к Даше была последним даром Творца, которому было угодно в конце жизни осчастливить его такой нежностью, таким небывалым, ослепительным

счастьем, измучить такой болью, таким невыносимым страданием, что в этом был замысел. Дабы он перед уходом увидел сквозь это страдание и счастье всю свою жизнь. Ничего не забыл в ней. Понес к Творцу во всей полноте. Даша ускользнула от него, когда замысел был исполнен. Оставила его наедине с Творцом. Ему не дано было иметь ребенка, род его в нем пресекался, как кончается книга, в которой Бог перелистывает последнюю страницу. Но, быть может, — и в этом была его тайная робкая вера — она унесла в себе его жаркое семя, которое теперь прорастает в ее темных глубинах. И род его продлится в ней дальше.

Он сидел в темной осенней избе, пел старинную песню о своей прожитой жизни и плакал. Слезы попадали на поющие губы, и голос его был глухим от слез.

Перед сном он вышел из избы глотнуть студеной ночной ветер осени. Над избой неисчислимо сверкали звезды. Они были белые, кристаллические, и мягкие, лучистые, и туманные, окруженные млечной дымкой, и переливчатые, всех цветов, словно роса. Одни светила едва заметно раскачивались, словно красные, зеленые и золотые плоды. Другие, будто цветные лампы, излучали драгоценное сияние. Третьи казались теплыми, живыми, словно сочные мягкие ягоды. Четвертые были твердые и граненые, как голубые алмазы. Все небо дышало, колыхалось, было в движении. Казалось, светила менялись местами, опускались и возвышались, перетекали через черный конек крыши, сочились сквозь голую сквозную крону старого тополя, который напоминал невод, охвативший стадо мерцающих рыб, жемчужных медуз, клочья светящихся водорослей.

Белосельцев смотрел, запрокинув голову, чувствуя волнистые движения Вселенной, необычайную взволнованную жизнь небес. Казалось, светила радовались, волновались, славил кого-то, кто явился им. Вдруг подумал, что это Даша на прозрачных перламутровых крыльях переносится из

одной части неба в другую, трогает лампы, колышет плоды, окружает светила легким дыханием, поворачивает алмазы голубыми гранями. Небо было таким же, как и на ее рисунке. Так же цвело, торжествовало, исполненное бесконечной жизни.

Он медленно прошел мимо бочки с водой, вдоль стены дома, к березе, под которой стояла скамья. Проходя в темноте, вдруг увидел на скамье малое сверканье, которое тут же пропало. Сделал шаг назад, стараясь вернуть зрачок в ту точку, где возникало сверкание. Это ему удалось. Деревянная колода была не видна, но в малой древесной выемке скопилась вода, и эта вода отражала звезду. Звезда была неразличима среди бесчисленных, сверкающих в небе созвездий. Ее невозможно было увидеть в небе. Но она, одна-единственная, отражалась в водяной капле, и ее отсвет попадал ему в зрачок. Тонкий голубой луч тянулся от звезды к водяной капле, преломлялся в ней, беззвучно ударял в зрачок. На дне глазного яблока, и глубже, в глубине сознания, и еще глубже, в его живом дышащем сердце вдруг возникла уверенность, что это Даша посылает ему из неба свой луч. И он по лучу посылал ей обратно в бесконечность, с мириадами планет и светил, послание: «Вижу тебя, люблю, звезда моя лучезарная!»

Он стоял, пока звезда не сместилась, не пропала среди мерцающих россыпей. Растроганный и взволнованный, он вернулся в избу и лег спать.

Ночью в природе что-то менялось. Сдвигалась невидимая огромная ось, Земля начинала смещаться в другие пределы Вселенной, и все живое чувствовало это смещение. Его сны были тревожны, многоцветны, грудь разрывалась от ужаса, он кричал во сне, просыпался, но из одного сна тотчас попадал в другой, такой же цветной и ужасный. И снова начинался кошмар. Он нырял из сновидения в сновидение, и этому не было конца.

Ему снился горящий вертолет, летящий над джунглями,

красно-желтое пламя разрывает оболочку машины, он вываливается, падает вниз, но не на мягкие древесные кроны, а на стальную колею, разбиваясь о железные рельсы. Еще ему снились эшелоны, полные солдат, на платформах, под пузырящимся брезентом, стоят орудия, танки, из товарных вагонов выглядывают смеющиеся азиатские лица, и среди них, в синяках и кровоподтеках, — Даша, машет, делает ему знаки, но вагон с солдатами проносится мимо. Ему снились золоченые пагоды, куда вводят его смиренные, в оранжевых одеяниях бонзы, на высоком алтаре сидит нефритовый Будда, зеленоватый камень светится насквозь, и он вдруг видит, что это окаменелая Даша, кидается к ней, пытается обнять, оживить, но руки его натываются на гладкий холодный камень. Он видит Дашу в желтоватом окне придорожной гостиницы, рядом огромное, озаренное луной дерево, Даша, обнаженная, приподнимаясь на цыпочках, поливает себя из ковша, он видит, как блестят ее плечи, как вода стекает по розовым соскам, испытывает к ней влечение, стремится в номер, но кафельная душевая пуста, ковшик пуст, и ее нигде не найти. Еще ему снился бесконечный бег по камням, по зарослям, по сыпучим пескам, в руках у него автомат, и он догоняет крохотную драгоценную бабочку, не может догнать и гневно пускает ей вслед грохочущую тяжелую очередь, превращая полнеба в огненную дыру.

Он проснулся на рассвете, успев услышать свой затихающий стон. Лежал, глядя, как сквозь шторы сочится утро. Оделся, нацепил кудлатую овечью безрукавку, сунул ноги в чеботы, вышел из избы.

Трава была в инее. Астры на грядке, побитые морозом, склонили головы. Земля, вчера еще сырая и черная, теперь высохла, отвердела, сухо сверкала кристалликами льда. Небо было серым, холодным, и в нем по-зимнему зябко летели вороны. В бочке был лед.

Он подошел к бочке, глядя на стальной серый круг

льда, охваченный ржавым железом. Это зима спустилась из сизого неба, дохнула на воду, превратила ее в твердый ледяной круг.

Он стоял над бочкой, испытывая странное облегчение от того, что этим кругом завершилось целостное время. Затвердело, оцепенело, охваченное мятой железной оправой. Ему казалось, что он еще должен что-то успеть, как-то распорядиться напоследок этим застывшим временем.

Он нагнулся, прижался щекой к ледяной поверхности. Почувствовал ожог, водяную пленку, растаявшую под его горячей щекой. Оторвал лицо ото льда. Стоял, отирая обожженную холодом кожу.

На ледяной поверхности остался отпечаток его лица. Как профиль императора на римской монете. Он и был император, у которого отняли империю, но он сохранил ее в своей сокровенной мечте. И перед тем, как исчезнуть, отчеканил в честь империи монету. Одну-единственную, из серого льда.

Он смотрел на свой отпечаток и думал, что таким образом, вмороженный в лед, он сохранится. Ночами над ним будут сверкать дикие раскаленные звезды. Днем на него будет светить не греющее желтое солнце. И круг будет казаться золотым.

Сентябрь 1999 г.

Литературно-художественное издание

Проханов Александр Андреевич

МАТРИЦА ВОЙНЫ

Ответственный редактор *С. Рубис*

Художественный редактор *С. Курбатов*

Художник *П. Ильин*

Технический редактор *Н. Носова*

Компьютерная верстка *О. Шувалова*

Корректор *Л. Зубченко*

ООО «Издательство «Эксмо»

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 24.01.2007.

Формат 84×108 ¹/₃₂. Гарнитура «Академия».

Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 21,84.

Тираж 6100 экз. Заказ № 6169.

Отпечатано в полном соответствии

с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ООО «ТД «Эксмо»

E-mail: foreignseller@eksmo-sale.ru

International Sales:

For Foreign wholesale orders, please contact International Sales Department at
foreignseller@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг «Эксмо» в специальном оформлении
обращаться в отдел корпоративных продаж ООО «ТД «Эксмо»

E-mail: project@eksmo-sale.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.

Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.

Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «Н КП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.

Тел. (863) 268-83-59/60.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».

Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.

Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.

Тел./факс: (044) 537-35-52.

Во Львове: ТП ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.

Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым» ул. Киевская, д. 153.

Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.

Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

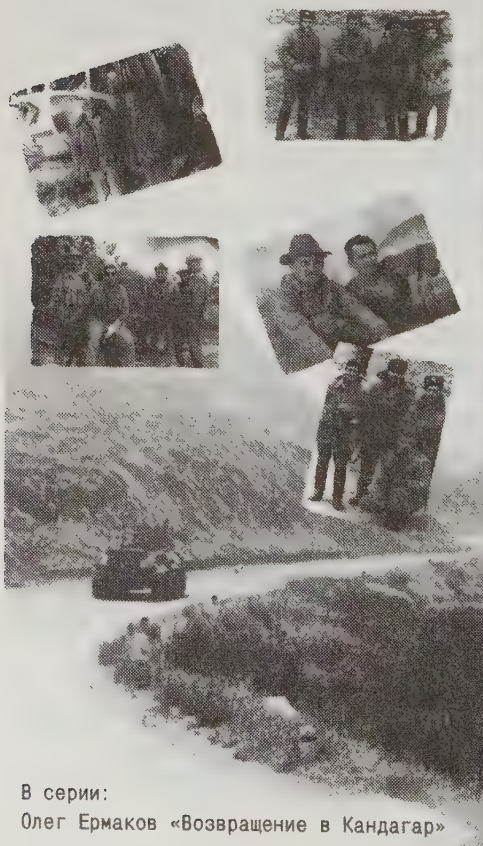
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

Серия

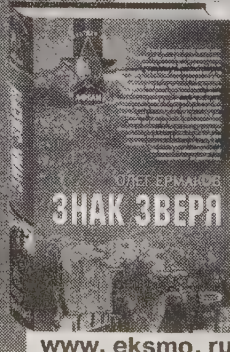
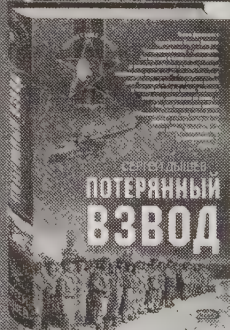
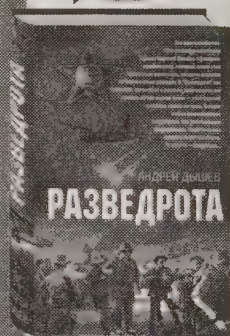
«АФГАН»

Горькая и беспощадная правда
о реальных событиях и людях, которые
отправились выполнять
«интернациональный долг»
и попали в кровавое месиво долгой
и тяжелой Афганской войны.



В серии:

Олег Ермаков «Возвращение в Кандагар»



www.eksmo.ru



DECEMBER 2008



3 1183 13501 0509

BALTIMORE COUNTY PUBLIC LIBRARY

интр

отправляет в пекло сражении, чтобы, пройдя все круги ада, добыть бесценную информацию. Но он же и разведчик, которого Господь Бог отправил на эту землю добыть сокровенное знание о загадочной, божественной жизни и ее основных законах. Афганская война, проходившая в ущельях Гиндукуша, среди кишлаков и мечетей. Кампучия, где вьетнамские танки, добывая остатки "красных кхмеров", двигались к Таиланду, грозя большой азиатской войной. Ангола и Мозамбик, где рейды африканских повстанцев вихрями переносились от Атлантического океана к Индийскому. Сельвы и горы Никарагуа, среди которых насмерть схватывались сандинисты и "контрас". Крах СССР, совершившийся в августе злосчастного 91-го года. Народное восстание в октябре 93-го. Таинственные взрывы домов в Москве... Везде присутствует разведчик Белосельцев, вскрывая глубинные заговоры, угадывая за ними таинственные силовые линии самой истории, управляемой Промыслом и Судьбой.

Серия романов о разведчике Белосельцеве — это "семикнижье" о судьбе воина, который принадлежал к уникальной школе разведки, использующей не только рациональные методы, но и художественное мышление, логику и мистическое откровение.

ISBN 978-5-699-20593-6



9 785699 205936 >